63.3(2)51
С38
С-38
8036
2

С. СИНЕГУБ

ЗАПИСКИ ЧАЙКОВЦА



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ В МЕМУАРАХ СОВРЕМЕННИКОВ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ П. АНАТОЛЬЕВА [redacted]



С. СИНЕГУБ

ЗАПИСКИ ЧАЙКОВЦА

ПРЕДИСЛОВИЕ

И. ГЛАДНЕВА

С портретом автора

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

Обложка - гравюра на дереве работы художника Н. П. Дмитревского



Изд. № 2766
Главлит № А-21365
Тираж 5.000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Семидесятые годы являются героическим периодом в истории революционного движения России. Одна из интереснейших для революционного потомства организаций, положившая основание всему революционному движению того десятилетия это кружок чайковцев.

Кружок чайковцев, окончательно сложившись летом 1871 года в результате слияния кружка самообразования, собиравшегося у сестер Корниловых еще в 1870 году, со студенческим кружком В. Александрова, М. Натансона и Н. Чайковского, просуществовал немногим более трех лет. Полицейский разгром кружка чайковцев, начавшийся арестом Синегуба и Тихомирова (см. часть вторую, главу первую настоящей книги) в ноябре 1873 года, закончился к лету 1874 года. За три года существования кружок чайковцев, отражая на себе настроения и движения передовой части русской молодежи своего времени, прошел три этапа работы: 1) полосу просветительства или так называемое „книжное дело“, 2) пропаганду среди рабочих или так называемое „рабочее дело“ и 3) период „хождения в народ“.

В первый период (1871—72 г.) целью кружка было создать и среды интеллигенции и прежде всего из среды учащейся молодежи кадры будущей русской революционно-социалистической или, как выражались тогда, истинно-народной партии. „Центральный кружок“ чайковцев, играя роль своеобразного агитпропа, создавал и руководил кружками самообразования молодежи. Он же объединял деятельность нескольких студенческих „коммун“, состоявших из тесно спаянных между собой товарищей.

Чайковцы снабжали свои кружки умело подобранной легальной литературой. Лишь понемногу и очень осторожно к этой литературе присоединялись запрещенные, подпольные или конфискованные сочи-

нения, особенно Чернышевского, властвовавшего еще со времени шестидесятых годов над умами и сердцами передовой части русской молодежи.

От умелого и, конечно, тенденциозного в революционном направлении подбора литературы для занимавшейся в кружках самообразования интеллигенции был всего шаг к дальнейшему продвижению по пути просветительства, к переходу на путь распространения среди народа полезных для него книг. Едущее на каникулы в провинцию студенчество—вот армия распространителей полезных книг среди народа, а кружок чайковцев снабжал эту армию литературой не менее усердно, нежели иной агитпроп делает это в наши дни по отношению к рабочим-отпускникам, едущим в деревню.

Эта работа первоначально поглотила все силы чайковцев. „Книжное дело", продолжавшееся и на дальнейших этапах развития кружка, велось под покровом строжайшей тайны.

Кружок чайковцев вошел в тесные сношения с издателями — скупал в больших количествах экземпляров и даже целыми изданиями отдельные книги. При содействии издателей чайковцы выпустили в свет необходимые им для пропаганды и самообразования оригинальные и переводные книги. Царская цензура и жандармерия, узнав о „крамольных" книгах, задержала ряд уже отпечатанных сочинений и сожгла их.

Не ограничиваясь войной цензуры против издания книг, жандармы повели войну и против их распространителей: был арестован и административно выслан один из основателей кружка — М. А. Натансон.

В 1872 году опечатан был весь книжный склад издателя Н. Полякова, и тем самым задушено было это прекрасное издательство.

Репрессии, которым подверглись просветители из кружка чайковцев, толкнули их на революционный путь и послужили прямым указанием другим интеллигентским кружкам (в частности кружку Долгушина, о котором упоминает в своих воспоминаниях Синегуб), что нельзя строить свою работу на почве царской легальности, что для распространения среди народа правильных сведений о его положении необходимо прибегнуть к помощи подпольного печатного станка.

Чайковцы выделяют из своей среды конспиративную группу для привоза из-за границы нелегальной литературы и типографских принадлежностей для создания своей подпольной техники.

От „книжного дела" чайковцы переходят к „рабочему делу", к пропаганде социалистических воззрений среди петербургских рабочих.

О пропагандистской работе чайковцев среди наиболее развитых и сознательных рабочих того времени на одной из окраин Петербурга—за Невской заставой- рассказывает нам Синегуб. В воспоминаниях его перед читателем проходят рабочие-пионеры рабочего движения 70-х годов и пропагандисты чайковцы—цвет и гордость революционной молодежи того времени.

Почти не затронут в воспоминаниях С. Синегуба самый значительный в жизни кружка этап—„хождение в народ". Правда, мы узнаем из воспоминаний о том, как учительствовали несколько месяцев в крупном селе Синегуб и Чемоданова, но эта деятельность была чисто просветительской и не носила того характера пропаганды революционных и социалистических взглядов, которая давала основное содержание всему „хождению в народ".

Несмотря на неполноту освещения в ней деятельности кружка чайковцев, книга С. Синегуба читается с захватывающим интересом, как увлекательная повесть. Это объясняется не только прекрасной, живой формой изложения, в которой выявился художественный талант автора, но и тем, что в воспоминаниях этих чувствуется пыл усиленно бьющейся, мятущейся молодой энергии, огромный моральный подъем, столь характерный для кружка чайковцев.

Недаром выдающийся революционер и известный ученый П. А. Кропоткин, вспоминая в своих „Записках революционера" о своем участии в кружке чайковцев, писал:

> „Никогда впоследствии не встречал я такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первых заседаниях кружка чайковцев. До сих пор я горжусь, что был принят в такую семью".

Идеология народничества, лежавшая в основе деятельности кружка чайковцев, давным давно обанкротилась и сдана уже сейчас в кунсткамеру истории. Но все же кружок чайковцев, кружок революционной молодежи 70-х годов, беззаветно преданной своим взглядам и готовой жертвовать своей жизнью и свободой, служа этим взглядам, представляет большой интерес для авангарда рабочей и крестьянской молодежи Советского Союза—для членов ВЛКСМ.

Фигурирующие в воспоминаниях С. Синегуба революционеры пропагандисты социалистических идей среди рабочих и крестьян — в большинстве выходцы из среды командующих классов. Если сам Синегуб—сын мелкопоместного и небогатого дворянина, то П. А. Кропоткин не только князь и потомок Рюриковичей, но и товарищ детских игр царя Александра II. С. Л. Перовская—дочь бывшего петербургского генерал-губернатора. Сестры Корниловы—дочери известнейшего в России фарфорового заводчика и т. д.

Но революционеры 70-х годов, будучи нам чужды по той среде, из которой они вышли, близки нам тем, что они, решительно порвав с командующими классами, смело встали на сторону угнетенных классов — рабочих и крестьян. Отщепенцы дворянства и буржуазии, становясь на сторону угнетенных классов, не надеялись на скорую победу. Они знали, что их ждут виселицы, годы тюрьмы, каторги и ссылки.

Но основной ошибкой народников было, как известно, то, что, стремясь к преобразованию общества на социалистических началах, они не отдавали себе ясного отчета в том, какой класс современного им общества призван осуществить это преобразование, к какому классу им надлежит обращаться с проповедью социалистических идеалов. Таковым классом народники считали крестьянство, а на рабочих они смотрели лишь как на проводников и передатчиков социалистической пропаганды в деревню.

Так смотрели тогда на роль крестьянства не только интеллигентные отщепенцы помещичьего и буржуазного класса, но и многие революционные рабочие.

Дальнейшей ошибкой народничества, выявившейся в полной мере в пропаганде чайковцев, было их отрицательное отношение к политической борьбе с самодержавием. Призывая народные, прежде всего крестьянские, массы к восстанию против существующей системы эксплоатации и угнетения, пропагандисты 70-х годов не указывали никаких путей восстания. Они не подчеркивали, что в первую голову восстать следует против царя-самодержца и против того полицейского аппарата, который держит трудящиеся массы в покорности командующим классам.

Лишь десять лет спустя возникшая за границей марксистская группа „Освобождение труда", созданная активными прежде участниками народнического движения 70-х годов Г. В. Плехановым, В. И. Засулич, П. Б. Аксельродом, Л. Г. Дейчем и В. Н. Игнатовым, принялась за критику ошибок народничества и за пропаганду необходимости для социалистов политической борьбы. Та же группа, прочно став на почву учения Маркса и Энгельса, провозгласила носителем социализма и могильщиком капиталистического строя не крестьянство, а пролетариат.

Потребовался опыт еще двух десятилетий рабочего движения в России, чтобы величайший из учеников Маркса и Энгельса—Ленин—с полной отчетливостью поставил перед рабочим классом России вопрос о роли в русской революции крестьянства, как союзника и активного соучастника в борьбе за свержение самодержавия, за создание новой рабоче-крестьянской власти.

Сейчас особенно ясна ошибочность воззрений утопического социализма народников. Не следует однако забывать, что теоретические ошибки народников 70-х годов вытекали не из их умственной ограниченности или антиреволюционности, а из отсталости экономического развития России того времени.

Но нас сейчас занимают не ошибочные взгляды наших революционных предков; нас не может не увлечь их достойный подражания пример идейного подвижничества на службе революции, их высокий нравственный облик. Уменье и готовность революционеров

70-х годов жертвовать своей жизнью и свободой в борьбе за свои идеалы, — вот что делает их близкими нам — участникам пролетарской революции XX века, что делает их предтечами этой революции.

Не в меньшей степени, чем к Герцену, применимо к чайковцам то, что писал в апреле 1912 г. В. И. Ленин в своей знаменитой классической статье „Памяти Герцена“:

> „Чествуя Герцена, пролетариат... учится понимать, что беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы“ (т. XII, ч. I, стр. 101).

Мы с читателем являемся участниками той жатвы, в посеве которой честно приняли участие революционеры-пропагандисты 70-х годов и в частности члены кружка чайковцев.

И. Гладнев

Воспоминания С. Синегуба первоначально печатались в журналах „Былое“ за 1906 г. и „Русская Мысль“ за 1907 г.



*СЕРГЕЙ СИЛОВИЧ
СИНЕГУБ*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ФИКТИВНЫЙ БРАК

Глава первая

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С РАБОЧИМИ

Кружок чайковцев еще в конце 1871 года начал заводить знакомства с рабочими. Первыми вступившими в непосредственное общение с рабочими из нашего кружка были: Сердюков [1], я, Чарушин [2], Леонид Попов [3] и Стаховский [4] (не бывший в то время в центральном кружке, но имевший постоянное общение с нами).

В то время я, Чарушин, Попов, Надежда Купреянова [5] и Мария Нагорская [6] жили так называемой «коммуной» [7], т. е. занимали сообща где-то возле Измайловских рот квартиру из четерых комнат с передней и кухней. В нашей квартире раза два собиралась в довольно большом количестве молодежь — душ до 50, если не больше.

Раз молодежь собралась на лекцию о Лассале [8], которую читал артиллерийский полковник Фалецкий [9] и читал, сказать по правде, довольно плохо, так что молодежь осталась очень недовольна этой лекцией.

В другой раз собралась у нас та молодежь, которая задумала было устроить демонстративные поминки на могиле Добролюбова [10], кажется, в десятилетие его кончины. Молодежь, а в том числе и вся наша коммуна, пришла на кладбище, но наткнулась на предупредительную полицию и, потоптавшись кучками на кладбище, то здесь, то там, порешила собраться у нас

на квартире, чтобы выслушать речь, приготовленную студентом-технологом Чиковым[11] для произнесения на могиле дорогого нам писателя, и хоть таким путем справить по нем поминки. После речи Чикова молодежь долго не расходилась, а разбившись по нашим четырем комнатам, разговаривала, спорила, шумела на тему служения народу, свержения самодержавия, народовластия и т. п.

На одном из этих собраний я познакомился со студентом Петербургского университета Грацианским, через него познакомился потом с кружком бывших рязанских семинаристов, поступивших в Петербургский университет, и со студентом же университета Ждановым.

Жданов вместе со своим братом, инженером-технологом, был владельцем довольно известного в то время химического завода бр. Ждановых, изготовлявшего «ждановскую жидкость», уничтожавшую зловоние и изобретенную инженером-технологом Ждановым. Студент Жданов замыслил в то время приносить пользу рабочим своего завода и устроил вечерние занятия с ними, для чего и пригласил из кружка рязанцев охотников заниматься с рабочими в качестве лекторов по истории, физике и географии, а также в качестве учителей грамоте и счету.

Грацианский, познакомив меня, Чарушина, Попова и Стаховского с Ждановым, предложил ему и нас в качестве учителей. Впрочем, Чарушин и Попов скоро отстали от этого дела: первого поглощала разроставшаяся конспираторская деятельность кружка по нашему «книжному делу» (издательство, основание библиотек в провинции в среде учащихся и рассылка книг) и по пропаганде среди интеллигенции и в столице, а кроме того, как мне кажется, и того и другого не

увлекло «якшание с рабочими», в то время только-что зарождавшееся. Я же, напротив, увлекся знакомством с рабочими: оно мне казалось в то время «самым настоящим делом» и заправским служением народу—служением, к которому были устремлены все мечты тогдашней молодежи.

Для молодежи того времени главнейшей задачей было решить, какую избрать деятельность, чтобы приносить наибольшую пользу народу, перед которым она — интеллигентская молодежь — считала себя неоплатным должником, купившим свое развитие ценою тяжких народных страданий, и какую надо было вести жизнь, чтобы по возможности меньше эксплоатировать и обездоливать народ, так как тогда молодежь полагала, что все, что она тратит на свою жизнь,—не только роскошь, а даже самое скромное довольство,—было «стяжанием неправым», отнятием у трудового народа ему принадлежащего.

Вместе с другом моего детства Стаховским,—с конца 1871 года вплоть до лета 1872 года, когда наши знакомые рабочие раз'ехались, да и Жданов охладел к своей затее, и занятия прекратились,— весьма усердно мы посещали тот подвальный этаж какого-то несуразного здания во дворе завода, который служил жилищем для рабочих.

Надо сказать, что я и Стаховский не сошлись со своими сотрудниками-рязанцами и с самим Ждановым в цели и характере обучения рабочих. В то время как они ограничивались исключительно передачею рабочим знаний по физике, географии, арифметике и грамотой, мы, сами охваченные вопросами жизни народа, вопросами о его судьбе, о неправде, царящей над ним, о гнетущей нужде его и о всевозможном произволе над

личностью мужика, неизбежно сводили обучение рабочих на пропаганду.

После урока чтения, письма, арифметики и проч. мы заводили с рабочими разговоры об их житье-бытье; разговоры сводились зачастую на религиозные темы, и мы толковали об евангелии и с точки зрения евангельской разбирали неправду русской жизни. Читали мы рабочим и соответствующие книжки, касались и щепетильного вопроса об отношении хозяев к рабочим.

Помню, как раз, собравшись у Грацианского, все участвовавшие в занятиях с рабочими Жданова завели между прочим разговор о том, что напрасно я и Стаховский поднимаем среди рабочих «социальные вопросы» и позволяем себе критику священного писания, при чем один из рязанцев горячо заметил мне:

— Да разве вы не знаете, что критика священного писания в Германии привела к реформации и к сильнейшему народному волнению, к крестьянским войнам? Неужели вы хотите вызвать то же и в России?

Я совершенно искренно и наивно отвечал, что от души желал бы, чтобы в результате наших усил получилось что-нибудь похожее на реформацию и крестьянские войны.

Как бы то ни было, но среди рабочих оказались у нас искренние друзья, — хотя и не более пяти человек, — для которых наши беседы и наши книжки, как это чувствовалось нами, были желанной духовной пищей, отвечавшей тем запросам их души, которые возбудила в них сама жизнь. К сожалению, моя память не удержала имен этих первых моих друзей из рабочих, из них я помню только одного, молодого, 22-х лет, Ляпунова, еще до знакомства с нами бывшего грамотным и жадно накинувшегося на наши книжки. Летом при

расставании с ним мы снабдили его книжками в роде «Прохожего» Григоровича [12], «Анчутки Беспятного» Майнова [13], фабричных рассказов Галицинского [14] и др.; он уезжал в свою деревню и думал там заняться пропагандой.

Судьба не привела нас встретиться с ним вновь, как и с другими лицами из нашего первого опыта схождения с рабочими. Только долго спустя, в 1877 году, когда шел процесс 193-х, в котором я фигурировал в качестве обвиняемого, я встретил в числе наших защитников и помощника присяжного поверенного Грацианского, но мы уже не признали друг друга и даже не поздоровались.

Глава вторая

ПОДГОТОВКА ПОБЕГОВ

Однажды, когда мы еще жили в коммуне, выпал такой вечер, что все мы, кроме Чарушина, были дома и, собравшись в моей комнате (у нас у каждого было по комнате, кроме Нагорской и Купреяновой, у которых была одна общая и самая большая комната), читали «Историю одного города» Щедрина [15], одного из самых любимых нами писателей. Читал я; публика — Купреянова, Нагорская и в особенности Попов — хохотала до изнеможения!..

Но пришел Чарушин, человек «рыжий-красный» в синих очках, сквозь которые или сверх которых смотрели голубые конспираторские глаза, юноша с крутым, выдающимся, умным лбом, высокий, худой и стройный, и нарушил наше чрезмерное веселое настроение.

Он сообщил нам между прочим о том, что им получено письмо из Вутки от его знакомой, некоей Кувшинской [16] (впоследствии ставшей его женой), которая, будучи классной дамой в епархиальном духовном училище и пользуясь величайшей любовью воспитанниц старших классов, кой-кого из воспитанниц просветила насчет народа и служения ему, и некоторые из них по выходе из училища попытались устроить свою жизнь сообразно своим убеждениям, но натолкнулись на жестокий семейный деспотизм.

Так, одна из них, лучшая ученица, блистательно окончившая на 16-м году епархиальное училище, Соня Чемоданова, дочь сельского священника, попала дома в такие тиски отцовского деспотизма, что решилась бежать из дому, но была поймана отцом на 80-й версте от дому и водворена вновь под кров отчий; к ней приставили шпионов из детей и прислуги, лишили переписки с кем бы то ни было, приходившие на ее имя письма перехватывались и почти все книги были от нее отобраны, кроме тех, которые Соня тайком ухитрилась как-то спрятать на чердаке дома. Ни с кем, кроме дочери местного дьякона, иметь сношения ей не дозволялось.

Ко всему этому отец и мать порешили во что бы то ни стало выдать ее замуж за местного мирового судью, которому Соня приглянулась. И бедная девушка через сочувствовавшую ей втайне дочку дьякона послала отчаянное письмо своей бывшей классной даме Кувшинской, моля о спасении и угрожая покончить с собою, если к концу года Кувшинская не устроит ей хотя бы фиктивного брака [17], ибо-де жить так, как хотят, чтобы она жила, ее отец, мать и родные, она не может и предпочитает лучше лечь в могилу.

Кувшинская в письме своем к Чарушину и писала об этой отчаянной мольбе Сони, прося его подумать и с помощью кружка выручить из беды девушку, человека, вполне «годного к делу».

Так как другого средства спасения при тех условиях, в каких очутилась Соня, кроме фиктивного брака, придумать было нельзя, то как Кувшинская в письме, так и Чарушин с друзьями остановились на нем. Вся задача заключалась лишь в том, чтобы подыскать человека, который пожелал бы взять на себя эту миссию и сумел бы ее выполнить.

Рассказывая в этот вечер нам о том, что писала ему Кувшинская и обрисовав судьбу Сони, которую никто из нас лично не знал и не видал, Чарушин сообщил и мысль о фиктивном браке, как и о том, что он и другие друзья решительно не знают, кто бы мог за это дело взяться.

Я, зная, что наш кружок в число своих задач включал и освобождение людей, страдавших за свои убеждения, от ссылки, тюрьмы и домашнего гнета, лишавших то или другое лицо возможности служить народному делу, — не колеблясь, предложил свои услуги. Чарушин, никак не ожидавший такого скорого разрешения их затруднения, очень обрадовался моему предложению, и было тут же решено, что он напишет об этом Кувшинской и что я буду готов во всякое время, как только того потребует она, явиться на место действия. На этом пока и остановились.

Разговор с Чарушиным происходил в феврале или марте 1872 года. Как я уже сказал, в мае месяце этого года коммуна наша раз'ехалась, и так как до мая месяца меня не потребовали к исполнению намеченной задачи, — устройства фиктивного брака, — то я стал

уже предполагать, что там, в Вятке, перестали об этом думать, и сам на этот счет успокоился.

Из Питера я уехал в Москву, или, лучше сказать, под Москву, к старшему брату своему Владимиру. Брат был уже человеком семейным и жил в это время как бы на даче в деревушке Печатниково, в получасе езды из Москвы по Московско-Курской ж. д. В дни юности этот брат участвовал в украинофильском движении и присоединился с частью украинофилов к восстанию поляков в 1863 году [18]. Все его участие, впрочем, выразилось в неудачной попытке вместе с помещиком Переяславского уезда, Полтавской губ., Потоцким [19] вызвать восстание тамошнего казачества одновременно с восстанием поляков. Вызвать такое же восстание попытался в Киевской губ. в имениях Трепова и небезызвестный Павел Платонович Чубинский [20]. Мне известны только эти два члена «Киевской громады», попытавшиеся вызвать восстание хохлов одновременно с поляками для восстановления Украины. Оба они и поплатились: Чубинский был сослан в Пинегу, а брат мой, высидев два года в киевской Прозоровской башне, был потом сослан в Вятку. В то время, когда он жил в Печатникове, прошло более пяти лет со времени возвращения его из ссылки.

Мы с братом, впрочем, не располагали праздно проживать в Печатникове. Мы с ним составили такой план: я отправлюсь в деревню к отцу, а брат — в Екатеринослав, где он должен был устроить побег из семьи одной девушке, которую он хорошо знал и которая, как и многие девушки в то время, рвалась на волю, на самостоятельную жизнь и на службу народу. Она тоже попала в семейную тюрьму, и родители прочили ее замуж, находя все ее стремления чистейшими глупостями,

Если бы побег не устроился, брат должен был приехать в деревню к отцу (деревня была в Екатеринославской губернии, в Александровском уезде), откуда мы намеревались пройтись по земле Войска Донского, потолкаться среди казачества, поразузнать, как велико недовольство казачества своим положением, живы ли в нем старые предания о казацких вольностях, о казацких «кругах», о Стеньке Разине [21] и пр. Ждать брата я должен был три недели, и если бы после трех недель он в деревню не явился, то я должен был отправиться в Ростов на Дону, подождать его дня четыре там и постараться встретить на вокзале Ростово-Таганрогской железной дороги.

Условленные три недели истекли, а брат в деревню не явился. Взяв у родителей с сотню рублей, я уехал в Бердянск, а оттуда по Азовскому морю в Таганрог. Это короткое путешествие по морю, в продолжение всего каких-нибудь 12 часов, я проклял от всей души. Как только пароход вышел в открытое море, меня начало тошнить. Приехав в Таганрог, я чувствовал себя больным, и меня очень огорчало, что я оказался такой хлябоватый по своим физическим силам. «А еще мечтал жить так, как живет простой рабочий, а ничтожной качки не мог вынести, чтоб не раскиснуть»,—думал я про себя с упреком.

Из Таганрога я в тот же день выехал в Ростов на Дону. Здесь я остановился близ вокзала в каком-то постоялом дворе, отвратительном и довольно подозрительном. Хозяин постоялого двора то-и-дело шушукался с какими-то приходившими к нему подозрительного вида фигурами мужского и женского пола, и мне казалось, что тут какой-то притон. Вечером здесь поднялась самая ужасная ругань пьяных людей; за стенкой,

в соседней комнате, дело доходило до драки между мужчиной и пьяной бабой. Прожить мне пришлось здесь двое суток. Наконец приехал и брат, и в тот же день мы уехали с ним обратно под Москву.

Все наши планы расстроились. Девушка, за которой ездил брат, от побёга отказалась, так как успела за это время по уши влюбиться и готовилась к бракосочетанию с возлюбленным; а из-под Москвы от жены брата было получено письмо, в котором она просила брата вернуться немедленно, чтобы не упустить открывшегося для брата места в каком-то земельном банке.

У меня тоже пропала охота путешествовать по Дону без компании.

Глава третья

УЛЬТИМАТУМ СТАНОВОГО

В этом году летом южные города — Бердянск, Мариуполь, Таганрог и в особенности Одесса — были переполнены безработными людьми. В Одессе их скопились десятки тысяч. Урожай был по всему югу необыкновенно плохой, и пришедшие на заработок издалека рабочие оставались не при чем, голодали и болели. С нами в вагоне ехало несколько таких скорбных и огорченных людей. В особенности был жалок один из них, типичнейший русский захудалый мужичок. По его словам, он уже четверо суток ничего не ел и страдал, как мне кажется, так называемым «голодным тифом». Ехать ему надобно было до Курска, а оттуда в свою деревню; ни гроша денег и полная потеря сил. Мы с братом, собрав в его пользу среди пассажиров

своего вагона кто что мог дать, в Славяносербске отвезли его в больницу.

Рабочие возвращались домой ни с чем. Голодные иногда воровали у таких же голодных последнее, и это вызывало иногда безобразные сцены поимки вора, вмешательства жандармов, составления протоколов. Пассажиры, ехавшие из Одессы, рассказывали, то как очевидцы, то как слышавшие от очевидцев, о душу раздирающих сценах на улицах Одессы среди скопившейся там массы голодных безработных. Рассказывали о случаях голодной смерти прямо на улицах мужчин и женщин с грудными детьми; рассказывали о том, как голодные толпы требовали у начальства или заработка или отправки их на казенный счет домой и в ответ на это их избивала полиция.

Кругом было гнетущее настроение.

Несмотря на то, что мы с братом были принципиальные противники филантропии и подачи милостыни, мы роздали все, что было с нами: с'естное, одежду, деньги, оставив себе только, чтобы доехать до Москвы. Наконец прибыли в Печатниково.

К этому времени в Екатеринбургской гимназии во время экзаменов старшие классы взбунтовались и, как кажется, побили своего директора Всеволодова. Ученики были озлоблены систематическим, нарочитым отравлением их жизни со стороны этого чиновника-человеконенавистника. Друзья, оставшиеся в Питере, узнав, что я вернулся с юга в Печатниково, предложили мне катить в Екатеринбург, так как приехавшие туда студенты-технологи из екатеринбургского кружка, с которым имел связи наш кружок, просили прислать кого-нибудь из чайковцев, чтобы утилизировать гимназическое движение в революционном смысле.

Надо было ехать.

И вот я очутился в Екатеринбурге, но, как и следовало ожидать, опоздал. В дело гимназического бунта вмешалась уже жандармерия, и петербургские друзья— екатеринбуржцы Каликин, Попов Григорий, Коротков, Волков и девушка Кочка — притихли и советовали мне временно скрыться из Екатеринбурга, так как за ними и за изгнанными гимназистами уже усиленно следила жандармерия. Мне указали на Невьянский железоделательный и чугуноплавильный завод, где я мог бы безопасно прогостить у студента-технолога Бердникова [22], сына тамошнего купца (у него был склад пожарных машин).

Не желая преждевременно попадаться в руки жандармов, я последовал благоразумному совету приятелей и уехал на Невьянский завод, захватив с собой и привезенные заграничные издания — несколько №№ «Народного Дела» (газета, издававшаяся знаменитым Сергеем Нечаевым [23]) и сочинения Чернышевского [24], изданные за границей эмигрантом Элпидиным [25]. Элпидин — участник казанского дела в начале 60-х гг. Дело это, по распространению «Золотых грамот» среди крестьян Казанской и Вятской губ. и пропаганды в войсках города Казани, окончилось для некоторых участников из военных смертною казнью, для некоторых— каторгой или тюремным заключением. Из последних я лично знавал двух: бывшего студента-медика Казанского университета Орлова, которого я уже встретил в Забайкалье, где он, по получении прав, был приисковым фельдшером и горько пил, и другого студента Казанского университета, Красноперова, вращавшегося в нашем кружке и принимавшего участие в литературе.

Итак, я очутился на Невьянском заводе и, пробыв там большую часть июля, в начале августа уехал оттуда. Однако дело у меня здесь не обошлось без приключений.

Нам с Бердниковым удалось здесь составить кружок из учителя народной школы Перезолова, из горного чиновника Бурцева, из сестры и брата Башениных, детей тамошнего купца, почтенного и умного Петра Ивановича, в доме которого главным образом мы и собирались для чтения книг и рефератов. Помню, что я читал между прочим реферат по утилитаризму, а из книг читали Писарева [26] и популярные в то время «Сказки Кота Мурлыки» [27], не особенно давно только явившиеся в свет.

Наибольшей симпатией из этих сказок среди молодежи пользовались две: «Колесо жизни» и «Макс и волчок», а среди рабочих, кроме того, еще и «Курилка», чтение которой в слушателях-рабочих вызывало неудержимый хохот.

Своих новых знакомых я не преминул снабдить привезенными с собой заграничными изданиями. Товарищ мой по технологическому институту Бердников и сын Башенина основали тайную библиотеку, которая помещалась в лавке Башенина. В библиотеку были включены и привезенные мною сочинения Чернышевского «Об общинном землевладении».

При чтениях реферата и книг возникали разговоры и споры, при чем касались различных политических, экономических и моральных тем, касались, и, конечно, весьма неблагосклонно, и русского бесправия, и русского самодержавия и пр.

Как-то дошло до невьянских властей, а именно до невьянского станового пристава с невьянским жан-

дармским унтер-офицером, что какой-то неизвестный, приехавший откуда-то молодой человек мутит людей, завел какой-то кружок, читает там книги, ведет непотребные речи.

Жил я в это время на одной квартире с горным чиновником Бурцевым и, живя в Невьянске, я очень кстати занялся между прочим собиранием минералогической коллекции, — благо в Невьянском заводе мне щедро дарили всевозможные минералы почти все из моих знакомых. У меня образовалась довольно хорошая коллекция горных хрусталей, топазов, аметистов, малахита, изумруда, разных ямш и др. штуфов—более сотни.

И вот в то время, как Бурцев был на службе, я, оставшись один на квартире, принялся за разборку и упаковку своей коллекции, расположившись с нею на полу. Вдруг в сопровождении хозяйки входит в комнату рослый детина в форме жандармского унтер-офицера. Усаживается он на стул и очень вежливо вступает со мною в разговор — сначала, прилично случаю, о коллекции:

— Для чего, мол, вам это?

— Я-де изучаю науку о камнях — минералогию — в Технологическом Институте и вот приехал на Урал специально затем, чтобы собрать коллекцию.

— А нельзя ли взглянуть мне на ваш паспорт?

— Извольте! — и я достал ему из дорожной сумки билет, выданный мне из Технологического Института для поездки в Екатеринбург. Жандарм с министерской миной рассматривал мой билет довольно долго и в заключение выразил некоторое сомнение насчет печати на билете — почему-де не сургучная? — Печать была мастичная.

— Я уж этого не знаю, уж такова воля институтского начальства, — отвечаю я.

— Я все-таки должен вас пригласить со мной к господину становому!

— С удовольствием!

Сложив свою коллекцию на стол, где были книги, за которые я очень боялся во все время разговора с жандармом,—так как на столе лежал номер «Народного дела» и «Об общинном землевладении» Чернышевского, и я боялся как бы он не вздумал их пересматривать, но он почему-то не обратил на стол никакого внимания, — мы пошли к становому. Так как пришлось итти через торговую площадь, то торговцы, в том числе и старик Башенин, увидели меня, сопровождаемого куда-то жандармом. Это обстоятельство обратило на себя внимание и вызвало говор, а старик Башенин, оставив сына в лавке, пошел якобы домой, а на самом деле отправился к Бердникову, чтобы уведомить его о казусе со мной.

Пришли к становому. Вышел среднего роста, с приличным брюшком, довольно выхоленный господин в белом военном кителе, с серьезным, довольно красивым лицом, еще не старый.

— Скажите, молодой человек, вы откуда приехали сюда?

— Я приехал сюда из Екатеринбурга, в Екатеринбург из Петербурга.

Жандарм подал в это время становому мой вид.

— Но как же вы приехали сюда без разрешения начальства? Ведь билет выдан вам только до Екатеринбурга? — довольно строго спрашивает становой.

— Разве я не имею права отлучиться из Екатеринбурга по этому билету в сторону на 90 верст?

— Не имеете права!.. Да... и зачем вы сюда приехали?

— Приехал в гости к товарищу по институту Бердникову, а кроме того мне сказали, что я здесь могу собрать хорошую минералогическую коллекцию, которую и собрал. Вот и они видели, — указал я на жандарма.

Становой пристально посмотрел на меня своими умными черными глазами.

— А скажите, какой это у вас тут образовался кружок и какие это вы устраиваете чтения?

— Кружок?! — изумился я. — Это кто вам насплетничал? Никакого кружка нет! Просто собираются иногда знакомые у старика Башенина, которого вы, вероятно, знаете, и читаем, поем и вообще проводим время!

— Но однако что же вы там читаете?

— Читали Писарева, «Сказки Кота Мурлыки».

— Нет, позвольте-с, — перебил жандармский унтер, сделав строгую физиономию, — вы там говорили возмутительные речи про его императорское величество!

— Что-о? Кто это вам сказал? Я бы просил вас, — обратился я к становому, — сейчас же вытребовать сюда того, кто это сказал господину унтер-офицеру, и пусть это лицо тут же, при мне скажет, что ему известно про наши чтения! Я требую этого!

Становой еще пристальнее поглядел на меня и после некоторой паузы сказал:

— Вот что, молодой человек, вы не имеете права быть в Невьянском заводе. Я предлагаю вам, чтобы вы в 24 часа выехали отсюда, чтобы вас завтра в это время здесь не было. Иначе я отправлю вас отсюда по этапу. Можете итти.

— Что ж, ваша воля, — сказал я, и мы вместе с жандармом вышли.

— Мне тут с вами немножко по дороге, — сказал мне ласково жандарм, и мы пошли вместе.

— Вы откуда уроженцы будете? — спросил он меня. Я ответил.

— Ну?! — радостно воскликнул жандарм. — Ведь и я оттуда! — И он стал меня расспрашивать, давно ли я там был, в каких местах и пр. При расставании он дружески тряс мою руку и желал «земляку» счастливого пути.

Проходил я теперь по торговой площади без жандарма, и меня с любопытством провожали взоры торговцев и торговок. Отправился я прямо на свою квартиру, чтобы поскорее прибрать там все запрещенное. Я опасался, как бы начальство, успокоив меня, не вздумало произвести обыск, а потому надо было торопиться. Но на пути я встретил Бердникова, который, запихав за пазуху своей блузы все запрещенное, найденное им в моей квартире, уже уносил его к себе, чтобы надежнее припрятать.

Я об'явил ему об ультиматуме станового и просил его, как жителя Невьянска, найти кого-нибудь, кто завтра увез бы меня в Екатеринбург, так как ехать на почтовых у меня не было денег, а отправляться на казенный счет я, само собою разумеется, не желал.

Бердников подумал и решил, что он сам поедет на своих конях в Екатеринбург, — кстати ему туда надо было все равно с'ездить на-днях по делу отца,—и увезет заодно и меня.

Решили ехать рано утром.

Подходя к своей квартире, я увидел, что старик Башенин сидит у открытого окна своего дома, вместо

того, чтобы быть в своей лавке, и, заметив меня, зовет знаками к себе. Я зашел и рассказал, что и как произошло. Старик в волнении посылал много недоброжелательного по адресу начальства и очень сожалел, что приходится так скоро расставаться.

Простившись со своими добрыми знакомыми, с которыми на короткое время свела меня судьба, я на другой день вместе с Бердниковым возвратился в Екатеринбург.

Покидал я Невьянск с некоторым чувством досады. У меня возникало предположение, которое недурно было бы, на мой взгляд, осуществить. Я предполагал завести знакомство с заводскими рабочими; я уже два раза посетил чугуно-плавильный завод, осмотрел его устройство, познакомился с главным механиком-самоучкой, хохлом по происхождению, который установил здесь молота, приводившиеся в движение водными колесами, сделал многие приспособления в том отделении, где под этими молотами обрабатывались огромные раскаленные глыбы железа. Вообще этого механика-самоучку знакомая мне публика ставила очень высоко, как выдающегося «самородка-механика». Вступал я уже в разговоры и с рабочими и, если бы мне беспрепятственно пришлось прожить здесь еще с месяц, я всенепременно завел бы близкие знакомства и с ними.

В Екатеринбурге я прожил с неделю. Дело с гимназическим бунтом кончилось довольно печально. Несколько учеников из старших классов были изгнаны из гимназии, кто совсем, кто с правом вновь поступить в гимназию через известный промежуток времени. Учитель математики Обреимов, пользовавшийся популярностью среди учеников, устраивавший им приватные лекции по математике, собиравший кое-кого из учени-

ков у себя на квартире для чтения и собеседований и вообще заботившийся о развитии учеников, был сочтен за вредно влияющего на них, а стало быть, и косвенным, если не прямым, виновником случившейся в гимназии истории, почему и был выслан административно в один из уездов Вятской губ.

Большинство изгнанных из гимназии учеников уже выехало из Екатеринбурга, кто домой, кто в Москву или в Питер, или в Казань.

В числе изгнанных был и ученик 6-го класса Андреев. Он решил ехать в Питер и там подготовиться к университету. Отец его этому решительно воспротивился и категорически отказал ему в своем согласии. Как быть? Бежать? Но при этом нельзя иначе, как ехать на почтовых, а попутчика такого, который не знал бы его или его отца и который бы ехал до Перми и под прикрытием подорожной которого Андреев мог бы безопасно доехать до Перми в качестве «будущего» [28], не находилось.

Таким образом мой приезд из Невьянска был для Андреева как нельзя более кстати. Я мог его увезти в качестве своего попутчика до Перми на почтовых, да и потом ему, совершенно неопытному юноше, я был бы полезен и на пароходе, и на железной дороге, и в самом Питере, пока он устроится.

Андреев был уверен, что отец его сгоряча мог и в погоню пуститься и вообще начать рвать и метать, но что раз Андреев очутится в Питере, то отец примирится с совершившимся фактом и не откажет даже в средствах для существования, в особенности после того, как тревожное состояние от неизвестности, что с сыном, сменится радостью при известии, что он жив, здоров и весел.

Я, конечно, охотно взялся довезти под своим прикрытием юношу до Питера, тем более, что один из екатеринбургских друзей — Каликин — отзывался об Андрееве как об одном из выдававшихся и подававших надежды бунтарей-гимназистов.

Правда, я вскоре же разочаровался в Андрееве, и уже дорогою он показался мне и мало развитым, и мало отзывчивым, и в общем и в уме и в чувствах туповатым и узким суб'ектом. Да и рекомендовавший его Каликин очень скоро по возвращении в Петербург оказался человеком, с которым вести конспиративные дела было по меньшей мере небезопасно. Будучи забран в III отделение [20], он там в своих показаниях такого наплел, что жандармерия наметила многих из нас, о которых до тех пор не ведала и не беспокоилась. Его скоро освободили, и с тех пор, к счастью для конспираторов, Каликин совершенно устранился от «революции» и, преблагополучно окончив университет, погрузился в болото обывательщины.

И как о его дальнейшей судьбе, так и о судьбе Андреева, я ничего не слыхал.

Глава четвертая

ИСКАТЕЛИ ПРАВДЫ

Пустились мы с Андреевым в путь и к концу августа 1872 года были в Питере. Здесь я остановился у брата Владимира, переехавшего сюда из Москвы, так как именно в банке общества взаимного поземельного кредита нашлось ему место, и поселившегося на Петербургской стороне.

В тот же день разыскали мы с Андреевым екатеринбургскую коммуну, в которой были Серебренников, Короваев, Распопов, Дьяконов и один из старых наших екатеринбургских друзей — Шамарин. В этой коммуне временно приютился и Андреев.

Разговаривая с Серебрянниковым, я узнал от него, что он не особенно давно совершенно случайно свел знакомство с несколькими фабричными рабочими-ткачами с ткацких фабрик на Выборгской стороне. Случилось это так: Серебренников, гуляя в Александровском парке, присел на скамью, на которой сидели два парня, по внешности — фабричные. Один из них читал другому преглупейшую книжонку лубочного издания под заглавием «Улыбка за рубль». Вслушавшись в чтение, Серебренников не вытерпел и обратился к рабочим: «Неужели вам интересно читать такую дрянь?»

Рабочие очень охотно вступили с ним в разговор сначала на тему, что они люди малограмотные и в книгах разбираться не мастера, а затем оказалось, что они давно хотят подучиться получше, да вот-де не приходится никак. Сказывали им, что «студенты» иногда даром учат рабочих, так они и мечтали, как бы им со студентами познакомиться, да вот до сих пор не случилось.

Серебренникову рабочие понравились: молодые, остроумные и, видимо, серьезно жаждавшие просвещения. Он предложил им приходить к нему раза два в неделю по субботам и воскресеньям и заниматься у него обучением. Рабочие чрезвычайно обрадовались такому предложению, — «наконец-то бог послал нам студента», — и в первую же субботу вечером явились к Серебренникову по данному адресу. Два этих рабочих — Шабунин и Абакумов [30] — привели с собою третьего,

несколько постарше их и посолиднее по уму и по характеру. Это был довольно известный потом один из выдающихся рабочих Григорий Крылов [31].

Серебренников в первом же разговоре со мной высказал, что он, приступив к занятиям, зачастую чувствовал себя не на высоте требований, которые пред'являли приходившие рабочие: кроме простого обучения письму, чтению, счету, они искали чего-то большего, закидывали Серебренникова вопросами, в которых он еще и сам не разобрался, почему и у него пропадала охота учительствовать. Он предложил мне познакомиться с его рабочими и взять дело обучения на себя. Само собою разумеется, что я ухватился за это предложение, и в ближайшую же субботу вечером Серебренников познакомил меня с Шабуниным, Абакумовым и Крыловым. Все трое произвели на меня чрезвычайно хорошее впечатление: это были те «мирские» люди, для которых «мир» — великое дело и которые поэтому давно задумались над жизнью крестьянского мира, над вопросом, где искать настоящую правду и как избыть горе и нужду крестьянскую?

Первый вечер знакомства прошел у нас в горячих разговорах на темы, нас одинаково глубоко занимавшие, которые были тою нашей болью, о которой мы не могли не говорить. Далеко за полночь разошлись мы, при чем было решено, как того пожелали все трое рабочих, познакомить меня с той артелью ткачей, с которой жили Шабунин и Абакумов. Крылов жил в другой артели, с которой впоследствии я, конечно, познакомился тоже.

Хотя все эти ткачи были фабричные рабочие, но в сущности это были ткачи-крестьяне, пришедшие из деревень в город на заработки, при чем большинство

из них, проработав осень, зиму и часть весны до начала пахоты и посева, старалось ко времени полевых работ вернуться обратно в деревню. И если это не всегда и далеко не всем удавалось осуществить, то во всяком случае такое желание было обще всем им.

Весь этот люд был тесно связан с деревней, спал и видел, как бы получше устроить житье свое в деревне, все горести и радости деревни считал своими родными горестями и радостями. Город был для них временным пунктом пребывания, станцией на их жизненном пути, а конечным пунктом его и постоянным желанным местом жительства была деревня.

Я близко сходился с артелями, не раз ночевал у них, проводил праздники с утра до ночи и в общем вынес впечатление о замечательной нравственной чистоте этих людей, принесших эту чистоту из глубины своих тверских и новгородских деревень. Искренность, правдивость, честность и вечно присущее их душе искание правды — вот моральные черты у тогдашней фабричной среды. Я говорю, конечно, про общий характер среды; само собой разумеется, что были исключения, были единицы и растленные и гнусные.

К этому деревенскому люду, к фабричным ткачам, настоящие городские рабочие, в роде рабочих Семянниковского механического завода или патронного завода на Васильевском острове, относились свысока, презрительно-снисходительно и называли этот люд «серым».

По прибытии из деревни в город рабочие одной губернии и зачастую одного и того же уезда старались группироваться вместе, старались, поскольку было возможно, попасть на одну и ту же фабрику, устраивали тотчас же общежития, называвшиеся на их языке артелями, т. е. находили себе одну общую хозяйку,

сняв общую квартиру, и возлагали на хозяйку за известную плату в месяц с души обязанности поить, кормить их, держать помещение в чистоте и заботиться о стирке их неказистого белья.

Положение ткачей было не из удовлетворительных. Зарабатывал ткач в среднем не более 70 коп. в день, работая с 5 час. утра и до 8 час. вечера, с перерывом на еду не более 2 часов, так что рабочий день в большинстве случаев был не менее 11 часов.

Как-то мои друзья ткачи повели меня на фабрику во время работы.

Боже мой! Какой это ад!

В ткацкой с непривычки нет возможности, за грохотом машин, слышать в двух шагах от человека не только то. что он говорит, но даже, что он кричит. Воздух — невозможный, жара и духота, вонь от людского пота и от масла, которым смазывают станки; от тонкой хлопковой пыли, носящейся в воздухе в ткацком отделении, получается своеобразный вид мглы. И в такой обстановке надо простоять человеку более 10 часов на ногах, внимательно наблюдая, чтобы не упустить момента, когда порвется нитка в основе, чтобы ее тут же, на ходу машины, связать и чтоб переменить челнок, как только остановится станок (станок сам останавливается, как только уток челнока весь выйдет). Стоять приходится неизбежно, так как сидеть не полагается, да и сесть, кроме подоконника, негде; а на подоконнике сидеть нельзя, — «свет застишь», не дозволяется.

Я пробыл на фабрике не более 2 часов и вышел оттуда очумелый и с головной болью. Это мое посещение фабрики вызвало впоследствии появление на свет моего стихотворения «Дума ткача» [32], получившего потом большое распространение среди молодежи и в особен-

ности среди рабочих. Его, кажется, и до сих пор поют и в России и в Сибири; я слыхал, как его пели в далекой Нишанской тайге, не особенно далеко от Охотского моря.

Познакомившись с артелью, где жили Шабунин и Абакумов, я стал ходить в артель с тем, чтобы по вечерам читать книжки вслух всей артели и по поводу прочитанного заводить суждения о житье-бытье русского крестьянства.

Из других артелей, а в том числе и из той, в которой жил Крылов, стали тоже приходить некоторые рабочие, чтобы послушать, что «студент» читает и какие речи ведет. Я получил от них приглашение побывать в их артелях с книжкой. Знакомство с рабочими завязывалось большое.

Во время моих посещений многие рабочие в артелях заявляли желание учиться грамоте. Таких желающих набралось столько, что я единолично решительно не мог удовлетворить всех желающих учиться. Пришлось думать о том, чтобы подыскать для них учителей. Я пообещал рабочим таковых найти...

Но на этот раз мне пришлось прервать начатые с рабочими занятия и отложить организацию занятий с ними месяца на три.

Глава пятая

СНАРЯЖЕНИЕ ЖЕНИХА

Однажды я был у брата Владимира и собирался от него итти вечером в артель, как пришел к брату Чарушин.

— А я вас разыскиваю, — обратился он ко мне, — по важному делу.

Оказалось, что Кувшинская, которая в августе месяце этого года приехала в Петербург и поступила на медицинские курсы, вновь получила от Сони Чемодановой письмо с настоятельной просьбой, как можно скорее послать обещанного ранее жениха для фиктивного брака, так как домашний режим становится все невыносимее... Так как я еще в марте месяце предложил свои услуги для спасения «погибающей души», то Чарушин и обратился ко мне с вопросом, готов ли я и теперь на сей подвиг? Конечно, я был готов, так как никаких причин отказываться от этого дела решительно не было.

Сказано — сделано. Начались сборы «жениха» в путь. Так как приходилось ехать в деревню, в которой едва ли можно было достать необходимое для свадьбы в роде подвенечной фаты для невесты, цветов для фаты, соответствующей одежды для жениха — черного сюртука, цилиндра, перчаток, — то приобрести все это взялись наши друзья — дамы, жившие в Басковом переулке отдельной коммуной. В состав этой коммуны входили Кувшинская, Палицына, Надя Кочурова, Надя Купреянова, Рязанцева и Олеся Охрименко.

Наиболее горячую деятельность по сбору жениха проявили Кувшинская и Кочурова. Первая—потому, что дело шло о ее духовном детище, Сонечке Чемодановой, которую она обещала выручить из беды во что бы то ни стало, вторая—потому, что была подругой Сонечки; обе они одновременно кончили училище, одинаково мечтали о «разумной самостоятельной жизни на пользу народа», и обеим приходилось вырываться из семейного омута.

Надя только-что довольно успешно справилась с последней задачей, а потому очень горячо принялась за устройство «спасения» и для Сонечки. Надя была дочерью разбогатевшего вятского крестьянина, имевшего торговлю в Сарапуле. Хотя отец ее, умный и с добрым сердцем человек, и не представлял собою троглодита, способного заесть и отравить жизнь дочери, и хотя он и против дальнейшего образования дочери ничего не имел, но как отпустить девушку одну в столицу, где ни родных, ни близких знакомых, которым можно было бы поручить попечение и надзор за нею? А ей всего 17 лет! Этот вопрос смущал отца, и он по окончании дочерью духовного училища воспрепятствовал ей отправиться в Петербург, куда она стремилась на медицинские курсы, которые существовали в то время для женщин (в 1872 году) и были прикрыты при Александре III. Надя не покорилась и, живя в Сарапуле, в городе с пароходной пристанью, списалась с Соней бежать одновременно, в один прекрасный день села на пароход и укатила в Казань, откуда и перебралась в Питер. Тут же были ее знакомые вятички, а главным образом «обожаемая» Анна Дмитриевна Кувшинская, к которой она и явилась под покровительство.

По приезде в Питер она уведомила отца о том, где она, как для того, чтобы успокоить естественную тревогу отца, так и полагая притом, что отец с совершившимся фактом примирится. Отец же, как только узнал о местопребывании дочери-беглянки, не замедлил явиться в Питер с твердым намерением увезти ее обратно. Он уговорил ее сначала перейти к нему и жить с ним, пока он будет в Петербурге, но затем заявил ей, что разрешить ей остаться здесь никак согласиться не может, так как боится, что она по молодости и без над-

зора сгубит себя. Но в Питере выполнить ему свое намерение увезти дочку обратно было трудно, а убежать и скрыться от него было куда легче, чем в Сарапуле. И Надя, выбрав удобный час, исчезла с квартиры отца.

Отец забил тревогу и кинулся прежде всего к Кувшинской, с которой познакомила его Надя, затем — к его знакомой Рязанцевой, но и там ему было заявлено, что им неизвестно, где Надя. Отец был в отчаянии. Опасались, как бы он не поднял на ноги полицию, но он оказался настолько путевым человеком, что к полиции не прибег.

Тщетно являлся он в продолжение недели почти ежедневно к Кувшинской и к Рязанцевой за справками о Наде, но никаких сведений от них не получал. Ясно понимая, что они знают, где она, и лишь не хотят ему сказать, он наконец вступил с ними в переговоры напрямик и стал сдаваться: он просил прислать Надю к нему для переговоров, давая слово, что никакого насилия над нею не сделает. Хотя Надя и говорила, что, зная отца, она вполне доверяет его слову, и готова была итти к нему, но друзья все-таки поопасались пустить ее к отцу.

Порешили предложить отцу свидание с Надей на квартире моего брата, в доме человека семейного и с некоторым общественным положением. Рязанцева передала это предложение отцу Нади, и он на него согласился.

В определенный день я приехал с Надей к брату, куда в назначенный час явился и ее отец. Часа два толковал отец с Надей, уговаривал и умолял ее ехать с ним обратно в Сарапуль, но Надя, несмотря на всю свою любовь к отцу, на которую, очевидно, он сильно рассчитывал, оставалась непреклонной.

Побился, побился отец, даже плакал при об'яснении, наконец махнул рукой и сказал: «Бог с тобой, пусть будет по-твоему», — согласился ее оставить в Питере под поручительство и надзор Рязанцевой, семью которой он знал.

Устроив Надю у Рязанцевой, еще не жившей тогда в коммуне в Басковом переулке, а занимавшей отдельную квартиру, снабдив Надю деньгами и нарядами, отец мирно с ней простился и уехал во-свояси. В следующее же лето Надя побывала у отца в Сарапуле и вернулась в Питер уже беспрепятственно.

Итак, Кувшинская и Надя хлопотали о снаряжении жениха, у которого, кстати сказать, весь гардероб был весьма несоответствен предстоящей задаче — раз'играть роль богатого жениха. Являться в дом зажиточного и видного среди местного духовенства священника в качестве небогатого, хотя и благородного жениха было нельзя. Такой жених не представлял бы ничего привлекательного в смысле партии для дочери. Поэтому в план успешного выполнения предстоявшей кампании входило разыграть роль именно богатого жениха, сына помещика (каковым я и был), «столбового дворянина». Между тем в кругу ближайших моих друзей, кроме моего брата, ни у кого нельзя было достать ни крахмальных сорочек, ни ботинок, ни ценных брюк, ни сюртука.

Приходилось всю подходящую к случаю обмундировку раздобыть на стороне, у знакомых «буржуев». Завести все новое на деньги — для этого требовались такие капиталы, каких у нас обретаться не могло, тем более, что и без того капиталы нужны были и на поездку в неблизкий край—туда и назад, при чем часть поездки приходилось совершать на лошадях, да и на

всякий случай нужно было иметь про запас с собой хотя бы небольшую толику денег. Дамы наши, в особенности Кувшинская, Кочурова и Рязанцева, раздобыли все, что нужно для жениха; друзья достали некоторую сумму денег.

У Рязанцевой я захватил на всякий случай хорошенькие золотые дамские часы с золотой цепочкой. якобы для подарка невесте. с тем, чтобы, если кампания окончится удачно, возвратить их обратно. но с риском потерять их, если дело у меня сорвется и мне придется совершенно налегке улепетывать без оглядки из поповского дома.

Напутствуемый благословениями друзей, я отправился туда. где жила Сонечка Чемоданова (Ларочка то ж), которую я никогда не видал и карточку которой мне вручила Кувшинская лишь в день от'езда, с пояснением. что на карточке Соня очень мало похожа и что в действительности она много красивее. Кроме того, снабжен был я и планом города Вятки с подробным указанием, где находится епархиальное училище, как оно устроено. где городской сад, какие главные улицы. и прочее.

Мне все это необходимо было знать, так как я в этом городе никогда не бывал, а в то же время надо было разыграть жениха. бывшего. в качестве туриста, в этом городе в последний год пребывания Сони в училище, здесь в это время с ней познакомившегося, влюбившегося в нее и встретившего в ней сочувствие. наконец сделавшего ей предложение с обещанием в тот же год явиться к ее родителям просить ее руки, но в силу сложившихся обстоятельств не могшего в обещанный срок выполнить предположенное, что и побудило Соню бежать из дому к возлюбленному.

Вооруженный, как нам казалось, всем необходимым для затеянного предприятия, я двинулся в поход.

Глава шестая

НЕУДАВШИЙСЯ ПОБЕГ

За год до моего приезда Соня Чемоданова, наткнувшись дома на невыносимый родительский гнет, разбивавший все ее молодые мечты и стремления и разочаровавший ее в отце, который в последний год ее пребывания в училище при свиданиях с нею либеральничал и, повидимому, сочувственно и даже поощрительно относился к ее стремлению «служить народу», порешила бежать из дому сначала в Казань, где жил ее дядя, доктор П—рин, которого она с детства «ужасно» любила и у которого, несомненно, она нашла бы защиту и покровительство и во всяком разе помощь, чтобы пробраться дальше в Петербург. Задумано — и при первом удобном случае выполнено.

Однажды отец с матерью и с маленькими сестренками уехали на именины к знакомым в одно из ближних сел, верст за 15—20 от села У. Дома оставалась с Соней одна только сестра ее Люба, годом моложе ее, пользовавшаяся особенной любовью и доверием отца и матери, но втайне сочувствовавшая сестре и знавшая о ее намерении бежать из дому.

Соня наняла мужика увезти ее до ближайшего городка Н., оттуда она думала на почтовых докатить до Казани. В Н—е в это время была ее же подруга по училищу Анна Михайловна Овчинникова, довольно известная впоследствии врач-женщина, а также был там

секретарь земской управы Р. с сестрой—все люди, знавшие о горькой судьбе Сонечки, сочувствовавшие ей и в случае надобности всегда готовые оказать ей помощь.

Мужик заложил тройку добрых коней и, взяв за 80 верст что-то около 12 рублей, увез беглянку с ее узелком белья и платьишек, в легкой шубейке, в Н., где она раздобыла у своих друзей денег на расплату с мужиком и на продолжение путешествия до Казани.

Был ноябрь месяц. В город Н. приехали поздно, к часам 6 вечера. Побывав наскоро в городке, Соня поехала прямо на берег реки Вятки, в верстах 3—4 от города, где находились избушки перевозчиков. Соня надеялась успеть переехать на другой берег реки, на котором, по случаю ледокола, находилась почтовая станция. По случаю же ледохода паром перестал уже ходить, и перевозчики перевозили желающих попасть на другой берег на лодке.

Когда Соня приехала к избушкам перевозчиков, стало уже темнеть, да и по реке на ее несчастье шел густой лед, и перевозчики ни за какую плату не соглашались ее перевозить, предлагая подождать до утра.

Делать было нечего, пришлось заночевать в одной из лачуг, ютившихся тут на берегу.

На одной из деревянных лавок, стоявших внутри у стен бревенчатой лачужки, устроилась на ночлег Соня. Перевозчик с бабой и ребятишками умостились на печке. Потушили огонь, и только луч луны белой полоской падал через замерзшее оконце на грязный пол лачужки и наполнял ее фантастическим полусветом.

Положив под голову свой узелок, прикрывшись своей шубенкой, Соня лежала на лавке, но благодатный сон не приходил к ней, чтобы успокоить ее разгулявшиеся нервы.

И вот, когда наконец долгожданный сон стал овладевать ею и погружал ее мысль в мир неуловимых грез, около полуночи в окно лачуги кто-то сильно и продолжительно постучал...

Соня очнулась и насторожилась.

Стучавший в окно, не слыша движения в лачуге, вновь нетерпеливо и настойчиво забарабанил по стеклу с криком: «Эй, хозяин, отвори!..» Ужас захолодил сердце Сони: это был голос отца!.. Соня инстинктивно с головой укрылась шубенкой и уткнулась в свой узелок...

Наконец с печи слез проснувшийся мужик, зажег лучину и, отворив дверь, впустил в лачугу, к своему изумлению, высокого попа.

Отец Василий был взволнован и, быстро оглядев избу, сразу увидел, где лежала Соня, подошел к ней и взволнованно, хотя и ласково произнес: «Сонечка, вставай! Поедем домой!»

Соня села на лавку в каком-то полубезумном состоянии.

— Поедем, родная моя! Поедем домой! — говорил о. Василий. — Господи! Господи! До чего мы дожили! Что ты делаешь с нами, родная!

От о. Василия пахло вином, выпитым на именинах, но он был совершенно трезв.

Соня некоторое время была в каком-то оцепенении и, лишь когда отец взял ее за руки и попытался поднять с лавки, прося ее одеться, чтобы ехать, она очнулась.

«Неужели опять домой?» — мысль эта наполняла душу бедной девушки горьким отчаянием.

С рыданьем кинулась она перед отцом на колени и, обнимая их и целуя его руки, горько молила отпустить ее на свободу; она говорила, что жить она дома не может, что легче ей умереть.

Но ни мольбы, ни слезы—ничто на отца не действовало. Без угроз, без злобы он твердил решительно и настойчиво лишь одно: «Не могу! Не могу! Едем домой!»

На эту сцену, столь неожиданно разыгравшуюся в их бедной лачуге, перевозчик с женой смотрели изумленными, безмолвными свидетелями.

Наконец Соня поднялась, перестала плакать, молча с минуту постояла и решительно произнесла: «Хорошо! Едем!»

Побег не удался.

Два или три дня после возвращения Сони домой отец и мать с особой осторожностью относились к ней, но затем опять вошли в свою колею и систематически стали отравлять жизнь дочери.

При всяком удобном случае ей кололи глаза ее побегом. Подвыпив с гостями, отец при них устраивал издевательства над дочерью, заводил речь о нигилистках, о стриженых девках, записаться в которые желала-де его дочь; ругательски проезжался по адресу Кувшинской, зная, как это больно задевает Соню. Переписку с Кувшинской он перехватывал и раньше и из этой переписки уразумел, какое влияние имеет Кувшинская на его Соню.

Если Соня не вытерпевала и начинала, как выражались родители, грубить отцу, отец поднимал ругань, подскакивал к дочери с кулаками, топал ногами и грозил сгноить ее дома, только бы не допустить ее стать развратной стриженой девкой. Мать, систематически подзуживая отца, и сама, что называется, точила дочь, с оханьями и причитаниями на судьбу, что до чего-де дожили, и как-де дочка осрамила на весь свет семью своим побегом.

Словом, жизнь девушки обращена была в сплошную пытку: хоть ложись и умирай.

Через Таню Любимову, дочь дьякона, которую Соня подготовляла к экзамену на сельскую учительницу, Соня устроила переписку с Кувшинской. Таня уезжала иногда в Н., и Соня пользовалась этими поездками, правда, весьма редкими, чтобы послать письмо Анне Дмитриевне или получить от нее ответ через живущую там Анну Овчинникову.

К тому же случилось однажды, что о. Василий с матушкой Ан. Ал. задумали с'ездить в Вятку и на этот раз захватили с собою и Соню, быть может, боясь оставить ее дома, как бы она не воспользовалась их отсутствием для нового побега. Здесь, в городе, несмотря на то, что к ней был приставлен шпион в лице братишки, гимназиста-второклассника, материнского баловня, при всяком удобном случае по-мальчишески глумившегося над сестрой к удовольствию родителей и без которого, по приказанию родителей, Соня не могла отлучаться в город. Соне удалось раз обмануть бдительность скверного мальчугана и при помощи родственника, гимназиста 5 класса Петра Неволина, ей было устроено в городском саду свидание с Анной Дмитриевной. На этом свидании Соня обрисовала своей «обожаемой» Анне Дмитриевне то положение, в которое она попала, — и тут же было окончательно решено устроить фиктивный брак, за что бралась хлопотать Анна Дмитриевна.

С этою надеждою на спасение Соня возвратилась в деревню домой и на этот раз заметно изменила свою тактику с родителями и свое поведение. Она стала вникать в хозяйство, стала аккуратно ходить в церковь, добровольно начала выходить к гостям и занимать их

и даже дозволяла мировому судье, намеченному жениху ее, ухаживать за собой. Словом, родители стали радоваться, глядя на дочь, и уповать, что она в конце концов пойдет по проторенным дорожкам. Соня стала помаленьку подготовлять родителей к появлению и другого жениха. Иногда она, якобы смешком, сама заводила речь о своем побеге и делала намеки, что, как знать, может быть, и у нее есть кто-нибудь, кто был мил ее сердцу.

У родителей начала вкрадываться мысль: уж не было ли точно у их дочери романа, побудившего ее бежать к совратителю? Иногда мать пыталась заставить Соню проговориться и в таких случаях из якобы шутливых намеков дочери делала вывод, что что-то есть в предполагаемом ею роде, и поэтому утверждалась в мысли поскорее сбыть дочку за все больше и больше влюблявшегося в Соню мирового судью.

Но мое появление в селе У. разбило все расчеты о. Василия и матушки-попадьи.

Это было в конце сентября или в начале октября 1872 года.

Глава седьмая

НА ВЫРУЧКУ

Из Петербурга я отправился в Нижний-Новгород, а из Нижнего-Новгорода на пароходе — в Казань.

В Казани я заехал к братьям Евгению и Михаилу Овчинниковым, студентам медику и математику казанского университета. Евгений Овчинников был провинциальным членом кружка чайковцев; через него велись

сношения с казанскими пропагандистами среди учащейся молодежи. От него я получил письмо к его сестре Инне Михайловне, жившей, как я уже упоминал, в г. Н., через который я должен был проезжать, пробираясь в село У. От нее, а также от секретаря земской управы Р. я мог получить указание насчет того, что в данное время творится в доме Сони Чемодановой, о которой они хотя и не часто, но все-таки получали довольно верные известия через Таню А. Пробыв в Казани не более двух дней, я уехал на почтовых в Н.

Приехав туда и разыскав Инну Михайловну, с которой тотчас же отправился к Р., я стал совещаться с ними насчет предстоящего мне похода для освобождения Сони.

На этом совещании мы пришли к заключению, что без предварительного сношения с Соней ничего из моего плана не выйдет.

Во-первых, Соня не знала ни имени моего, ни отчества, ни фамилии — и, нагрянув без предупреждения в дом о. Василия, я мог бы поставить и себя и Соню в безвыходное положение при разыгрывании ролей давно знакомых, близких уже и влюбленных суб'ектов; а очень умный и ловкий поп Василий, славившийся как законник и сутяга, сразу сообразил бы, что тут что-то неладно, и как бы вместо освобождения Сони не получилось в результате предание меня о. Василием в руки властей как проходимца.

Во-вторых, необходимо было дело повести так, чтобы согласие на брак со стороны родителей было вполне добровольное, а поэтому нужно, чтобы дело шло гладко и естественно. Как же быть? И Инна Михайловна и Р. категорически заявили мне, что у них сейчас нет возможности снестись с Соней, так как един-

ственный человек, через которого это можно было бы сделать — Таня Любимова—лишь несколько дней тому назад уехал из Н., и скоро ждать ее едва ли можно.

Я решил возвратиться в Казань и оттуда списаться с друзьями в Питере по вопросу: как быть?

Оставаться в Н. мне было нельзя: городишко маленький. всех жителей там знают наперечет все и каждый; жить без дела—значит обратить на себя внимание. вызвать о себе толки. которые могли достигнуть и села У., а для меня все это было невыгодно. Я вернулся в Казань.

Дорогою у меня явилась такая мысль: устроиться близ У. в сельской школе народным учителем и. пользуясь этим положением. по-провинциальному, запросто познакомиться с домом о. Василия, начать у него бывать и затем. шепнув Соне. что и как. приступить к жениханию. говоря по-хохлацки, а потом и к сватовству. Правда, такой план для своего выполнения требовал времени, а для Сони нужно было освобождение сейчас, — но пока ничего другого в голову не приходило.

На этот раз я прожил в Казани около двух недель. Отсюда я написал в Питер письмо о том, как обстоит дело с моей миссией, прося совета. как поступать дальше. при чем изложил им и свой вышеприведенный план.

В ожидании ответа от друзей я при помощи Евгения Овчинникова познакомился со студенчеством. был на пробной лекции проф. Песковского о теории холеры Петенкофера, несколько раз был на собрании кружка, который группировался около Овчинникова, написал реферат по политической экономии Милля [33] (о том, что считать производственным трудом) — словом, по своему пропагандистскому делу, что мог, делал.

В общем пьяное казанское студенчество произвело на меня неприятное впечатление. Часов в 9 утра мне с Овчинниковым, например, на пути в университет пришлось видеть такую сцену: кучка изрядно пьяных студентов шла посреди улицы и орала, что есть мочи. «Знамена победно шумят!» — при чем один из них геройски нес впереди кучки, подняв кверху, грязнейшую метлу.

В частной студенческой столовой, где приходилось обедать и мне, было обыкновенно много пьяных, и в пьяном виде задорных, лезущих на скандал студентов, переругивавшихся иногда тут же за столом площадными словами; тут приходилось опасаться, как бы совсем нехотя не нарваться на историю, окончание которой обыкновенно в полицейском участке.

Мои знакомые говорили, что таково большинство казанского студенчества — кутилы-мученики и забулдыги. Но был процент и очень хороших и дельных. Этот последний элемент студенчества имел между прочим довольно основательную библиотеку, с заведующим которой — студентом Ивановым, умным, нервным и идейным человеком — я познакомился.

В библиотеке был, кроме легальных книг, и нелегальный отдел различного рода литературных произведений; впрочем, пользовались этим отделом и знали о нем только лица, вполне верные и надежные.

Наконец я получил в один и тот же день два письма: из Питера от Чарушина, в котором он писал, что друзья находят необходимым, чтобы я ехал в село У. и пытался, хотя бы с риском потерять сражение, выручить Соню, и из Н., от Инны Михайловны, с извещением, что Таня Любимова совершенно неожиданно приехала в Н., пробудет в нем несколько дней и что таким

образом получилась полная возможность обстоятельно снестись с Соней.

Неожиданный приезд Тани в Н., конечно, окончательно решал возникшее затруднение по вопросу, как продолжать начатую кампанию. Это обстоятельство давало мне полную возможность приступить к немедленному осуществлению задуманного по такому стратегическому плану действия, который давал бы мне много шансов на победу.

Ответив в Питер, что выезжаю из Казани на место действия, я в тот же день выехал на почтовых в Н.

Приехал я в Н. во-время: Таня предполагала еще пробыть здесь два дня. С нею я и отправил обстоятельное письмо к Соне.

В этом письме я отрекомендовался ей, кто я, сообщил ей не только паспортные сведения — имя, отчество, фамилию, звание, лета и вероисповедание—но и более подробные биографические данные и предложил ей такой план действия: приеду я в среду (почему-то мне помнится именно этот день) и явлюсь в дом о. Василия в 6 часов вечера; отрекомендовавшись отцу, заявлю ему, что имею к нему очень важное дело. Соня же, как только услышит, что я появился в зале отца, и если только будут при этом посторонние свидетели, а не одни домашние, должна вбежать в комнату и с криком: «Сережа! Наконец-то ты приехал!» — кинуться ко мне на шею.

Мы, конечно, страстно облобызаемся и будем говорить друг другу «ты». Эта первая вступительная сцена, несомненно, огорошит отца и мамашу и отшибет у них сообразительность, а посторонние свидетели разнесут по всему селу весть о случившемся в доме попа. Словом, такой факт можно будет обелить только браком.

Если вслед за первой сценой отец вступит со мной в переговоры, то Соня должна внимательно слушать, что я буду сочинять о. Василию и матушке о нашей встрече в Вятке, о нашей страстной любви, о том, как я обещал жениться, как я узнал о ее побеге из дому и прочее.

Но если посторонних свидетелей не будет, то сцены страстного свидания не разыгрывать, так как без посторонних свидетелей она, пожалуй, может возыметь отрицательное действие на о. Василия, и он вместо всяких об'яснений турнет меня из дому в шею, а Соню опять заберет в ежовые рукавицы. При отсутствии посторонних свидетелей я просто поведу дипломатические переговоры с отцом после того, как мы покажем только, что мы близко знаем друг друга.

Таня тайком доставила письмо Соне. Соня тайком же прочла его и, тщательно запомнив то, что ей было там преподано, самое письмо изжевала. И с душевным трепетом стала ожидать бедная девушка вечера следующего дня, когда я должен был появиться в их доме и разрешить ей вопрос: «быть или не быть?»

Глава восьмая

СЦЕНА СТРАСТНОГО СВИДАНИЯ

Через день после от'езда Тани я тоже собрался в путь.

Заказав лошадей вольному ямщику, я прежде, чем уехать, пошел проститься с Р., и здесь, при разговоре с сестрой Р., доброй, скромной и симпатичной девушкой, оказалось, что при сборах жениха позабыли

снабдить его небольшой вещицей, тем не менее весьма важной — кольцом, которое должно фигурировать при обручении. В Н. купить уже нельзя было, так как меня уже ждали лошади, и итти в лавку было поздно, тем более, что я должен был прибыть в с. У. в такое время, чтобы в назначенные 6 часов вечера быть уже в доме о. Василия, как было условлено в письме к Соне. У брата Р. кольца не оказалось, у Инны Михайловны— тоже, и лишь оказалось у сестры Р., но такого размера, что едва приходилось на 4-й палец моей руки. Делать нечего, пришлось взять у нее хоть это колечко, с условием, конечно, возвратить его при обратном проезде через Н. с Соней, как мы тогда предполагали.

Наконец прибыл я и в село У. Это было числа 12 октября. Прибыл я часов около 4 пополудни и приказал везти себя на постоялый двор.

Село У. — довольно большое село, с большою красивою церковью, с тремя священниками и двумя дьяконами. Один из этих трех священников, о. Василий, был настоятелем этой церкви.

Отец Василий был человеком с характером боевым, далекий от елейного поповского настроения, развитый, образованный и недостаточно уживчивый. Со своими товарищами-попами он не жил в дружбе. Будучи большим законоведом, он помогал советами в сутяжничестве всем, кто только обращался к помощи его юридического таланта. Красивый, высокий, худощавый, несколько сутуловатый о. Василий в своем священническом облачении и бархатной темно-лиловой камилавке производил во время службы в храме внушительное впечатление. Большой любитель пения и музыки, он прекрасно играл на гуслях, играл самоучкой по слуху на фортепиано, и когда пел под аккомпанемент того

или другого инструмента, — а пел он умело, — то слушать его было приятно, хотя в то время, когда я его слыхал, у него уже не было ни молодой силы голоса, ни былой чистоты его.

Отец Василий был в авантаже у местного архиерея, был одним из «советных» попов его епархии, и дочь о. Василия, Соня, даже воспитывалась в епархиальном духовном училище Вятки за счет архиерея.

Ямщик завез меня на постоялый двор. Хозяин двора, маленький, веселый, худенький человечек, с жиденькой козлиной бороденкой, производивший впечатление немножко глуповатого, ввел меня в свою половину, в чистую крестьянскую избу с русской печью и полатями. Жена его, тоже маленькая, но пухлая и круглая как шар, на который был посажен другой, только много поменьше, шарик, с маленьким, напоминавшим пуговицу носом, с маленьким розовым отверстием для рта, с маленькими оттопыренными круглыми ушками, атаковала меня расспросами, как только был подан на стол самовар, и она с мужем уселась вместе со мной пить чай. Она шепелявила, по-детски произносила вместо «ш» «с», вместо «ч» «ц». Чувствовалось при этом, что эта маленькая шаровидная женщина — большой руки сплетница с романтическими наклонностями.

Лишь только она и ее муж узнали, что я дальше села У. не намерен ехать и что я приехал исключительно к о. Василию, как они оба в один голос воскликнули: «Знаем, знаем! Жених будете, жених!» Не подтверждая и не отрицая, я улыбнулся и подзадорил их любопытство: «Там видно будет — кто!»

Вслед за этим шаровидное существо женского рода, поддерживаемое мужем, стало мне полушопотом сооб-

щать, что в семье о. Василия не все благополучно: что старшая дочка-то убежала было из дому и что тут такая беда была, такая беда, что и не сказать! К их изумлению я заявил, что всю эту историю я знаю и знаю лучше даже других, зачем и куда она бежала.

— Ну, значит жених и есть! — взвизгивала в восторге хозяйка. — Поди, есцо к тебе и бежала-то!

— Все может быть! — дразнил я любопытство шаровидного существа и ее хозяина, все время чему-то лукаво-весело и глуповато улыбавшегося.

«Прекрасно, — подумал я про себя, — еще прежде чем совершится что-либо в доме о. Василия, как только я уйду туда с постоялого двора, этот шарик в образе хозяйки покатится по селу У. к своим кумушкам и раструбит по всему селу весть, что к о. Василию приехал жених, к которому его дочка убежала было из дому, и создаст такое обстоятельство, с которым о. Василию придется считаться и подумать, как утихомирить толки, которые вновь поднимутся вокруг его дома, как густой рой спугнутых мух».

Но приближался роковой час: скоро шесть часов. Я, уже одетый во все франтовское, попросил хозяина постоялого двора проводить меня в дом о. Василия. Не скажу, чтобы я шел туда со спокойной душой. Сердце било-таки преизрядную тревогу.

Наступал час, быть может, огромного скандала.

По всем рассказам об о. Василии, он шутить не любит и за скандал в его семье может отомстить беспощаднейшим образом.

Но жребий брошен, и Рубикон перейден.

Вот и дом о. Василия. Поднявшись по лесенке двухэтажного дома о. Василия, я, ведомый хозяином постоялого двора, вошел в переднюю. В дверях из перед-

ней в залу меня встретил о. Василий, изумленно-вопросительно глядевший на меня сквозь очки своими большими красивыми глазами.

— Вы о. Василий Чемоданов? — спросил я.

— Да, к вашим услугам!

— Позвольте вам рекомендоваться, — продолжал я, введенный о. Василием в залу. — Я — такой-то (имя, отчество, фамилия), потомственный дворянин, сын помещика Екатеринославской губернии, студент с.-петербургского технологического института.

— Очень рад, — проговорил о. Василий, протягивая мне руку. — Прошу садиться!

Он указал мне на стул возле стола, на котором горела лампа под белым абажуром, а сам сел у противоположного конца того же стола и стал продолжать прерванную моим приходом работу — набивку папиросных гильз табаком.

— Вот сейчас я угощу вас папироской, — продолжал он, — сейчас набью, ни одной готовой нет.

— Так пока позвольте мне угостить вас своей, — любезно раскрыв свой серебряный портсигар (тоже взятый у кого-то на подержание), протянул я его о. Василию. О. Василий взял из него папиросу, и мы стали перекидываться обычными фразами о дороге, о погоде и т. п.

Кстати заметить, что, как только я увидел на пороге передней о. Василия, почему-то малейший след тревожного состояния души моментально у меня исчез. Я почувствовал себя так, как если бы все, что предстояло мне совершить, было самым нормальным, самым естественным делом.

Как бы то ни было, в зале о. Василия я чувствовал себя абсолютно хладнокровным и говорил и шутил

с о. Василием с полчаса самым непринужденным образом. Отец Василий мне понравился.

Мы однако были не одни. При входе в залу я заметил в одном из углов, где в полусвете помещался маленький кожаный диванчик с недалеко от него стоящими гуслями, сидевшую на диване массивную фигуру в подряснике, приподнявшуюся и отвесившую мне поклон при моем входе, — это был причетник. Присутствие этой молчаливой фигуры было для нас с Соней обстоятельством благоприятным: как посторонний свидетель, он тут был весьма кстати.

В передней же, из которой я вошел в залу, несомненно толпились любопытные, и от времени до времени дверь приотворялась и чьи-то любопытные глаза смотрели в образовавшуюся щель, очевидно, на меня. В числе этих любопытных, как потом оказалось, был и приведший меня хозяин постоялого двора.

Когда разговор наш как-то смолк, я заявил, прерывая наступившее молчание, что мне необходимо с ним— о. Василием — поговорить об очень важном деле, которое именно и привело меня в его дом.

Отец Василий отклонил мое предложение, говоря «снаачала согрейтесь-де, да вот попьем-де чайку, а потом и о деле поговорим».

Из залы вела другая дверь в гостиную; там было совершенно темно.

Вдруг в гостиной послышался какой-то шопот и шорох, и на пороге ее появилось молодое существо поразительной красоты — стройная, довольно высокая, с чудными глазами, бледная девушка. Я стремительно поднялся со стула.

Еще момент — и чудная молодая красавица с криком «наконец-то ты, Сережа, приехал» кинулась

ко мне, обвила мою шею руками, и уста наши слились в такой страстный поцелуй, какой редко бывает на белом свете!..

Эффект был поразительный!..

Отец Василий отскочил в угол залы и остолбенел.

Поднявшийся с диванчика саженный гигант-причетник в изумлении и растерянности приготовился бежать.

В двери передней высунулось несколько, как громом пораженных, любопытствовавших фигур.

В темной гостиной раздался истерический плач, — то плакала мать-попадья, шедшая вслед за Соней в залу.

Глава девятая

ФИКТИВНЫЙ ЖЕНИХ

Соня, схватив меня под руку и крепко ко мне прижавшись, повела меня через темную гостиную в спальню матери, где последняя уже лежала в истерических слезах на кровати. Я с Соней подошел к ней. Взяв руку и целуя ее, я просил мать успокоиться, выслушать мои об'яснения.

Мать, глядя на меня вопросительно-испуганно, твердила только одно: «Да кто вы такой?! Кто вы такой?!»

Наконец, придя несколько в себя и видя, что Соня как уцепилась за мою руку и как прижалась ко мне, так и застыла, мать с раздражением в голосе раз'единила нас своими руками, произнося: «Да разойдитесь же!»

Соня таким образом была от меня оторвана.

Я оглянулся и, видя у двери стоявшего бледного и совершенно растерянного о. Василия, обратился к нему с выражением сожаления, что все это так неожиданно

случилось, хотя со стороны Сони все это было так естественно; конечно, лучше бы было ей сдержать себя, при посторонних людях в особенности, но сделанного не воротишь, и пр. и пр. Бедный о. Василий только болезненно-недоуменно от времени до времени произносил:

— Господи! Что же это такое? Ничего не пойму! Что такое?

— Я вот сейчас вам все об'ясню. Только бога ради успокойтесь. Вы увидите, что во всем этом ничего ужасного нет, — говорил я, уходя с о. Василием в залу.

В зале я стал излагать о. Василию небывалый роман между мной и Соней.

Случайно-де, после поездки на Урал, заехал я в Вятку и через своего московского знакомого, уроженца г. Вятки, некоего Максимовича, известного о. Василию, познакомился с Соней; после нескольких встреч мы влюбились друг в друга и поклялись друг другу в вечной любви.

Я обещал Соне жениться на ней и с этим решением я вернулся домой, чтобы испросить у отца, жившего в своем имении, разрешение на женитьбу; согласие от отца я получил, но с условием предварительно сделаться действительным студентом технологического института, а не вольнослушателем, каковым я был, для чего я должен был сначала выдержать окончательный экзамен в гимназии; вследствие вот этого последнего обстоятельства и задержалось на целый год исполнение обещания, данного мною Соне, явиться в дом о. Василия и просить ее руки.

Услыхав же, что Соня бежала из дому, и зная, что она бежала ко мне, я очень мучился, что не мог в назначенный срок выполнить свое обещание. Наконец

мытарства мои кончились, и я вот прошу о. Василия не отказать мне в руке его дочери.

Человек-де я обеспеченный; я — последний сын у отца, все братья мои на службе по разным ведомствам, а я пока учусь; но, женившись, могу бросить технологический институт и ехать в деревню к отцу и заняться там хозяйством, помогать отцу в управлении имением.

Приданого мне никакого не надо, так как мне нужна только Соня, без которой мне жизнь не в жизнь.

Я заметил при этом, что отец мой сейчас в Петербурге и ждет моего возвращения с женой. Мы в Петербурге вырешим с ним сообща вопрос, как мне быть — оставаться ли в технологическом институте и кончить курс или ехать в деревню и жить с отцом.

Чтобы будущее дочери о. Василия представлялось ему как можно менее мрачным, я сказал, что отец мой вдов, и таким образом устранялось такое неблагоприятное обстоятельство в будущем Сони, как свекровь в доме, в котором Соня явилась бы в положении единственной хозяйки.

Роман был сочинен довольно складно и правдоподобно; правда, все это сочинение не было экспромтом; об этом было думано и передумано и в пути, сидя в почтовой повозке, и в комнатке постоялого двора в гор. Н.

Отец Василий, выслушав очень внимательно мой рассказ, неожиданно огорошил меня.

— Хорошо, если все это правда! Я, знаете, ужасно боюсь, не фиктивный ли это брак затевается?

Нужно было огромное усилие воли, чтобы не выдать того смущения, которое поднялось при этом в душе моей, — и, к счастью, настолько воли у меня хватило:

я не только не выдал волною хлынувшего в душу смущения, но почти с неподдельным презрительным негодованием возразил:

— Вы меня, о. Василий, оскорбляете! Вы навязываете мне бог знает что!

Надо сказать, что о. Василий в одном из перехваченных им писем к Соне вычитал предположение о фиктивном браке. Письмо это он читал давно и ясно его не помнил, но возможность фиктивного брака не исчезла из его представления.

Показался ли о. Василию мой тон вполне искренним или вообще мой рассказ и я сам произвели на него такое впечатление, что он все более и более примирялся со мной, но уже в тот момент, когда матушка, поуспокоившись, вошла в залу, мы с о. Василием уже разговаривали обо мне, о моем отце и братьях, о Соне и прочем довольно миролюбиво и спокойно.

Матушка, — еще не старая, но уже многоrожавшая женщина, худощавая, маленькая, со следами былой миловидности, — приведшая себя немного в порядок после слез и неожиданного огорчения, вошла в залу и, усевшись на стул, учинила мне от себя довольно обстоятельный допрос, кто я, откуда я, зачем я у них, как случилось, что я стал так близок Соне. Конечно, в этот промежуток времени она успела уже допросить дочку обо мне и уже была ознакомлена со мной со слов Сони, но я повторил ей все только-что рассказанное мною о. Василию.

Соня в это время сидела в темной гостиной и внимательно слушала сочиненный мною роман.

Так как сцена, разыгранная нами,—сцена страстного свидания двух влюбленных существ после долговременной разлуки, — создала бессознательно для о. Васи-

лия и матушки неодолимое желание выйти чисто и благородно из положения, созданного этой сценой, о которой в тот момент уже было раструблено по всему большому селу У. и хозяином постоялого двора, и гигантом-причетником, и прислугой о. Василия, то мой рассказ с заключительным предложением жениться тотчас же на Соне невольно подкупал их в мою пользу и настраивал на мирный лад. Кроме того, я ясно заметил, что сам я произвел на о. Василия и в особенности на матушку весьма благоприятное впечатление.

Отец Василий и матушка удалились, чтобы посоветоваться tête à tête, как им быть, а я остался на некоторое время в зале один.

Вошла Соня, бледная, но уже улыбающаяся. Мы сели с нею у окна и шопотом стали разговаривать и знакомиться ближе друг с другом. Так как Соня была очень близорука и обладала глазами, которые, по шутливому замечанию писателя Флеровского (Берви) [34], «были созданы только для других», то ей было необходимо поближе рассмотреть мое, тогда безбородое, с едва пробивавшимися усиками лицо, по которому мне никак нельзя было дать более 18 лет, хотя на самом деле мне было уже около 21 года. Соне же было 16½ лет. Она шептала мне.

— Все идет хорошо! Кажется, дело выгорит!

Мы условились при людях говорить друг другу «ты» и вообще проделывать аллюры влюбленных...

Нечего греха таить, а я в первый же вечер не мог налюбоваться Соней.

Я никак не ожидал встретить такую красавицу в лице моей фиктивной невесты.

Карточка, которую мне дали, никакого представления не давала о девушке, какую я в действительности

встретил. Вот как, печальной известности, Лев Тихомиров [35], бывший когда-то моим дорогим другом, описывает Соню в своих воспоминаниях, изданных за границей еще в 80-х годах: «Сказать, что она была красавицей, было бы недостаточно. Она была редкой красоты, достойной благородной расы севера, сумевшей так хорошо сохранить древне-славянский тип... Черты интеллигентного лица поразительной правильности были полны той спокойной смелости, которая характеризует женщин необычайной красоты, — глаза же поражали выражением детской невинности».

Всякий должен согласиться, что играть в продолжение месяца роль влюбленного жениха, при случае ласкать и целовать такую молоденькую красавицу такому молодому парню, каким был я, было небезопасно.

И увы! Коварный демон все больше и больше овладевал сердцем бедного фиктивного жениха.

Глава десятая

ПРЕДСВАДЕБНАЯ КАНИТЕЛЬ

Наконец, после своего совещания, вошли вновь в залу о. Василий и матушка, заставшие нас с Соней якобы нежно воркующими. Я, заслышав их шаги, взял руку Сони и стал целовать ее пальчики, что родители несомненно заметили.

О. Василий и матушка сказали мне, что решить вопрос о браке они сейчас не могут, что завтра они пошлют за ближайшим своим родственником, священником о. Михаилом, женатым на родной сестре матушки, и посоветуются с ним.

Было уже поздно, и матушка с Соней ушли на покой, при чем матушка не дозволила нам с Соней поцеловаться на прощание.

Мы же с о. Василием, который, очевидно, порешил учинить мне основательный допрос, остались и, расхаживая взад-вперед по зале, проговорили до третьего часу ночи. С 5 часов вечера я ничего не ел, так как в доме о. Василия было в этот вечер не до еды, и от пережитого волнения я сильно устал. Устал, конечно, и о. Василий, который решил наконец, что пора кончить допрос мой.

Произведенный им экзамен я, очевидно, в его глазах выдержал блистательно; он, отпуская меня с провожатым на постоялый двор и пожимая мне на прощание руку, заявил:

— А завтра с утра перебирайтесь ко мне!

Когда я пришел на постоялый двор, хозяин с шаровидной хозяйкой, проснувшись, имели большое намерение осадить меня вопросами, но я, усталый, довольно недружелюбно уклонился от разговора с ними, заявив, что я сейчас хочу спать, а завтра с утра перехожу к о. Василию.

Это последнее сообщение дало повод розовому шарику женского пола нарисовать вслух чрезвычайно трогательную картинку, как я и Соня будем стоять под венцом, «как два ангелоцка».

Я заснул крепко и проснулся к 9 часам утра. Меня уже ожидал посланный от о. Василия работник, чтобы перенести мои вещи.

По прибытии в дом о. Василия я тотчас же предложил ему ознакомиться с моими документами — с копией с протокола о дворянстве, с метрическим свидетельством и со свидетельством, выданным из техноло-

гического института для проживания. О. Василий не отказался от этого удовольствия и основательно их осмотрел.

На третий или на четвертый день моего пребывания в доме о. Василия приехал о. Михаил с молодой, цветущей и миловидной попадьей Елизаветой.

Эти дни я больше всего пребывал в компании о. Василия и иногда матушки.

С Соней оставаться приходилось раза два, урывками; родители, особенно матушка, не допускали нас до поры до времени сходиться друг с дружкой и оставаться вдвоем. Впрочем, я уже ясно видел, что и о. Василий и матушка начинают в меня влюбляться и что я им очень прихожусь по душе.

Четыре младшие сестренки, познакомившись, стали обращаться со мной, как с давно знакомым; маленький братишка Сони, недавно только начавший ходить, охотно шел ко мне на руки и забавлялся со мной, к удовольствию матушки.

Отец Михаил, среднего роста, довольно тучный и геркулесовской силы поп, и его миловидная жена Лиза познакомились со мной и вынесли из этого знакомства самое для меня благоприятное впечатление. Я чувствовал, что вокруг меня в доме о. Василия создалась сочувственная мне атмосфера.

На третий день по приезде о. Михаила после довольно продолжительного шушуканья в кабинете о. Василия между двумя попами и двумя попадьями меня и Соню поставили в гостиной на коврике перед образами, и в присутствии всех домашних отец Михаил прочел предбрачную молитву, и нам с Соней разрешено было поцеловаться уже на законном основании.

Началась предсвадебная канитель.

Самое неприятное обстоятельство в этой предсвадебной канители было то, что о. Василий с матушкой нашли необходимым ехать со мной и с Соней в Вятку, где обучалась в епархиальном училище Соня и где в то время училась ее сестра Люба, а в гимназии — братишка второклассник. Отец Василий и матушка хотели во что бы то ни стало сводить меня с Соней к архиерею, воспитанницей которого была Соня, и испросить у него благословение на наш брак, и кроме того, они поставили непременным условием, чтобы я по телеграфу по крайней мере вытребовал благословения на брак моего отца.

Поездка в Вятку была для меня в высшей степени неприятным обстоятельством. Дело в том, что в этом городе был когда-то в числе ссыльных мой брат, о чем я, конечно, умолчал перед о. Василием. Здесь брат женился на одной из дочерей тамошнего исправника, с которым о. Василий был знаком и мог, встретившись с ним, разговориться о готовящейся свадьбе своей дочери, которую выдает за Синегуба, и тут выползло бы многое, о чем я тщательно утаил от о. Василия при сообщении ему сведений о нашей семье.

В этом городе могли оказаться у о. Василия и другие знакомые, которые знали брата. Кроме того, здесь могло обнаружиться полное мое незнакомство с городом, в который я, по моим рассказам, специально заезжал, когда познакомился с Соней, чтобы ознакомиться с одним из старейших городов России.

Правда, в Вятке, если бы сорвалось мое дело, я имел много шансов скрыться и бежать, так как здесь были ссыльные, знавшие обо мне (как, например, Трощанский [36], по нечаевскому делу), и которые, несомненно, оказали бы мне помощь.

Во всяком случае эта поездка грозила расстроить мое предприятие.

Но делать нечего, надо было ехать, с единственным упованием, что «авось» как-нибудь вывезет.

Было еще и другое неприятное обстоятельство, это — требование благословения на брак от моего отца.

Я сказал о. Василию и матушке, что мой отец в Петербурге и ждет там меня с молодой женой; стало быть, испросить у него благословения по телеграфу ничего не стоит. Я, конечно, без колебания согласился послать отцу в Петербург телеграмму с просьбой благословения на брак, как только мы приедем в Вятку.

Но ведь на самом деле отца моего в Петербурге не было, — он жил в своем имении на юге, ни сном, ни духом не ведая, что творит его сын где-то в одной из отдаленных губерний России.

Пришлось мне и тут рассчитывать на «авось».

Я решил послать в Питер телеграмму на имя отца, но на адрес брата.

К сожалению, мысль о благословении моего отца на брак в Питере никому из нас, участвовавших в устройстве фиктивного брака. не пришла в голову, и я уехал оттуда, не думая о нем, и с братом не сговорился. Но я рассчитывал. что, если брат получит телеграмму на свой адрес, но на имя отца. он сразу смекнет. что тут что-то есть. и получит ее за отца; а прочитав ее, он уж. конечно. тотчас же пошлет мне телеграмму с благословением за подписью отца.

Как я ни раскидывал умом. а отказаться от поездки в Вятку и от посылки телеграммы отцу с просьбой о благословении на брак не находил никакого резона, вполне убедительного и удобоприемлемого о. Васи-

лием и матушкой, которым крайне хотелось при этом, чтобы брак совершился по благословению архиерея.

Мы с Соней наедине потужили о том, что так было наладившееся наше дело приходилось подвергать такому риску, с массою шансов провалить его вконец.

Но порешили — либо пан, либо пропал! Будь что будет!

Итак, отправились мы на долгих в Вятку: о. Василий, матушка, я и Соня; о. Василий со мной в кибитке, матушка с Соней в возке.

Отец Василий дорогой становился все больше и больше со мной на родственную ногу, иногда даже переходил на «ты», посвящая меня во все свои семейные тайны, рассказывал мне о своей борьбе с другими попами в У., которые интриговали против него, о своих судейских делах и пр.

Матушка с нежностью и материнской лаской заботилась о том, чтобы мне было тепло и удобно в дороге, а на остановках—чтобы я не морил себя голодом, а побольше ел и пил.

Сердце ее, очевидно, приняло меня и облюбовало, да и я чувствовал к ней искреннее расположение и иногда мне было больно сознавать, что на самом деле я был для нее совсем чужой человек и по существу — беспощаднейший враг им обоим.

Приехали мы в Вятку и остановились на постоялом дворе, на котором обыкновенно останавливался о. Василий с семьей, когда приезжал в город.

Так как мы приехали утром, то в тот же день я отправился на телеграфную станцию и послал телеграмму в Питер на имя отца на адрес брата: «Шлите ваше благословение, за ним остановка, до востребования». Отец же Василий отправился к архиерею.

К вечернему чаю мы все — о. Василий, матушка, Соня и я — отправились по заказу архиерея к нему. Архиерей пожелал лично познакомиться с женихом. Пошли.

В своих апартаментах, не поражавших, впрочем, особенной роскошью обстановки, встретил нас пожилой, краснощекий, значительно ожиревший, небольшого роста архипастырь, пухлую руку которого пришлось всем нам благоговейно облобызать, подходя под его благословение.

Он усадил меня и Соню за стол на диван.

На этом столе, возле которого на стульях уселись также архиерей и о. Василий с матушкой, очень скоро очутился поднос со стаканами и чашками чаю с вареньем и печеньем.

Добродушно и весело говорил все время благодушный пухлый архиерей, очевидно, большой охотник говорить и неохотник слушать. Между прочим он свел разговор на святость и нерасторжимость брака, при чем приплел и роман Искандера [37] «Кто виноват».

— А? Кто виноват? — спрашивает! И думает, что мы не раскусим, кто виноват, по его мнению! Выходит, видите ли, что законный неразрывный брак виноват!! Ха! ха! ха! Каково?! Ха! ха! ха!.. Думает, не поймем! Ха! ха! ха!.. —и краснощекий пухлый архиерей заливался искреннейшим смехом при мысли, что хитрость Искандера не ускользнула от его проницательности.

Глядя на потешно колыхавшегося от смеха пухлого архиерея, смеявшегося притом очень заразительно, я тоже смеялся совершенно чистосердечно.

Во время разговора я позволил себе почтительно вставить несколько замечаний благонамеренного свойства о святости брака и установлений церкви православ-

ной, которые пришлись по душе архипастырю. И, как потом говорил мне о. Василий, я очень понравился архиерею, как симпатичный и рассудительный молодой человек.

Когда мы вернулись от архиерея на постоялый двор, о. Василий заявил мне, что архиерей приказал явиться к нему вновь, когда будет получена телеграмма от моего отца с благословением, и тогда он нас благословит на брак.

На другой день я несколько раз заходил на телеграф справляться об ответе, но ответа все не было. Я начинал беспокоиться. Неполучение ответа могло означать, что брат не получил моей телеграммы; ее в отсутствие брата домашние могли отказаться принять, как адресованную не брату, а отцу.

Неполучение телеграммы от отца расстраивало и о. Василия, и матушку, и Соню. Кстати сказать, на постоялом дворе с нами была в это время и сестра Люба, отпущенная из интерната епархиального училища. Приходил сюда с первого же дня и двоюродный брат Сони, гимназист 5 класса Петя Неволин; также был здесь и братишка Сони, гимназистик, еще не так давно бывший шпионом при Соне.

Как Люба, так и Петя, как потом я узнал от Сони, были посвящены в тайну того, что мы совершали тогда с Соней, и были в душе ее союзниками. Впрочем, через Петю, в случае надобности, я мог и скрыться к ссыльным, с которыми он имел связи.

Прошло трое суток, а телеграммы нет и нет! Наконец на 4-й день, часам к 10 утра я зашел на телеграфную станцию с намерением, если ответа не будет, послать новую телеграмму; на этот раз оказалось, что мне есть телеграмма из Питера.

С величайшим волнением вскрывал я ее: что-то в ней? И... читаю:

«Шлю тебе свое благословение, твой отец Сила Синегуб».

От радости я готов был прыгнуть до потолка. Как я рассчитывал, так и случилось. Брат, увидев, что телеграмма, хотя и на имя отца, тотчас же смекнул, что она относится именно к нему и что тут что-то есть, получил ее как Сила Синегуб и по прочтении ее немедленно повидался с Анной Дмитриевной и Чарушиным и махнул мне ответ за подписью отца.

В совершенно искреннем восторге явился я на постоялый двор и, об'явив всем заинтересованным о полученном благословении отца на брак, вызвал всеобщее ликование. Матушка в первый раз обняла меня и поцеловала, как мать, ласково говоря: «Ну вот, теперь вы наш!» и приказала Любе и Коле, после того, как мы с о. Василием обнялись и облобызались, поцеловаться со мной, как с родным. Соне целоваться со мной с этого дня не только не возбранялось, а даже не одобрялось, если она, по мнению матушки, не проявляла ко мне достаточной нежности.

К 4 часам мы вчетвером отправились к архиерею. Узнав о получении от отца моего благословения (ему была о. Василием пред'явлена полученная утром телеграмма), он от души нас поздравил и повел в свою домовую церковь, где, поставив нас на колени перед алтарем, благословил иконой святой Софии, впрочем, одну только Соню, как свою воспитанницу; мне же, после того как мы поднялись, дал свое обычное архипастырское благословение.

Надо заметить, что при крещении моя невеста была названа Ларисой, но архиерею почему-то вздумалось

переименовать ее в Софию, так что в некоторых документах она значилась Ларисой, как в метрическом свидетельстве, в других — Софией, как в свидетельстве об окончании епархиального училища, и наконец в моем документе, куда ее вписали после венчания, она уже названа София-Лариса.

При уходе от архиерея он, прощаясь, подарил от себя Соне в приданое десять червонцев (чрезвычайная редкость в то время) и наказал мне звать ее Софиею, «ибо,—пояснил он,—София означает мудрость». Впрочем, по прибытии от архиерея я стал звать невесту Ларисой, заявив ее родителям, что это имя нравится мне больше, и уж как она крещена, так пусть и называется, с чем охотно согласился и о. Василий.

Мать занялась теперь заказыванием подвенечного платья и разных нарядов и тряпок в приданое городским мастерицам.

Эта вся совсем не нужная для нас с Соней дребедень требовала не менее недели времени.

Матушка, исполнив заказы, порешила, что она с Соней уедет в У. обратно и там они займутся приготовлениями к свадьбе—каким-то шитьем, мытьем да печениями.

До свадьбы же времени оставалось немного, так как венчание с разрешения архиерея (не помню уж, почему именно понадобилось тогда специальное его разрешение) назначно было на 12 ноября (кажется, после наступал Филипповский пост, а 12 приходилось в пятницу, в день, в который венчать нельзя без архипастырского разрешения).

Мы же с о. Василием должны были оставаться в Вятке, подождать изготовления заказанного и затем забрать его и уехать в У.

Отец Василий беспрекословно и с удовольствием согласился на это решение. Он любил бывать в городе без матушки, он без нее навещал па свободе своих знакомых и покучивал с ними, так как выпить в компании, попеть и повеселиться был не прочь. Ему теперь улыбалась такая перспектива после довольно долгого лишения такого удовольствия. Матушка вела дом строго, аккуратно и не находила приличным для священного сана даже безобидные выпивки в компании со знакомыми, которые только и позволял себе о. Василий, будучи в личном поведении вполне добропорядочным человеком.

Так как я был юношей скромным, чистеньким барчонком, ничего не пил, был деликатен и рассудителен (таким я был в представлении матушки, по крайней мере), то матушка охотно оставляла о. Василия на мое попечение в ее отсутствие, глядя на меня, как на лицо, которого постесняется о. Василий и не очень позволит себе покучивать, главным образом бражничать, чего она не хотела, так как лишние возлияния расстраивали здоровье о. Василия. Но если такая комбинация была в расчетах матушки, то нам с Ларой она совсем не нравилась. Для нас, напротив, чем скорее выбраться из города, тем было лучше.

За неделю или полторы пребывания в Вятке могло обнаружиться обо мне, при хождении о. Василия по знакомым, много такого, что могло все наладившееся дело перевернуть вверх дном. И надо было во что бы то ни стало всем уезжать из города как можно скорее.

Смекнув, что перед нашей свадьбой, на которую все-таки требовалось не мало расходов, матушка ни за что не оставит о. Василия одного в городе, где он не удержался бы и растранжирил бы не мало денег в те

моменты, когда муха залетала бы ему за галстук, мы с Ларисой, пошептавшись, решил пристать к «маме», как и я начал называть теперь матушку, с просьбой не разлучать нас на целых две недели, так как мы и так уже наскучались друг за дружкой достаточно.

Мать на нашу просьбу охотно склонилась, видя нашу голубиную нежность друг к дружке, которую мы нарочно весьма повысили в эти дни. Новая беда в том, как же быть с заказами? Кто же их получит и доставит в У.? Дипломатично не настаивая, о. Василий все-таки подавал голос за то, что в случае крайности — что ж? — придется ему одному остаться в городе ради заказов, что совсем не нравилось матушке.

Выручил нас из затруднения неожиданно подвернувшийся поп Николай, приехавший в город к архиерею и зашедший поэтому на постоялый двор к о. Василию за советом. Как-раз недели через 1½ он собирался обратно в свое село, а путь туда лежал через с. У. Отец Николай охотно взялся получить заказы и доставить их в У. Отец Василий чмыхал носом, а мы с Ларой ликовали. Матушка согласилась на то, чтобы отец Николай увез заказы, но закуски и вина порешили увезти с собой, и из-за них мы просидели в городе лишние сутки.

Вспоминается мне одно маленькое обстоятельство, когда я было «проврался». Пришел как-то этот самый поп Николай и, разговаривая со мной, интересовался по-провинциальному узнать все от меня лично: бывал ли я в Вятке и сколько раз, как познакомился с Ларой и пр. Я ему рассказывал приблизительно то же, что и о. Василию.

Пришел в это время еще знакомый о. Василия, один из мировых судей Вятки, необыкновенно уродливой

наружности человек, с огромным, в виде какого-то кулака носом, с какими-то буграми на физиономии, но скромный и очень застенчивый человек. О. Василий зачем-то вышел, а я остался с двумя этими гостями. И вот мировой судья пожелал вступить со мной в разговор и обратился ко мне с вопросом — бывал ли я раньше в Вятке?

И я — о ужас! — совсем в эту минуту забывшись, ляпнул: «Нет! Я в первый раз здесь!»

Спохватившись, я невольно взглянул в сторону попа Николая, но, к счастью, он не слыхал моего ответа, погрузившись в рассматривание какой-то книги, а затем я постарался свести разговор на другую тему. И вскоре после того, как в комнату вошел о. Василий, мировой судья ушел...

Нет, положительно надо было скорее удирать из Вятки!

Глава одиннадцатая

ПОСЛЕДНИЙ АКТ ЗАТЕЯННОЙ ИГРЫ

Наконец-то мы двинулись в путь обратно в с. У. Я пытался ускорить свадьбу, мотивируя тем, что задерживать отца в Петербурге долго нельзя и что мне необходимо застать его еще там в ноябре. Но, несмотря на мои настояния, свадьба по всем хозяйственным соображениям матушки не могла состояться раньше, как через две недели, т. е. 12 ноября. Пришлось с этим волей-неволей примириться.

По приезде в с. У. я облекся в данный мне о. Василием подрясник и по целым дням скучал.

Женщины занялись усердно шитьем белья невесте и всякого другого, по мнению их, весьма необходимого для невесты барахла, при чем к досаде матушки я предложил привезенную с собой роскошную подвенечную фату и прекрасные искусственные цветы для венка, так что купленные в Вятке матушкой без моего ведома фата и цветы оказались напрасно купленными да и по сравнению с моими никуда не годными, а деньги, на них потраченные — выброшенными.

Тут же я преподнес невесте золотые часы с цепочкой, взятые у Рязанцевой на подержание. Часики и цепочка были очень хорошенькие и ценные и привели в восхищение окружающую женскую публику.

Как фата с цветами, так и мой подарок весьма подняли мой престиж жениха-барича в глазах всех родичей и домочадцев.

Всем родичам—всем попадьям с попами, жившим в других селах и уездах Вятской губ.—были разосланы специальные приглашения на свадьбу. Стали с'езжаться попы с женами и детьми.

Отец Василий в качестве регента начал подготовлять двух дьяконов к пению венчальных песен в церкви: старый дьякон — бас (отец Тани) и молодой дьякон — второй тенор. Сам о. Василий пел первого тенора. Иногда заходил и присоединялся к хору гигант псаломщик. В продолжение, по крайней мере, недели в зале дома о. Василия каждый день с утра раздавалось пение: «Исаие ликуй», «Гряди, гряди от Ливана невесто», «Положил еси на главах их венцы» и т. п. Пение перемежалось выпивкой и закуской певцов и приехавших попов, не принимавших участия в пении.

В гостиной и других апартаментах шло шитье, в котором принимали участие и приехавшие попадьи.

из которых только жена отца Михаила отличалась миловидностью и большим умственным развитием.

С утра я не знал, куда мне деваться. Читать было нечего, да и читать было невозможно. Я то сидел в зале и слушал пение, в котором дьякон-бас врал неистово, к досаде о. Василия, то уходил в гостиную к сидевшим за шитьем женщинам, присаживался там к невесте, а иногда от скуки начинал дурить и надоедать ей шутками, мешая работать ей и Тане, к их серьезной досаде.

Кстати сказать, невеста моя стала не выдерживать своей роли и, вместо того, чтобы стремиться «влюбленною душою» быть возможно чаще с возлюбленным, напротив того, больше проводила теперь время с Таней, помогавшей в качестве подруги в изготовлении приданного тряпья.

По целым часам она оставляла без всякого внимания своего жениха, не знавшего решительно, как довести день до вечера. Это начала замечать и матушка. Она не раз говорила Ларисе: «Да поди ж ты к жениху-то! Ты с утра с ним сегодня и слова, кажись, еще не сказала!»

Я счел это неудобным, и мы условились с Ларой, что в те часы, когда в доме маленько стихала сутолока и публика расходилась по отведенным ей углам на покой, что обыкновенно бывало к 10 вечера, мы будем сходиться в зале и проводить часок вместе. Здесь, в зале, освещенной через открытую дверь только светом лампы из гостиной, мы ходили с нею взад и вперед и полушопотом разговаривали то о Питере и делах и людях, то о Шпильгагенских героях[38], то иногда я рассказывал сказку из Кота Мурлыки. Если я при этом замечал, что в освещенной гостиной появлялась фигура

матери или отца, я начинал довольно громко целовать свою собственную руку, что достигало своей цели и об'ясняло матушке несколько холодное обращение Лары со мной при людях.

Подслушав эти поцелуи, матушка однажды смеясь заметила при всех живших в доме женщинах по адресу Ларисы: «Небось, сейчас вон какая скромница сидит, а как останется с женихом в темной зале, так то и знай целуются!»

Приготовления были все закончены. Подошел и долгожданный день. Часов в 5 вечера 12 ноября сельский красивый храм был торжественно освещен. Все село У. и многие из ближних деревень стеклись в храм. Я оделся во фрак (в первый и последний раз в жизни), в крахмальную сорочку, в белый галстук и пр. и пр. (шапо-кляк, захваченный мною в числе принадлежностей жениховского гардероба, оставался, впрочем, в моем чемодане, и я ездил венчаться в барашковой шапке).

Посадили меня в экипаж с о. Михаилом, и мы выехали первые со двора.

Где-то в отдаленном соседнем селе начался пожар. В ранних зимних сумерках большое зарево охватило полнеба. Выскочив из ворот, лошади в нашем экипаже почему-то шарахнулись в сторону и затрусили. Но кучер довольно скоро с ними сладил, и мы подкатили к ступенькам паперти храма.

Я вошел с о. Михаилом в храм.

Толпа, бывшая в храме, расступилась... Масса любопытных глаз устремилась на меня... Слышался шопот: «какой молоденький!»...

Я чувствовал себя конфузно и употреблял большие усилия, чтобы подавлять смущение и держать себя более или менее развязно.

Совершался последний акт затеянной игры.

Нетерпение овладевало мной, и мне казалось, что невеста страшно долго не едет.

В доме происходил обряд облачения и благословения невесты, во время которого присутствовал и шафер невесты, тот самый влюбленный в нее мировой судья, за которого ее прочили родители, — и, смотря на необыкновенную красавицу в подвенечной фате, бледную и взволнованную и оттого еще более прекрасную, он молча плакал...

Вот прибыла в храм и невеста с шафером и подружками... Я пошел к ней навстречу... Лариса была так бледна, рука ее была холодна, как лед, что у меня мелькнула мысль об обмороке. Не глядя на меня и на людей, она пошла за мной к указанному нам месту.

Наш хор — о. Василий, дьякон-бас, дьякон-тенор и гигант-псаломщик — грянул: «Гряди, гряди от Ливана невесто!» Когда священник, родной брат о. Василия, совершил обряд обручения и обменял наши кольца (с моей стороны фигурировало кольцо, взятое в гор. Н. у сестры Р.), в толпе раздался возглас: «Ну, теперь, значит, шабаш!»

Во все время венчания я чувствовал себя скверно. Мне было жарко от смущения. Я неимоверно потел. Венец, надетый мне на голову, был велик и то-и-дело слезал мне на глаза. Кто-то, кажется, отец Михаил, спасибо ему, догадался подсунуть мне под венец свой носовой платок, чтобы венец не ерзал. Насилу я дождался конца этой муки и уже с Ларисой и отцом Михаилом вернулись домой.

Гости ели и пили, пили и ели. Пели нам многократно многолетие все присутствующие за столом, при чем дьякон более всех путал и врал, но зато гремел во всю

глотку. Бесчисленное множество раз нас заставляли целоваться при криках «горько!»

Кончился ужин, кое-какие гости раз'ехались, другие разошлись по отведенным им в доме о. Василия углам, а нас, мужа и жену, родители препроводили в спальню.

Мы заперли дверь и остались в маленькой спаленке tête à tête.

Было нам обоим нестерпимо конфузно... Но делать нечего, надо было доводить комедию до конца.

Я предложил Ларисе, чтобы она ложилась на единственную двухспальную стоявшую тут кровать, снабженную роскошной периной и широким одеялом; а я, придвинув к двери, отворявшейся внутрь спаленки, стоявший тут сундук с вещами Ларисы, улегся на нем.

Погасив огонь, Лариса сняла с себя венчальные одежды и утонула в перине; а я, свернувшись в калачик на сундуке, провел ночь вполне по-походному.

На утро, когда Лариса, под одеялом накинув на себя одежду, вышла из спаленки, я увидел, что на перине выдавлен след только одной фигуры.

Чтобы это не показалось подозрительным для того, кто будет убирать эту постель, я, притворив дверь, улегся на перину, чтобы выдавить след и другой фигуры.

Конечно, в это утро нужно было ожидать от родственников всяких двусмысленных намеков и шуток... Но тут уж надо было претерпеть.

Так мы провели целых три ночи...

По моему настоянию, после того, как мы по желанию родителей об'ездили с визитами всех тузов села N и даже ездили к одному из враждовавших с о. Василием попов (неизвестно, для чего), и после того, как вся

родня разъехалась к своим пенатам, в ночь с 15 на 16 ноября, мы с Ларой сели в возок и покинули село У.

Проводы со стороны родителей Ларисы были самые сердечные, и матушка, плача, крестила дочь и меня, благословляла и целовала нас. Когда я прощался с нею, мне было глубоко ее жаль, и я горячо целовал ее руки, с лаской и любовью меня крестившие.

Вот мы и за селом... Шел снежок, выравнивая нам дорогу.

— Ну, поздравляю вас со свободой! — обратился я к Ларисе, протягивая ей руку. Она молчала и крепко ответила на мое рукопожатие.

— Что же вы, довольны мной? — спросил я ее с усмешкой.

— Да, да! Глубоко благодарна! — горячо сказала она в ответ.

Путь наш лежал через г. Яр., где жил священник, женатый на одной из теток Ларисы и бывший у нас на свадьбе; мы обещали к ним заехать на несколько часов, пока подадут почтовых лошадей, что и исполнили. Погостив тут до вечера, мы ночью двинулись дальше.

Помню, что где-то мы с большой опаской переезжали по льду реку Вытегру. Доехали до Нижнего и здесь на лодке переехали Волгу, по которой уже начался ледоход. Кольцо, взятое в гор. Н., так как через него нам не пришлось ехать, Лариса отдала Тане, которая и передала потом сестре Р.

В конце ноября 1872 г. я привез свою фиктивную жену в ту женскую коммуну, которая жила в Басковом переулке, и «сдал» ее на руки Анне Дмитриевне Надо сказать правду, что некоторое время как в своем кружке, так и среди знакомой и незнакомой мне публики, я был героем дня. О моем фиктиве рассказы-

вали, и с моим именем стал соединяться известный геройский престиж.

В это время у меня были две важных заботы, — одна личного, а другая общественного характера.

Моя фиктивная жена совершила весьма основательную брешь в моем сердце. Но показать это ей было бы преступлением. Как-нибудь я должен был залатать эту брешь во что бы то ни стало. В этом могла помочь мне моя общественная забота. Надо в нее погрузиться, и никакие глупости не будут иметь места!

Не медля ни дня, я явился в артель Шабунина и Абакумова, побывал и у Крылова и обещал им, что через несколько дней у желающих рабочих будут учителя и учительницы.

Я убедил женскую коммуну переехать на Выборгскую сторону в д. Байкова и каждой из живших там женщин, а также и некоторым из товарищей, переехавших туда же, я предложил учеников, по 3 — 5 человек, так как учиться пожелало очень много рабочих.

Дом Байкова был большой дом, разделенный парадными сенями на две половины. В одной половине, состоявшей из двух больших комнат с передней, поселились Стаховский, Жуков, Шамарин, Красовский и Леонид Попов; в другой, состоявшей из 4 комнат (три поменьше и одна — большое зало), поместились женщины: Кувшинская, Кочурова, Рязанцева, Охрименко, Купреянова и Лариса. Из коммуны сюда не переехала только Палицына.

С конца ноября и по февраль я руководил этим знакомством с рабочими. Тут шли занятия школьного характера: обучение чтению, письму, счету, сообщались знания по географии, физике и истории; в большом зале устраивались и лекции. Так, здесь читал князь Кро-

поткин [39] перед собравшимися рабочими об Интернационале, Александра Корнилова [40] — о немецких и австрийских рабочих ферейнах, с которыми они основательно познакомились во время своего пребывания за границей, Клеменц [41] читал из русской истории о народных движениях.

Довольно часто после школьных занятий со своими отдельными учительницами и учителями ученики-рабочие, по большей части взрослые парни, сходились в этот большой зал, где, угощаясь чайком, вели разговоры и споры или слушали чтение какой-нибудь интересной книги. Если я в это время не пребывал в какой-либо артели или не был занят по конспираторскому делу у себя на квартире (я жил отдельно в одном доме с Чарушиным, но в разных комнатах, тоже на Выборгской стороне), то обыкновенно вслух читал я.

В феврале я уехал в Тверь и попал в народные учителя в село Губин-Угол, Тверской губ., Корчевского уезда, близ знаменитого сапожного села Кимры.

Глава двенадцатая

ПРОПАГАНДА В ДЕРЕВНЕ

При содействии Василия Ивановича Покровского [42] (сотрудника «Отечественных Записок» [43]), с которым я познакомился в доме доктора Павлова в Твери, я попал учителем в село Губин-Угол. Дело было так.

Губин-Угол это не особенно большое село, где все жители заняты «сапогом»; они шили обувь, которую еженедельно доставляли в с. Кимры, обыкновенно по воскресеньям. Кимры отстояли от Губина-Угла не

больше, как на 10 верст, и туда я иногда ходил пешком. Здесь губинцы продавали свои сапожные изделия главным образом скупщикам.

Среди этих скупщиков были тузы, люди с большой мошной, державшие в своих лапах окружающее деревенское население, занимавшееся сапожничеством.

В числе этих тузов был и разбогатевший крестьянин села Губина-Угла Василий Федорович Мартынов.

У Мартынова в с. Губине-Угле был двух'этажный каменный дом, к которому был пристроен еще, так сказать—приткнут. двух'этажный же деревянный дом.

В Кимрах сидел мартыновский приказчик — скупщик обуви — умный, невозмутимо хладнокровный, без всякой ласковости, но и без внешнего зверства, неумолимый хищник Илья Тунцов, который скупленную в Кимрах обувь отправлял в Питер, где у Мартынова в Апраксином дворе был свой магазин обуви. Здесь же у Мартынова был свой прекрасный дом, с оранжереей и теплицей во дворе.

Мартынов водил знакомство,—чем и очень кичился,— с великим князем Николаем Николаевичем старшим [44], у которого бывал, который бывал у него, которому он, по его словам. ссужал деньги при случае и через которого устраивал подряды на поставку обуви в войска; через него же во время прусско-французской войны Мартынов имел подряд на поставку обуви в немецкие войска.

Этот выбившийся в тузы мужик, — без всякого образования старообрядец (был церковным старостой единоверческой церкви в Питере), — был типичнейший Тит Титыч, не знавший удержу своему самодурству и страдавший периодическим запоем.

Будучи жесточайшим эксплоататором населения деревень, окружавших Губин-Угол, которое проклинало

его и его приказчиков, он был по-своему благодетелем своих односельчан, с которыми связи не порывал.

Губин-Угол был его родной угол, в котором он чувствовал себя самодержцем, окруженным искренним, неподдельным и потому еще более отвратительным раболепством губинцев.

За это раболепство во все тяжкие минуты жизни губинцев Мартынов выручал их. Случится ли падеж скота, Мартынов на свои деньги покупал коров и лошадей всем пострадавшим, кто только заявлял о своей беде. Если у губинца от неурожая не оказывалось семян для посева, он шел к Мартынову, и последний брал за свой счет из общественного магазина зерно и помогал нуждавшемуся безвозвратно. Дочери не одного небогатого губинца, выходя замуж, получили от Мартынова приданое и на его счет отпраздновали свадьбы.

Всю обувь Мартынов забирал постоянно у всех своих односельчан, раз только они приносили в его склады, не взирая на то, был ли спрос на рынке или нет, не стесняя, впрочем, их свободы продавать свои сапожные изделия кому угодно.

В тот год, когда я попал в Губин-Угол учителем, Мартынов затеял устроить в своем каменном доме внизу багадельню для беспризорных старых Губина-Угла, вверху — школу для мальчиков и девочек. Для школы он определил из своего капитала 200 рублей в год жалованья учителю, 120 руб. учительнице и 40 р. сторожу.

Квартира для учителя, учительницы и сторожа полагалась тут же при школе.

Школа состояла из двух больших светлых комнат, которые отделялись одна от другой третьей комнатой поменьше, предназначенной для школьной библиотеки.

Квартира для учителя и учительницы состояла тоже из двух не особенно больших комнат с передней и кухней, в которой помещался сторож, обязанный прислуживать учителю с учительницей.

Все необходимое для школы приобреталось по усмотрению учителя и по принципу Мартынова: «Бери! Ничего не жалею, коли надо! Знай меня!» Обучение, конечно, было даровое для детей губинцев; из других сел было не более пяти—шести человек.

Устроив школу, Мартынов выхлопотал через великого князя Николая Николаевича старшего покровительство для нее наследника [45], и школа на вывеске имела надпись: «Находится под покровительством его императорского высочества наследника цесаревича Александра Александровича».

Когда я явился к Дружинину, направленный к нему В. И. Покровским, я был встречен этим небольшого роста человеком, несколько ожирелым, довольно вульгарного и неряшливого вида; он расспросил меня, был ли я когда-нибудь учителем (не был, конечно) и почему не продолжаю учиться в технологическом институте (по недостатку средств, так как я-де еще и женат). Узнав, что я женат и что жена моя с образованием, он ухватился за это и предложил мне ехать в школу, открывавшуюся в селе Губине-Угле, в которую как-раз требовались учитель и учительница.

Я тоже ухватился за эту мысль. Так как я ехал в деревню в качестве учителя с исключительною целью пропаганды среди крестьян, пропагандировать среди которых еще никто из нашего кружка не пытался, то иметь в школе в качестве сотрудницы такого человека, который по крайней мере сочувствовал бы моей пропаганде, для меня было чрезвычайно желательно.

Условия, которые предлагал Мартынов, были, можно сказать, роскошные. В ту же губернию поехал одновременно со мной учительствовать товарищ мой по технологическому институту — Жуков — и попал недалеко от Губина-Угла, только в Калязинском уезде, на 80 руб. жалованья в год, при ужаснейшей школьной и квартирной обстановке.

С Дружининым мы решили, что я с'езжу в Питер за женой, а затем, явившись к нему, мы при его бумаге будем отправлены в Губин-Угол, а пока он спишется о нас с бывшим директором народных училищ Робертом, через которого Мартынов хлопотал о назначении в открываемую им школу учителя и учительницы.

Приехав в Питер, я предложил в женской комнате, не пожелает ли кто-нибудь из живущих в ней наших барынь ехать учительницей в школу под видом моей жены?

Согласившаяся на это отдала бы Ларисе свои документы, по которым Лариса и проживала бы беспрепятственно в Питере, а поехавшая со мной в Губин-Угол проживала бы по моим документам, как моя жена, переменив только в обиходе имя и отчество.

Этот вопрос подвергся в коммуне серьезному обсуждению.

Все жившие в коммуне женщины учились на разных курсах, то на медицинских, то на акушерских, и могли в это время соединить учебу свою с пропагандой среди фабричных рабочих, и ни одной из них не хотелось расставаться с таким положением. Единственная из них, не бывшая в таком положении, была моя фиктивная жена.

Так как моей мысли попробовать пропагандировать в деревне сочувствовал и кружок и вся женская ком-

муна, то они все вполне сочувствовали и моему желанию, чтобы в школе был не чужой, а вполне свой человек и учительницей.

Волей-неволей приходилось ехать со мной моей фиктивной жене, на что она в конце концов и согласилась.

У меня же не было никакого резона противиться такому решению, и, напротив, в тайнике души мне было приятно, что там в школе будет работать вместе со мною существо, которое было так мило моему сердцу.

И мы вдвоем отправились в Тверь, а оттуда с предписанием Дружинина в сумке—в село Губин-Угол, Корчевского уезда.

Учение в школе, в которой было более 40 мальчиков в моем отделении и до 40 девочек и девушек в отделении Лары, сразу пошло очень успешно.

Сначала родители учеников были неприятно поражены и недовольны, что учат не по псалтири, и не буки-аз-ба, а как-то по-новому, по-курьезному. Но через две—три недели учебы отношение их резко изменилось в нашу пользу. Мы установили давать ребятам книжку «Родное Слово» в собственность, с правом уносить ее к себе домой, как только они научались читать. Это очень интриговало ребят, и они из кожи лезли, чтобы добиться книжки. И когда некоторые из них не более чем через две недели учения явились домой с книжками и на любом месте ее могли прочитать, что там написано, то это так понравилось взрослым губинцам, что не только парни, а даже некоторые из отцов семейств, увидав, что новым способом легко научиться читать всякому, заявили нам желание и самим поучиться и стали приходить к нам заниматься по вечерам.

Кроме того, я предложил желающим и взрослым парням и отцам семейства приходить в школу по празд-

никам, после обедни, чтобы слушать чтение книжек, какие имелись у нас в школьной библиотеке. Охотников оказалось не мало.

Несмотря на то, что губинцы были почти все староверы, их постоянное общение с бойким торговым селом Кимры, а еще более с Москвой (редкий из взрослых губинцев не бывал в ней), вносило в их жизнь немало новшеств, и поэтому, мне кажется, они не настраивались враждебно к тому новому, что появилось среди них в нашем лице; напротив, мы возбудили к себе внимание и интерес. Поэтому и мое предложение учиться по вечерам грамоте по новому способу и приходить по праздникам слушать чтение светских, не божественных книжек было принято многими охотно. Надо, впрочем, заметить, что то обстоятельство, что учитель «в рот хмельного не берет» и не курит (я к тому времени бросил курить), то, что он и жена его ходят в церковь и постами мяса не едят (которого, впрочем, в Губине в пост и не достать нигде), сближало нас с крестьянами; а мы решили не отталкивать от себя деревенскую публику и грубо не задевать их чувствительные места.

По праздникам парты школы в мужском отделении пожилые отцы семейств делались неожиданно для них грамотными так же, как и молодые парни. Один из них, отец семейства, средней зажиточности сапожник, говорил мне о том удовольствии, которое он испытывал, когда в первый раз смог прочитать в Кимрах, что написано на вывесках.

По праздникам парты школы в мужском отделении были заняты взрослыми, приходившими от обедни (церковь была через дорогу от школы) послушать чтение.

Так как Мартынов, побывавший вскоре после открытия школы в Губине, сказал мне при от'езде в Питер,

чтобы я дал ему список всего, что нужно для школы и библиотеки, то я, выписав всяких пособий учебных, в роде картин, глобуса, стоячих больших счетов, ящиков для арифметики и т. п., выписал изрядное количество книжек для библиотеки и включил в список книжки и весьма пригодные для пропаганды.

На ряду с сочинениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Никитина, Л. Толстого, кое-какими путешествиями были выписаны «Дедушка Егор» Цебриковой [46], «Фабричные рассказы» Голицинского, «Анчутка беспятный» Майнова, «О земле и о небе» Иванова, «О силах земных» его же, книжки о податях, о воинской повинности, рассказы по естественной истории, рассказы из русской истории о старом вече, об Иване Грозном, о поволжской вольнице и т. п.

Мартынов, ничего сам в книгах не смысливший, по приезде в Питер приказал выслать все, что учитель выписал.

И мы читали крестьянам многое, что задевало вопросы об их положении, поднимало вопросы об эксплоататорстве, о кулачестве, о тяжести податей, о том, что порядки на Руси не на правде зиждутся.

Глава тринадцатая

ТИПИЧНЕЙШИЙ ТИТ ТИТЫЧ

Однажды вечером я лежал усталый на маленькой лежаночке в своей комнате нашей школьной квартиры и задремал. Был вечер. Вдруг сквозь полудремоту я слышу, что меня расталкивает и будит Лариса, с которой мы тогда были только простыми знакомыми, членами

одного кружка, и которая держалась со мной всегда на благородной дистанции, как и я с нею.

— Да проснитесь же, Силыч! (так всегда звали меня друзья и товарищи), — смеясь тормошила меня Лариса. — Я принесла вам интересную новость!

Я вскочил. От Ларисы веяло морозной свежестью, она еще не успела сбросить ни шубки, ни платка, чудные глаза ее были полны блеска; она была чрезвычайно ажитирована.

— Знаете ли, — говорила она радостно-возбужденно, — я по приглашению своих учениц попала на посиделки! Они там поют песни, девушки работают, а парни ничего не делают. Я предложила и парням и девушкам после пения читать им вслух книжки... И с каким удовольствием они за это ухватились! Я прочитала им сегодня «Коробейников» и «Купца Калашникова» [47]. Когда расходились, просили приходить на посиделки и вас приглашали.

Радостное настроение Ларисы передалось и мне. В этот вечер мы с нею долго проговорили о том, что наша пропаганда получает возможность разрастись и в деревне.

С этого вечера мы перестали уже быть буками друг с другом. Всяким успехом занятий с малышами и со взрослыми, всяким проявлением сочувствия к нашим речам со стороны того или другого деревенского обывателя, всем, что появилось интересного в сношениях с крестьянами, молодыми и старыми, при расширении с ними знакомства и в Губине-Угле, и в Бережке, и в других соседних деревушках — всем мы спешили поделиться друг с другом и теперь уже не один вечер проводили мы подолгу в беседах, строили широкие планы деятельности, мечтали о будущем счастьи народа, огор-

чались тем, что нам казалось в нем темным и скверным и пр., и все крепче и крепче влюблялись друг в дружку.

В один из таких вечеров разговор наш коснулся и разных моральных и общественных тем, свелся по ассоциации идей и на вопрос о любви, и окончилась наша беседа неожиданным признанием Ларисы, что она меня любит и что таить ей это чувство больше не под силу.

Я чуть с ума не сошел от счастья в тот вечер.

Никогда бы у меня не повернулся язык заявить Ларе о том, что я в нее влюблен до безумия: это было бы преступлением, посягательством с моей стороны на ее свободу, так как я был ее законный муж.

Но она сама сказала мне, что меня любит!

Это значило мгновенно разрушить плотину, долго сдерживавшую живой, напряженный поток чувства!..

Тут можно было сойти с ума!..

Мартынов успел побывать в Губине-Угле и познакомиться со мной и с Ларисой. Мы ему понравились. Но он нам не понравился. Довольно высокий, жирный, пузатый, с хитрыми, заплывшими жиром, небольшими карими глазами, с длинной козлиной редкой седой бородой, без признаков растительности на отвислых, лоснящихся от жиру красных щеках, он не внушал к себе расположения. По первому же впечатлению, по тому, как он сидел в кресле, распахнув свой длиннополый черный сюртук, и вытирал шелковым платком потное лицо свое при чаепитии, по безапелляционным мнениям обо всем, о чем он и понятия не имел, по пренебрежительному отношению к окружавшей его публике сразу был виден самодур чистокровный.

В продолжение недели своего пребывания в Губине-Угле после открытия школы Мартынов ежедневно приглашал нас то к утреннему, то к вечернему чаю.

Так как в присутствии его вся публика, находившаяся при чаепитии, — брат, жена брата, сестра ее, девушка лет 23, кое-кто из крестьян, назначенных попечителями школы по выбору Мартынова, иногда батюшка, — чувствовала себя пригнетенной и держала себя рабски-подобострастно, то нам эти приглашения не особенно были приятны, мы шли неохотно и, слушая глупые речи неумного, но с огромным самомнением и тщеславного кулака, невольно начинали питать в душе недоброе к нему чувство.

В одно из таких чаепитий он не преминул выставить свое знакомство с великим князем Николаем Николаевичем и что-де великий князь высоко его ценит и говорит, что такие люди, как я и Лариса — теоретики, а такие, как он, Мартынов—практики и что ими, практиками, весь мир держится.

Еще накануне его приезда нас покоробило то холуйское поведение, которое проявили губинцы, как только нарочный из Корчевы (верст 40 от Губина-Угла) привез известие, что завтра-де будет Василий Федорович... Губинцы засуетились и готовили ему встречу. Оказалось потом, что губинцы на другой день встречали Мартынова версты за две от села и даже везли его в экипаже, впрягшись вместо коней...

Мартынов, побывав в школе, приказал составить список всего, что мы находим нужным для школы и школьной библиотеки, подчеркивая: в средствах не стесняться — деньги-то есть.

В этот свой короткий приезд Мартынов не пил и, уезжая, приглашал меня с Ларисой на пасху в Питер к нему в гости.

После его от'езда у нас с губинцами были разговоры о Мартынове. С теми, которые сошлись с нами довольно

дружески, мы не стеснялись и откровенно говорили, что Мартынов нам не понравился, и возмущались раболепным поведением губинцев по отношению к Мартынову. Губинцы оправдывались тем, что они от Мартынова зато получают много выгоды.

Мало-по-малу при большем знакомстве с губинцами мы узнали от них такие вещи о Мартынове, что он оказывался чистокровным злодеем. Так, например, он забил свою жену до помешательства; впавшая от страха в тихое сумасшествие, она влачила жалкие дни свои при Мартынове в Питере. Приезжая же в Губин-Угол, он жил, как с женой, с сестрой жены брата, с упомянутой выше двадцатитрехлетней девушкой. А до того, как он растлил эту девушку и превратил ее в свою любовницу, он жил с женою брата, с белой и румяной, типа русской купчихи, бабой. От этой беды несчастный брат его стал горчайшим пьяницей. Брат его, небольшого роста, шепелявивший вследствие потери левой верхней челюсти от костоеды, представлял собою жалкую фигуру, жадно поглощавшую водку при всякой возможности.

В стороне от Губина-Угла, верстах в пяти, был одинокий хутор, где жила вдова одного, тоже когда-то разбогатевшего сапожника-мужика. Несколько лет тому назад Мартынов увидел однажды в церкви Губина-Угла молодую вдову, и приглянулась ему эта, по рассказам, замечательная красавица. Стал он под'езжать к ней всячески, с целью склонить ее на связь с собою. Но красавица упорно отвращалась от него, и в конце концов он принудил ее своими приставаниями выгнать его вон из своего дома.

Тогда Мартынов запил, и в один из запойных дней, собрав вокруг себя отряд верных ему губинцев, он

неожиданно накатил в хутор вдовушки, ворвался со своей сворой к ней в дом, всех бывших в доме слуг и домочадцев выгнал вон и с помощью верных холуев своих изнасиловал красавицу.

Бедная женщина после этого несчастия тяжко захворала (очевидно, нервной горячкой) и после выздоровления из былой красавицы стала неузнаваемой и повредившейся в уме. Даже днем ставни и двери ее дома были закрыты; она жила безвыездно и безвыходно в своем доме, вечно боясь кого-то и чего-то.

Был с Мартыновым еще случай. Как-то собрались у него в доме кое-кто из губинцев, его приказчики по скупке сапог и другой обуви, был в числе гостей и становой пристав.

Началась столь хорошо ведомая губинцам мартыновская попойка.

Выпили здорово.

Раскуражившийся Мартынов напустился на одного из своих приказчиков, которого обвинял в обворовывании его. Пьяный приказчик в ответ сгрубил Мартынову. Тогда Мартынов схватил еще нераскупоренную пивную бутылку и ударил ею изо всей силы приказчика по голове. У приказчика хлынула кровь изо рта и носа, и он мертвый упал на пол той залы, которая была оклеена такими безвкусными, противными золотыми обоями.

Становым приставом был тут же составлен протокол...

Но протокол этот гласил, что такой-то приказчик купца Мартынова был убит одним из присутствующих крестьян во время ссоры.

Этот крестьянин согласился охотно за предложенную Мартыновым сумму взять вину в убийстве на себя. Была, конечно, дана соответствующая мзда и становому,

да и все присутствовавшие постарались извлечь из этого счастливого для них обстоятельства возможную выгоду для себя.

Принявший на себя вину в убийстве был судим и сослан на поселение в Сибирь, откуда спустя три года писал Мартынову, что молится за него богу, так как теперь-де человеком стал. С деньгами, полученными от Мартынова, он занялся в Сибири торговлей — скупкой мехов у инородцев, разбогател и теперь устроился так, как он никогда бы не устроился на родине.

Словом, из рассказов губинцев перед нами все отчетливее и отчетливее обрисовывалась фигура нашего хозяина и патрона. Так как от этого зверя можно было ожидать всяческого паскудства, то мы насторожились по отношению к нему, и ясно, что в его лице мы уже почуяли врага, тем более, что узнали еще и о том, как он жесток с теми крестьянами-сапожниками, которые не были его односельчанами и которых опутывали своими сетями его приказчики-скупщики.

Крестьяне эти запутывались в долгах ему, и он беспощадно их разорял, прижимая при взыскании долгов, бракуя и обесценивая их обувь, в особенности в тот год, когда мы были в Губине-Угле и когда «сапогу не было ходу»: сбыт обуви шел туго, и сапожники-кустари охали от нужды и утеснения, утешая себя лишь тем, что не всегда бывает такой год, что бывают и хорошие года, как, например, год прусско-французской войны, когда сапог был в ходу.

Хотя уже и недружелюбно настроенные против своего хозяина, мы поехали, тем не менее, на Пасху в Питер.

Конечно, для нас важнее всего было при этом повидаться со своими друзьями, узнать обстоятельно, как

идет у них дело пропаганды, порассказать им о том, что успели мы сделать в деревне. Но желая еще оставаться в Губине-Угле в качестве народных учителей, мы должны были соблюсти формы вежливости и непременно побывать у своего хозяина Мартынова, тем более, что он любезно и настойчиво приглашал к себе в гости, уезжая из Губина. Пришлось явиться к нему.

Пришли мы к нему на дом часов в 11 утра совершенно неожиданно, так что Мартынову, желавшему поразить нас угощением, не удалось это в такой час, и пришлось ограничиться чаем с самыми обычными закусками. Он мне выговаривал, почему я не предупредил его о своем выезде в Питер и почему прямо к нему не заехал.

Кроме того я, кажется, испортил наше посещение еще и тем, что раза два поднимался уходить, высказывая тем нетерпение скорее отзвонить и с колокольни долой, и тем, что в конце концов попросил у него денег в счет жалованья, чем и обнаружил нетактично самую подоплеку своего посещения.

Почему-то он не дал мне денег на дому, а при нашем уходе предложил мне, чтобы я явился часам к двум следующего дня в старообрядческую церковь где-то к Николаевскому вокзалу, в которой он состоял старостой, и там он обещал дать денег и кстати показать эту церковь с редкими по его мнению церковными вещами, в роде, например, древних образов древнейшей (и пресквернейшей, по-моему) живописи.

Я прибыл туда в назначенный час и получил деньги. К моему огорчению, пришлось тут проторчать довольно долго, так как, прежде чем получить деньги, я должен был совершить осмотр церкви, и так как в то время меня совершенно не интересовало все то, что там было, то

я теперь хорошо и не помню, что там видел, кроме образов, которые я принужден был хвалить, чтобы не оскорбить старообрядцев — Мартынова и еще нескольких бывших здесь, ходивших вместе с нами и искренно восхищавшихся истинной стариной виденного.

На самом же деле образа эти производили на меня неприятное впечатление: тут были изображены какие-то безжизненные и просто антипатичные лица.

После первого нашего визита Мартынов, при уходе, приглашал нас через день пожаловать к нему обедать. Мы обещали ему, но с твердым намерением больше к нему не являться. И так как в ожидании нас он устроил, вероятно, приготовления, которые должны были поразить и ошеломить нас, так сказать, своим величием, о чем мы с восторгом рассказывали бы потом в Губине и Кимрах, то он и не мог нам простить того, что мы не явились к нему на обед, как обещали.

На шестой день своего пребывания в Питере мы уехали обратно. Сказать и то, что мы и торопились: в Питер мы приехали в четверг или пятницу на пасхальной неделе, а занятия в школе должны были начаться с Фоминой недели; опаздывать к учению нам не хотелось

Глава четырнадцатая

„Я СКАЗАЛ — И ШАБАШ“

Занятия в школе шли попрежнему.

Посетивший нашу школу бывший директор народных училищ Роберт — небольшой, старый, но очень живой и добродушный человек, которого привел

в школу пьяный брат Мартынова, пьянствовавший уже несколько дней под ряд и с которым Роберт, как было заметно, и сам успел пропустить рюмочку-другую, — очень внимательно отнесся к ученикам, беседовал с ними и очень ловко, как бы шутя, проэкзаменовал их, и, узнав, что некоторые из спрошенных им учеников учатся не более месяца, выразил свое удивление тем успехам, какие они обнаружили перед ним. Правда, он наскакивал со своими вопросами больше всего на способных и лучших учеников школы, — хотя справедливость требует сказать, на сорок с лишним ребятишек совсем неспособных и тупых на учение приходилось очень мало, — а так как ребятишки еще и очень ревностно хотели познать школьную премудрость, так что с ними заниматься было просто приятно, то школа в общем вся шла успешно.

Я сейчас не помню даже, чтобы кто-либо из ребят не обучился грамоте в школе. Среди взрослых же попадались очень тугие. Двух братьев Егоровых, например, одного—отца семейства, а другого—парня лет 18, так мы и не могли обучить грамоте; уж им помогали от нетерпения и досады и другие взрослые, постигшие грамоту, и сами они из кожи лезли, а проклятые буквы не запоминались своеобразными головами этих несчастных, хоть убей!

Среди ребятишек не было ни одного такого! Надо при этом заметить, что мальчики не производили впечатления физически цветущих детей и поэтому озорства почти не проявляли; большинство из них с девяти лет принималось уже за отцовское ремесло — садилось за шитье обуви.

Некоторые из них уже могли самостоятельно сшить башмаки или кожаные калоши. Только школа ото-

рвала их от сапога, да и то находились детишки, садившиеся за сапог в вечерние часы.

Кстати сказать, мужское население Губина-Угла в огромном большинстве носило на себе отпечаток сидячей жизни, — с несвежим цветом лица, с вялым телом, в то время как женщины и девушки, на которых лежали полевые работы, были, что называется, кровь с молоком—здоровые, румяные и, как выражались мужики, «ядреные».

Земли у губинцев немного — на душу полагалось в трех полях, при общем выгоне, «три полосы», которые уж давно не мерились десятиной. И вот эти полосы унавозить и вспахать должны были женщины; страдовали на ниве и косили сено тоже бабы; засевали поле—мужики; молотили и веяли мужики и бабы вместе. Существовать от земли и уплачивать лежавшие на них подати губинцы не могли; хлеба хватало в урожай на прокорм да на новый посев, и продуктами от земли и вообще от сельского хозяйства губинцы не торговали.

А между тем у большинства губинцев потребности были выше обыкновенных крестьянских. Москва заразила их городскими обычаями. Одевались губинцы хотя и по-русски, но франтовато. Часы стенные и карманные, картинки и зеркала, самовар и сласти на угощение и т. п. были в большом употреблении

Жизненный расчет губинцев заждился главным образом на сапоге, и мужики круглый год производили обувь, и врывавшиеся в их сапожный обиход полевые работы только мешали их главному делу, почему мужскую часть этих работ могущие свалить, ее на чужие плечи сваливали, нанимая работников. Пример же разбогатевших сапожников в роде Мартынова привносил в душу не одного губинца тайный помысел и самому

разбогатеть так же с помощью сапога. Это и заставляло почти всех их налегать на сапог, а земельное дело все больше отодвигалось у них на второй план.

С губинцами у нас установились довольно хорошие отношения, и нас все они принимали, как желанных гостей, когда мы заходили к кому-нибудь посидеть.

Были у нас и более близкие нам, которых мы охотнее и чаще других посещали, но были и 2—3 недоброжелателя. Один из последних, попечитель школы, в особенности был неприятен — Горшков, мартыновский подхалюза, но мужик неглупый, учухавший, как говорят сибиряки, что учитель и учительница—люди с особенным духом. Он начал довольно часто являться в школу во время занятий и, усевшись на окне, сидел и наблюдал за тем, что я делал и что я говорил.

Хотя, кроме школьной премудрости по указаниям Ушинского и Евтушевского [48], я ничего ребятишкам не внушал, но появление Горшкова всегда нарушало наше, и мое, и учеников, спокойное настроение. Я чувствовал в душе раздражение на приходившего и нахально усаживавшегося на окне соглядатая, детишки тоже начинали чувствовать себя стесненными, отчасти, может быть, потому, что и в учителе замечали перемену.

Наконец в одно из его посещений я не вытерпел и попросил его уйти из школы, об'яснив ему, что дети его стесняются, да и мне он мешает. Он возразил, что он имеет право быть в школе, как попечитель, и что своим присутствием он никому не мешает. Я при разговоре с ним стал раздражаться и в конце концов категорически потребовал, чтобы он убирался из школы и не мешал заниматься. Горшков, обиженный, ушел.

Казус этот случился как-раз за день или за два до вторичного приезда Мартынова в Губин-Угол. Это было

в начале мая. Уже началась весна; уже огромное озеро, на южном берегу которого стояло село Губин-Угол, а на противоположном—деревушка Бережок, вскрылось от льда; уже губинцы ловили в нем неводом карасей и окуней и закидывали тони и на счастье учителя с учительницей, при чем пойманных на наше счастье карасей и окуней пускали в устроенный для них садок (это было значительное подспорье к нашему питанию, которое, правду сказать, было-таки недостаточно: толокно с квасом, пареная брюква, соленая сомовина, которую Лариса ела, преодолевая отвращение к ней, в постные дни, и молоко и яйца — в скоромные, да чай с хлебом повседневно — вот наше деревенское меню).

Уже наш приятель из Бережка, Иван Яковлевич, красавец, напоминавший лицом Христа, ходил с ружьем по праздникам на перелетную утку и кулика.

Уже жаворонки оглашали бедные поля губинцев своими никогда не наскучающими песнями во славу теплого солнца, яркой утренней зари и ясной лазури неба И это-то время оказалось временем мартыновского запоя.

Мартынов уже дорогой разрешил, и уже со второго дня по приезде в запое начались его безобразия. Мы теперь воочию убедились, на что он способен.

В час ночи он со своими прихвостнями поднимал деревню: будили девок водить при фонарях хоровод, будили мужиков неводить ночью в озере рыбу. Мужики угощались водкой, девкам за хороводы и пение сыпались пряники и орехи из выставляемых на улицу ящиков.

Усевшись на валявшемся близ ограды его дома длинном осиновом бревне, пьяный Мартынов начинал утверждать при всем честном народе, что он сидит на

дубе, на что ему иронически отвечали: «что ж, коли твоей милости так угодно, пусть и осинка дубом будет»...

Нас дня четыре Мартынов не касался. Приехав, он пригласил нас на другой день к утреннему чаю, при чем большой любезности в этот раз не проявил, а затем ограничился тем, что прислал мне в подарок несколько аршин драпу на пальто, а Ларисе какой-то материи на юбку. Очень нас смутили эти подарки; никак мы не ожидали такого обстоятельства; думали мы, думали, как нам быть с ними, и порешили, скрепя сердце, взять во избежание скандала, который Мартынов всенепременно бы учинил вслед за нашим отказом от подарков. Тем не менее скандал все-таки надвигался.

На пятый день Мартынов, уже зело заложив, заявился в школу с волостным старшиною, с Горшковым и Тунцовым (приказчик-скупщик и тоже попечитель школы) и с какими-то еще неведомыми мне лицами.

Прежде всего он направился в отделение моей жены, потребовав, чтобы я его сопровождал. Игнорируя учениц, он, распуская слюни, довольно долго жал руку Ларисе, силясь пьяным языком говорить какие-то комплименты. Еще немного, и Лариса наговорила бы ему дерзостей. Меня же это уже взвинчивало.

Явившись в мое отделение, он, в то время, как все сопровождавшие его лица стоят на ногах, развалился на моем стуле за столом с самым самодурным видом и стал задавать детям вопросы в роде того, сколько таинств, да псалом Давида «Помилуй мя, боже!» Ни таинств, ни псалма Давида ребята не знали, но закон божий преподавал не я, а батюшка, так что придраться ко мне поэтому нельзя было. Когда по его приказу кто-нибудь из детей начинал читать по «Родному Слову»,

Мартынов осоловелыми глазами глядел на читающего и мычал. Потом встал и остановился у выхода в переднюю, чтобы пьяной рукой сотворить крестное знамение при выходе; в этот момент со двора вскочил мой первый ученик, отпросившийся в переменку домой зачем-то и опоздавший поэтому. Мальчонка, увидев Мартынова и свиту его, от неожиданности оторопел и, не сняв шапки, стал, раскрыв во-всю любопытные детские глаза. Мартынов, заметив мальчика в шапке, неожиданно сорвал шапку с его головенки, схватил моего бедного Никитку за ухо, втащил перепуганного ребенка в угол и поставил на колени.

— Распускаешь учеников!..—обратился он ко мне.— Как он смеет шапки не снимать в избе, где образа! — кричал Мартынов. — Я вот пришлю патрет наследника цесаревича... пусть он висит тут... (он указал пальцем место на стенке у двери, не высоко от пола). Я прикажу нарисовать, чтобы была рука его императорского высочества... и пусть, как входит мальчишка в школу, так каждый раз и целует эту руку... Я вам покажу—шапку не снимать...

— Василий Федорович, я прошу вас не кричать здесь, детей не пугать... — начал было я.

— Я сказал — и шабаш!.. Ты вон выгнал попечителя из школы... За что?

— Это долго об'яснять... А я все-таки попросил бы вас... — раздражаясь уже, начал и я возвышать голос.

— Я тебя слушать не хочу! Пойдем отселева!.. — скомандовал он своей свите и удалился.

Я был возмущен до глубины души! Бедного Никитку я тотчас поднял с колен, приласкал и старался его успокоить. Мальчонка плакал, перепуганный и оскандаленный перед всеми присутствовавшими.

Дети были выбиты из колеи и надлежащего настроения, и я распустил их тотчас же по домам, так как при нашем расстроенном состоянии духа заниматься было невозможно.

На следующий день разыгралась новая история.

Безобразно пьяный Мартынов, в нижнем белье, в халате и туфлях, ведя за руку свою любовницу, сестру жены брата, о котором я упоминал выше, ввалился в школу прямо в мое отделение. Я, легко сообразив, что Мартынов явился с целью безобразничать в своей школе, немедленно, как только он вошел, приказал детям собрать книжки и тетрадки и, скомандовав: «Дети, молитва!», начал громко читать молитву после учения (обыкновенно молитву перед учением и после учения читаю я сам).

— Теперь идите домой! Сегодня больше заниматься не будем!

Дети, немного изумленные, стали поспешно уходить.

Как ни был пьян Мартынов, а и он растерялся от такого неожиданного для него моего распоряжения. Я торопил детей выходить из школы и, когда школа опустела, я, не обращая внимания на Мартынова и его спутницу, ушел в свои апартаменты. Вызвав Ларису, я сообщил ей о случившемся и посоветовал поступить так же, если Мартынов явится и в ее отделение. Хотя Мартынов и не явился в ее отделение, но она была так взволнована случившимся, что продолжать заниматься не могла и распустила своих учениц.

Через некоторое время пришел к нам сторож Егор и тоном довольно недружелюбным заявил мне, чтобы я шел в школу — «Василь Федорович приказал».

Я пошел. Мартынов в халате, который то-и-дело распахивался, так как он то-и-дело вертел шнурки халат-

ного пояса, все в тех же туфлях, над которыми виднелись кальсоны со штрипками, стоял посреди школьной комнаты за столом и, пошатываясь, поджидал меня.

В стороне у двери стоял Егор, старый, хитрый холуй, бывший гвардеец... Я вошел.

Глядя на меня осоловелыми глазами, Мартынов начал:

— Это ты зачем же распустил школу? Я пришел с Машей, чтобы ты показал нам школу, картины... рассказал бы... А ты заместо того...

— Прежде всего не смейте мне говорить «ты»! — вспылил я.

— Ты... ты, господи боже!.. — поднимая палец кверху, произнес Мартынов.

— Как вы смеете безобразить тут?! Являетесь в школу пьяный, в нижнем белье!.. — волновался я.

— Врешь!.. Я не пьян! Ты не смеешь мне говорить так!.. Ты не смеешь меня оскорблять!... — начал кричать Мартынов, багровея.

— Слышите ли вы, нахал? Вы не смеете говорить мне «ты»!.. Не я, а вы меня первый оскорбили. Вы позволили себе явиться в школу пьяным, в нижнем белье... Убирайтесь сейчас из школы вон! — кричал я не своим голосом.

— Егор, кто первый обидчик, я или он? — обратился Мартынов к Егору.

— Он, он, Василь Федорович, он — первый! — схолуйничал Егор.

— Как это я—первый?! И тебе, старому, не грех и не стыдно это говорить! — неистовствовал я при виде такого предательского поведения единственного свидетеля нанесенного мне и школе оскорбления.

— А ты не кричи! Не очень тебя испугались!.. Ты со мной и в Питере как со свиньей поступил! А я тут — хозяин! А не ты! — кричал пьяным голосом Мартынов.

— Нет, в школе хозяин я!.. Вон отсюда! — крикнул я, кидаясь к столу, возле которого стоял Мартынов. И, несомненно, у нас произошла бы с ним баталия, если бы в это время, после слов Мартынова: «Нет, ты отселева убирайся вон!» не ворвалась Лариса, услыхав мой неистовый визг, и не кинулась ко мне со словами: «Успокойся, Сережа, успокойся! Что ты это? Разве можно так!» Мартынов, увидав Ларису, стал неловкими движениями рук запахивать свой халат и отступать к дверям передней. Лариса в другую дверь, через библиотеку и свое отделение, увела меня в наши апартаменты.

Для нас было очевидно, что оставаться в квартире при школе, которая была соединена коридором с апартаментами Мартынова, было невозможно: напившись до чортиков, Мартынов мог ворваться со своими прихвостнями и в нашу квартиру безобразничать, что могло окончиться для нас трагедией. Поэтому мы тотчас же порешили выселиться из школы к какому-нибудь из зажиточных губинцев.

К нашему счастью один из таких нароставших тузов, который враждовал с Мартыновым, но которого Мартынов никак с'есть уже не мог, ибо у Ивана Карповича мошна была весьма сильна, охотно и бесплатно дал нам приют, как только я обсказал ему все, что случилось. Он дал нам комнату, в которую мы немедленно и переселились.

Школу я запер на замок, как и свою квартиру, из которой в этот день мы не успели взять всех своих вещей. Оставалась незапертой кухня, где жил Егор.

Переселившись к Ивану Карповичу, трезвенному, очень добропорядочно держащемуся, богобоязненному и очень чистоплотному старообрядцу-кулаку и хозяйственному, с большой семьей мужику, мы решили на следующий день школы не открывать, да и вообще не заниматься, пока Мартынов пьянствует. Я воспользовался одним из работников Ивана Карповича и отослал Мартынову драп и материю на юбку, которые Мартынов вручил нам в подарок.

На другой день, часам к четырем вечера, Лариса с одной из взрослых учениц отправилась на нашу старую квартиру, чтоб взять последние оставленные там наши вещи.

Через некоторое время прибегает эта ученица ко мне, встревоженная, со слезами в голосе говорит: «Сергей Силыч! Идите скорей к школе! Мартынов созвал всю деревню, приехал волостной... а Ларису Васильевну Мартынов задержал с узлом, как она вышла из школы, и не позволяет ей итти!»

Как стрела, без шапки помчался я к дому Мартынова.

Там стояла толпа губинцев. На скамейке у решетки мартыновского палисадника сидел волостной старшина. Возле стоял пьяный Мартынов; возле него лежал на земле узел наших вещей; недалеко от узла стояли Лариса и Егор. При моем появлении губинцы расступились.

Я подошел к Мартынову и спросил:

— Какое вы имели право задерживать мои вещи?! Как вы смеете не пускать мою жену домой?!

— Я не задерживаю твоих вещей! — пьяным языком, засунув руки в карманы штанов, ответствовал Мартынов.

— Возьми узел и иди домой! — сказал я, поднимая узел с земли и вручая его Ларисе. Лариса вышла из толпы; я хотел следовать за нею, но старшина вежливо меня задержал.

— Г. Синегуб. позвольте спросить, вы почему школу закрыли? Василь Федорович жалуется. что вы самовольно закрыли школу.

— А вы — что? Судить меня явились, да еще мир сюда созвали? Прежде всего я вашему суду не подлежу, и ни вам, ни губинцам об'яснения давать не обязан...

— Какой суд! Что вы, бог с вами! — отвечал старшина. — А так, желательно знать нам.

— А видите ли. — отвечал я. — Мартынов пьяный, в нижнем белье. в халате. с Марьей Никитишной изволил явиться в школу. Видя такое безобразие, я школу распустил. А затем Мартынов вновь явился пьяный, потребовал меня на об'яснения; при этом стал мне тыкать и оскорблять меня...

— Врешь! Ты меня оскорбил первый! — вставил Мартынов.

— Вы сами врете! Вот свидетель Егор, он перед миром скажет правду. Кто кого первый оскорбил? — обратился я к Егору...

Егор. не моргнув глазом, ответил решительно: «ты!»

— И ты, пожалуй, даже на церковь перекрестишься? — иронически произнес я.

— А что ж? Почто на церковь не перекреститься? — и Егор. повернувшись к церкви. что была тут же через дорогу от школы, перекрестился.

— Ну. что ж. коли ты такой иуда!.. — сказал я. — Больше я об'ясняться не намерен...

И я стал удаляться. Вослед мне Мартынов произнес:

— Это так тебе не пройдет. Я, брат, за становым послал!.. Протокол губернатору писать будем!..

Я ушел в свою новую квартиру. В часу десятом вечера, когда мы уже собирались с Ларисой на покой, явился сельский староста и, вызвав меня, сообщил, что приехал становой и «требовает» меня к себе. Я отправился со старостой.

Становой остановился в доме Мартынова и в его зале открыл канцелярию.

Подходя к мартыновскому дому, я прежде всего увидел толпу губинцев, стоявшую у крыльца и под окнами и, очевидно, ожидавшую выпивки от Мартынова, а также и любопытствовавшую узнать, что-то выйдет с учителем после приезда станового?

Толпа дружелюбно меня приветствовала и пропустила меня в дом. В передней встретил меня становой— небольшого роста, худощавый, юркий человек, несомненный пройдоха, что сразу было видно и по серым наглым, что называется, бесстыжим глазам, и по всему способу держать себя.

Он подал мне руку и, крепко пожимая, отрекомендовался: «становой пристав Никифоров». — «Учитель Синегуб». Не выпуская моей руки, он приподнялся на цыпочках к моему уху и фамильярно-дружественным тоном произнес: «Знаете, г. Синегуб, войдите в залу, подайте руку Мартынову и извинитесь перед ним! По житейскому праву — слабый сильному всегда уступает».

— Мне не в чем извиняться! Я полагаю, что извиняться должен г. Мартынов, а не я! — громко сказал я.

— В таком разе я принужден приступить к составлению протокола, который и направлю к его превосходительству господину губернатору! — произнес громко Никифоров тоном начальническим и угрожающим.

— Дело ваше! — ответил я, и мы вошли в залу.

За небольшим столом перед диваном на стуле сидел старшина; на одном конце этого же стола сидел, развалясь в кресле, полупьяный Мартынов, сзади которого на стуле сидел его прихвостень — Горшков, попечитель школы, которого я попросил удалиться из школы. На диване никого не было.

Становой пригласил меня садиться у другого конца, насупротив Мартынова, который все время глядел на меня масляными, смеющимися глазками и от времени до времени качал добродушно-укоризненно головой.

У стенок на стульях разместилась молчаливая рабская публика: долговязый поп Иоанн, преподаватель закона божия, затем допущенные в апартаменты Мартынова и избранные губинцы, человек пять — шесть.

Становой не сел, потребовал бумаги и чернил и, громко подчеркивая голосом некоторые, якобы устрашающие выражения, стал диктовать протокол волостному старшине, круглому, румяному, еще довольно молодому, добродушному на вид, но не без хитрости в живых глазах, человечку.

В протоколе излагалась жалоба Мартынова на меня за то, что я закрыл самовольно школу и бросил ее на произвол судьбы, выбравшись совсем из своей квартиры при школе, за что и просит г. Мартынов его превосходительство взыскать с учителя Синегуба, побудившего и жену свою к прекращению занятий в школе.

Когда протокол был составлен, Никифоров предложил мне его подписать.

Подписывать я отказался, выразив свое право написать на этом же протоколе свое об'яснение, прежде чем подписывать.

— Совершенно верно!—согласился Никифоров. и я стал писать свое об'яснение, в котором указал, как на причину прекращения занятий, на пьяное поведение Мартынова. на появление его в таком виде в школу и заявлял, что начну занятия, как только Мартынов уедет в Петербург; что касается того, что школа и ее имущество брошены на произвол судьбы, то это неправда, так как школу я запер на замок, а ключ от нее по требованию Мартынова я отдал ему. и, кроме того. при школе оставлен сторож, который там и живет. После этого об'яснения я подписался.

Никифоров. при глубоком молчании публики, пополнившейся пришедшими женщинами, женой брата Мартынова и его Марьей Никитишной, громко прочел мое об'яснение и многозначительно произнес: «хорошо-с!» Затем он подал бумагу для подписи Мартынову.

Мартынов, все время глядевший на меня, словно любуясь мною или насмехаясь надо мною в душе, взял бумагу в свои жирные руки, поглядел еще на меня и, ухмыляясь, встал с кресла.

— Ну, чорт с ним!.. Будет, Сергей Силыч, давай. помиримся! — совершенно неожиданно произнес он...— Ну, что ж? Миримся, что ли? — и он через стол протянул мне руку.

— Мириться—так мириться! Вы знаете. не я начал.

— Конечно, мириться, мириться! Самое прекрасное дело! — вскричал Никифоров и, схватив мою и Мартынова руки, соединил их...

— Эй! Тащи сюда вин и закусок! Горшков, пива! — крикнул Мартынов и. обращаясь ко мне. отдал мне протокол. бывший у него в руке: «На, возьми его себе!»

Я взял, сложил этот лист и, совершенно не думая, хотел было сунуть в боковой карман своей визитки,

2766 –8

но Никифоров ловко выхватил его у меня из рук, весело произнося: «Зачем эту дрянь хранить! Всего лучше вот что с нею сделать!» И он изорвал на мелкие клочки исписанный нами лист бумаги.

Это привело подвыпившего Мартынова в азарт.

— Горшков! Тащи ружье из спальни! Я палить буду в окно... Пущай знают все, что я помирился с учителем!

Горшков принес двухстволку, окно распахнули, и Мартынов выпалил в воздух из обоих стволов.

Принесли вина и закуски. Вся публика, во главе с Мартыновым, приступила к выпитию.

Принужден был и я, ничего не пивший, выпить стакан пива, а Лариса, за которой, как оказалось, Мартынов тоже послал старосту и которая сидела уже тут на диване, выпила рюмку какого-то виноградного вина.

Распьяневший Мартынов начал было просить у меня прощение за Горшкова и слезал для этого с кресла, чтобы стать передо мной на колени: «На коленях буду просить тебя: прости его!» — молол его пьяный язык, из чего я заключил, что Горшков наплел на меня Мартынову.

Я не допустил его стать на колени, сказав, что Горшкова прощаю.

— Прости и Егора!

— Нет, Егора я не прощу, он поступил со мною по-предательски, хотя я ему ничего злого не сделал, — ответил я (я был зол на старика).

— Ну, и чорт с ним! — заметил на это Мартынов.

Егор, обиженный, ушел.

Несколько раз подходил ко мне Мартынов, брал меня за руку и произносил: «Ну, и характер у тебя, Сергей Силыч! И характер. Бог тебя люби!»

После нескольких напрасных попыток с нашей стороны уйти домой Мартынов наконец отпустил нас, взяв с нас обещание, что завтра же мы вновь переедем в свою школьную квартиру, начнем занятия, и все пойдет по-старому.

Мы ушли, а оставшаяся публика, не исключая и довольно болезненного батюшки, продолжала кутеж до света. Стоявшей на улице куче губинцев после ружейных выстрелов была выслана выпивка и закуска.

Дня через два после этой истории Мартынов уехал в Питер, так как, очевидно, запой кончился.

По поводу всего случившегося у нас были разговоры с губинцами, и они удивлялись тому, что Мартынов так милостиво и по-доброму отнесся ко мне во всей этой кампании.

На нас же с Ларисой вся эта пакостная история произвела удручающее впечатление. Мы решили дотянуть занятия до половины июня и затем на каникулы уехать в Тверь, там заявить Дружинину о нашем нежелании больше служить в Губине-Угле и уволиться совсем, в случае если не окажется у него другого места, что мы и выполнили.

Так как Дружинин, выслушав мой рассказ о поведении Мартынова, нашел вполне резонным наше желание удалиться из Губина-Угла, то мы и уехали в Питер, заручившись обещанием Дружинина дать нам другие места.

Но больше нам не пришлось учительствовать в деревне. Приехав в Питер, мы занялись пропагандой среди фабричных и заводских рабочих за Невской Заставой, каковую и вели вплоть до моего ареста в ноябре месяце 1873 года.

Глава пятнадцатая

МАССОВАЯ ПРОПАГАНДА

Дней за десять до моего ареста к моему брату, жившему на Петербургской стороне. нагрянули ночью жандармы. Приехали они часам к двум ночи, но, оставив стражу, уехали за прокурором. в присутствии которого должен был производиться обыск. По прибытии прокурора выяснилось однако, что они очутились хотя и в квартире Синегуба, да не того Синегуба, какого им было нужно: им нужно было того. у которого жена была Чемоданова. а не Троицкая. Поэтому синемундирники с прокурором, не произведя обыска, удалились.

На другой день я. ничего не подозревая, утром зашел к брату. который собирался с своей стороны итти ко мне. чтобы сообщить о случившемся. Ясно было, что искали меня и что не сегодня-завтра надо было ожидать обыска и у меня. Необходимо было поочистить квартиру свою от всего «компрометирующего», как и квартиру моих учеников-рабочих. которых я выделил из общей артели и переселил на отдельную квартиру, образовав из них маленький кружок вполне сознательных рабочих. В него входили Филипп Заозерский, Ефим Савостьянов, Иван Гришин и Михаил Моисеев (42 лет), но к этому кружку примыкали еще Степан Зарубаев [49] и два брата Панкратовых, остававшихся жить в своих артелях.

Побывав у своих друзей чайковцев и предупредив их о случившемся с братом, я поочистил свою квартиру и квартиру рабочих, унесши и «книжки» и рукописи на берег Невы. где жил рабочий Семянниковского завода

Щеглов [50], из кружка наших заводских рабочих (в этом кружке были Орлов Михаил [51], Обнорский [52], Лавров [53], Петерсон [54], Бачин [55] и одно время Митрофанов [56]).

Щеглов жил в одном из небольших домишек, разбросанных за Семянниковским механическим заводом на берегу Невы. Щеглов взялся припрятать все принесенное мной в укромном уголке своего двора.

В конце сентября рядом с моей квартирой заняли квартиру Соня Перовская [57] и Дмитрий Рогачев [58]. Первая пожелала принять непосредственное участие в занятиях с рабочими, второй же, работавший в это время в качестве простого рабочего на Путиловском заводе, сначала, пока Соня не переехала за Невскую Заставу, приходил ночевать, а иногда обедать в мою квартиру. По документам он значился женатым (он был фиктивно женат на В. П. Карповой, сестре драматурга Евтихия Карпова [59]).

Это было весьма кстати при прописке его вида в участке: Соня таким образом фигурировала официально под именем жены Рогачева.

Однажды ко мне на квартиру явились трое незнакомых мне рабочих-ткачей с суконной фабрики Торнтона. Они об'яснили мне свое посещение тем, что, узнав о моем даровом обучении рабочих, они пришли просить меня обучать и их, и хотя они-де уже читать умеют и даже пишут, хоть и не бойко, но хотели бы еще поучиться науке «еографии» и «еометрии». Это были знаменитый впоследствии Петр Алексеев [60], особенно жаждавший познать «еометрию», Иван Смирнов и Александров. Все трое произвели на меня очень хорошее впечатление и особенно расположил к себе Смирнов, с красивыми, хотя и странными, не одинакового цвета глазами.

Я стал заниматься с ними, но уже дня через три убедился, что времени у меня на занятия с ними нехватит, так как в это время пришлось завести знакомство с помощью некоего Ярцева [61] (опростившегося артиллерийского поручика и мелкого землевладельца Тверской губ.) с артелью каменщиков, душ в 80, живших довольно далеко от Невской Заставы, где-то на Лиговке, если не изменяет мне память, в подвальном этаже ими же воздвигавшегося каменного дома.

Помимо прежних своих учеников и артелей за Невской Заставой, мне приходилось посещать и этих каменщиков, где я упражнялся в так называемой тогда «массовой пропаганде». В этой артели я громко читал перед несколькими десятками слушателей книжки и писаные брошюры, а затем вел разговоры и споры на «зловредные» темы. Приводил я в эту артель и Кравчинского [62]. Таким образом заниматься еще и с Петром Алексеевым и его товарищами, к которым присоединились еще два человека, у меня решительно нехватало времени. У Ларисы были свои ученики из артелей за Невской Заставой. Тихомиров заменял меня в занятиях с моими учениками, когда я уходил в артели к ткачам или каменщикам.

Жившие за Невской Заставой на отдельной квартире мои друзья Стаховский и Борисевич были обременены занятиями с рабочими, так как от желающих учиться, что называется, отбою не было. Вследствие этого я предложил Соне Перовской взяться за обучение Петра Алексеева с товарищами и для удобства переселиться за Невскую Заставу, в ту квартиру, которая была рядом с моей, в которой я раньше жил и которая пустовала после того, как я занял соседнюю, более обширную квартиру. В этой моей новой квартире жила

раньше маленькая рабочая артель, из которой остался жить с нами только один, тупой и добродушный гигант, с худой, болезненной женой и маленьким, лет пяти—шести, сынишкой Антошкой, худеньким, вшивеньким, нашим баловнем. Мы по просьбе этой семьи уступили им часть квартиры, в которой была русская печь, а сами заняли две комнаты, образованные перегородками, плохо отопленные железными печами.

Перовская, фигурируя по документу, как жена Рогачева, переселилась за Невскую Заставу и стала заниматься с Петром Алексеевым и его товарищами. Но заниматься с ними ей пришлось недолго, так как начался разгром кружка чайковцев.

Скажу несколько слов о Рогачеве.

Дмитрий Михайлович Рогачев был отставной артиллерийский поручик, товарищ Кравчинского и Шишко [63] по петербургскому артиллерийскому училищу. Рогачев не был членом кружка чайковцев, хотя во все время пребывания в Питере вращался среди нас.

Не чувствуя в то время себя способным быть учителем-пропагандистом, но вполне революционно настроенный, Рогачев решил вступить в рабочую среду простым рабочим и в 1873 г. поступил на завод Путилова.

Быть рабочим для Рогачева было легко, так как это был человек неимоверной физической силы, могший без всякой натуги поднимать каждой рукой двухпудовую гирю и держать эту гирю, вытянув горизонтально руку. На Путиловском заводе ему приходилось работать у плавильной печи, в которой с помощью огромной и тяжелой железной кочерги он должен был ворочать и мешать чуть ли не чугунную расплавленную массу. Работа была тяжелая, и он зачастую приходил с работы довольно-таки измученным, несмотря на

свою геркулесовскую силу, на свою словно из железа выкованную комплекцию и на свое, повидимому, совершенно не поддающееся расшатыванию здоровье.

Рогачев производил впечатление человека добродушного, хотя и сильного характером, и в то время, когда он жил за Невской Заставой, в нем я не замечал ни малейшего следа самомнения или мелкого самолюбия. Всегда скромный, молчаливый, не любящий споров, он держался по отношению к другим чайковцам, как ученик и скорее смотрел тогда на них снизу вверх.

Дня за три, за четыре до моего ареста Рогачев вместе с Кравчинским отправились в качестве простых рабочих в Тверскую губ., Торжковский уезд, в именьице Ярцева.

Эта их экспедиция в именье Ярцева была уже вторичной; перед тем, они летом во время сенокоса были там же косарями; познакомившись там с крестьянами, они наметили именье Ярцева, как пункт пропаганды. Тут они во вторую свою экспедицию в качестве пильщиков были арестованы, но при помощи староживших их при волостной кутузке крестьян бежали и раз'единились: Кравчинский прибыл в Москву, а оттуда, когда начался разгром чайковцев в 1874 году, бежал за границу; Рогачев же двинулся на юго-восток России. Он бродил по Волге бурлаком, запрягался в бурлацкую лямку и тянул баржи, поражая своей силой бурлацкие артели, в которых, как потом, долго спустя, он рассказывал мне в Петропавловской крепости, он только раз наскочил на бурлака, превзошедшего его в силе.

Однажды артель, тянувшая барку, заночевала на берегу Волги. Сидя у разложенного костра, бурлаки вздумали баловаться: меряться силой на перетягивание друг друга; для этого перетягивавшиеся два человека садились друг против друга на землю, упирались друг другу

ступнями (ступня в ступню), брались руками за палку и тянулись... Один только из бурлаков не принимал участия в перетяжке. Это был высокий, очень худощавый, сухой и, что называется, жиловатый мужик, никак не внушавший мысли о силаче.

Видя, что никто из бурлаков не может перетянуть Рогачева, он неожиданно предложил Рогачеву тянуться с ним. Рогачев усмехнулся и согласился, с полным убеждением, что он перешвырнет через себя этого сухого человека. Каково же было удивление и артели и Рогачева, когда оказалось, что Рогачев так перелетел через сухого бурлака, как если бы он был совершенно бессильный человечишко. Сухой бурлак оказался несравненно сильнее Рогачева.

После Волги Рогичев побывал на Дону и в Ростове жил в босяцкой «золотой роте», о которой говорил мне, как о необычайно стойко отстаивавшей друг друга на рынке труда; обыкновенно золотая рота занималась нагрузкой и разгрузкой прибывавших в Ростов барж и пароходов, и в этой области труда, благодаря своей солидарности, золоторотцы нередко предписывали свои условия работодателям. Но тем не менее, все пропивающая золотая рота не представляла собою благоприятной почвы для пропаганды каких бы то ни было общественных идей и стремлений; вся цель их жизни заключалась в добывании средств для ее прожигания.

После того Рогачев очутился в Самаре. Так как к этому времени (1875 г.) агитационное движение охватило всю Русь «от хладных финских берегов до пламенной Колхиды» и от Пинска до Екатеринбурга, то Рогачев впутался в тамошний агитаторский кружок и был там арестован чуть ли не вместе с Фаресовым и Регицким. Из-под ареста Рогачев бежал.

Поблуждав немного по Волге, он возвратился в Москву, где при разгроме кружка москвичей, из которых потом выкроили процесс 50, на котором произнесли свои знаменитые речи Петр Алексеев и София Бардина [64], Рогачев был захвачен на одной из квартир, где производился обыск; но и на этот раз он обманул бдительность обыскивавших и из-под самого их носа скрылся. В последний раз он был захвачен в Питере тоже на квартире, куда приехали с обыском, попытался было и тут бежать, но неудачно: во дворе его задержали сторожившие у калитки городовые. Этим и окончилось его свободное существование.

По процессу 193-х он был в числе приговоренных к 10-летней каторге. Как каторжник, он был препровожден в харьковскую централку, несмотря на то, что официально он был женат и жена из'явила желание следовать за ним на карторгу, желая таким образом избавить его от централки. Но жандармы жену его надули. Они якобы из'явили согласие исполнить ее желание следовать за мужем в Сибирь и назначили день, когда она должна была явиться для отправки вместе с мужем. Она явилась. Под стражей ее препроводили на поезд железной дороги, уверяя, что с этим же поездом отправляется и ее муж, но потом оказалось, что ее отправили в ссылку в Вологодскую губ., а Рогачева — в харьковскую централку.

Пробыв в централке более двух лет, Рогачев вместе с другими централистами был в 1882 году препровожден на Кару, где через полгода, много—через год, умер от воспаления легких.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В РУКАХ ЖАНДАРМОВ

Глава шестнадцатая

НАПАДЕНИЕ ВОИНСТВА

С уходом Рогачева и Кравчинского во второй раз в именье Ярцева на пропаганду Соня нашла невозможным оставаться одной в квартире, а так как при этом вскоре после ухода Рогачева обнаружилось желание жандармов навестить меня за Невской Заставой, то оставаться здесь и Соне было небезопасно. Кроме того, пришлось на некоторое время, в виду того же обстоятельства, приостановить приход рабочих в наши квартиры, а в том числе и приход Петра Алексеева с товарищами, так что Соне оставаться за Невской Заставой не было уже никакого резона, и она переехала опять в город.

Однако время шло, а жандармы не появлялись.

Прошло никак не меньше десяти дней со времени их набега на квартиру моего брата, а они ко мне не являлись. Я с друзьями-рабочими начинал думать, что, пожалуй, жандармы и раздумали посетить меня.

В ночь с 11 на 12 ноября, накануне годовщины нашей с Ларисой свадьбы, у меня сидели мой знакомый Теодорович и рабочий Филипп Заозерский.

Часам к десяти вечера пришел ко мне Тихомиров, уже более 2 недель не появлявшийся за Невской Заставой, так как он в это время скрывался и прятался в городе, где его не знали так, как за Невской Заставой. Скрываться ему приходилось потому, что в Москве

произведены были аресты того кружка, в котором состоял и Тихомиров, и арестованный в числе других некто Любавский [95] повыдавал товарищей, в том числе и Тихомирова, указав на его пребывание в Питере. Об этом дано было знать центральному кружку нашему, и Тихомирову пришлось принять свои меры. Он сбрил бороду, что его чрезвычайно изменило, так что, когда я его увидел в своей квартире, я не узнал его; затем стал менять ночлег и по возможности сократил свои появления за Невской Заставой.

Но на этот раз нелегкая принесла его ко мне ночевать. И так как ему пришлось очень много ходить, то он, усталый, как пришел, так и завалился спать.

Скоро улеглась в своей комнатушке за перегородкой и Лариса.

С русской печи давно раздавался храп гиганта-рабочего, спавшего там со своей женой и маленьким Антошкой. Только мы трое—я, Филипп и Теодорович—бодрствовали. Филипп сидел, углубившись в книжку «Древняя Русь» Худякова [96], а мы с Теодоровичем беседовали на разные теоретические темы.

Вдруг, в полночь, в мое бедное жилище ворвалась под предводительством жандармского майора Ремера свора жандармов и полиции. Тут был жандармский поручик Соколов — преантипатичная фигура, — человек пять рядовых жандармов, начальник загородной полиции с двумя околоточными надзирателями. В темном узком коридоре, во дворе и за воротами были расставлены городовые и лейб-казаки. Словом, на мое скромное жилище учинил нападение чуть не полк воинства, при шашках и револьверах, словно тут ожидали встретить по крайней мере десятка полтора людей и вооруженное сопротивление.

Опросив присутствовавших, — при чем я разбудил Тихомирова словами: «Вставай, Тигрыч, погляди, какие гости накатили», и Тихомирова на вопрос «Как фамилия?» назвал себя Тигровичем. — майор Ремер приказал остаться в квартире Соколову, начальнику загородной полиции, околоточным с жандармами, а сам уехал. Оказалось, что должны были прибыть для обыска толстый жандармский майор Кононов и товарищ прокурора судебной палаты Масловский. Действительно, часам к двум ночи прибыли и эти два лица. В это же время появились откуда-то два каких-то обывателя в качестве понятых.

Приступили к обыску.

Увы! Дело обошлось не без сюрпризов для нас.

Хотя мы и прибрали все компрометирующее, но не только не выбросили лубочный ящик с разными грязными бумажками, но даже не пересмотрели их, так как там были, как мы думали, только те бумажки, в которые лавочники завертывали нам колбасу, селедку, соленые огурцы и другое, что мы покупали себе на обед. А между тем Лариса, по своей близорукости, бросила туда же при уборке комнаты черновики двух моих стихотворений, писанных карандашом и с помарками, что указывало по крайней мере на то, что автор стряпал эти стихи тут, на этой квартире; тут же очутилось «сочинение» Ефима Савостьянова, рабочего-ученика, писанное хотя и не твердым еще почерком, но представлявшее собою горячее, страстное и очень сильно написанное воззвание к рабочим на бунт, и писанное при этом — о ужас! — красными чернилами.

Дело в том, что, обучая рабочих письму, мы предлагали иногда тем, которые научились уже писать, написать что-нибудь из своего ума. И вот на одно

из таких предложений Филипп Заозерский написал стихи, где обращался к царю с просьбой дать всю землю крестьянам, избавить их от податей и от обид господских да кулацких, а если, мол, не вникнешь в нашу просьбу, так не прогневайся, если мы и бунтовать начнем; Савостьянов же написал прямое воззвание к бунту, с горячими проклятиями по адресу угнетателей и кровопийц бедного народа. Вот это-то воззвание, вместе с моими крайне революционными написанными начерно стихами (одно прямо начиналось так:

„Гей, работники, несите
Топоры, ножи с собой.
Смело, братья, выходите
За свободу в честный бой!
Мы под звуки вольных песен
Уничтожим подлецов и т. д.)

и попались из нашего лубочного ящика в руки жандармов. Правда, больше решительно ничего компрометирующего не нашли, что и занесли в составленный акт.

«Синие вороны» с тем и уехали, обязав меня подпискою явиться на другой день в 11 часов утра в III отделение. Все они удалились из нашей квартиры, и мы уже вздохнули свободно, радуясь, что никого из нас не арестовали.

Но радость наша была непродолжительна.

Очень скоро в квартиру мою вновь вернулся начальник загородной полиции с околоточными и потребовал от моих гостей пред'явить ему их виды. Вид оказался с собой только у Теодоровича. А так как у Филиппа и Тихомирова видов не оказалось, то начальник загородной полиции пригласил их следовать за ним. Филиппа он отправил с околоточным на квартиру, где

у Филиппа в сундуке был паспорт, а Тихомиров, заявивший, что квартира его на Петербургской стороне и что паспорт его находится в этой квартире, был отправлен в карете с каким-то стройного вида господином на Петербургскую сторону на несуществующую тихомировскую квартиру. Стройный господин оказался агентом сыскного отделения.

Сидя в карете, Тихомиров раскидывал умом, нельзя ли ему каким-нибудь образом дать тягу? И решил он, что если его повезут не через Николаевский мост, а через Неву прямо по льду, то на Неве он попытается выпрыгнуть из кареты и, пользуясь темнотою ночи, скрыться в тех глыбах льда, которые нагромождаются на Неве во время зимнего ледохода из Ладоги.

План, не особенно осуществимый и по существу, не был приведен в исполнение еще и потому, что карета направилась на мост, а не прямо на Неву. Тогда, видя бесполезность дальнейшего путешествия в карете, он заявил агенту сыскной полиции, что он не Тигрович, а Лев Тихомиров и что никакой квартиры на Петербургской стороне у него нет.

— Мы это знаем, — ответил преспокойно агент и приказал кучеру поворачивать и везти в сыскное отделение, коим заведывал известный в то время Колышкин. Оттуда Тихомирова отправили в III отделение.

На другой день после обыска я отправился с Ларисой в город, зашедши по пути к Стаховскому и Борисевичу, чтобы узнать, не было ли в эту ночь обыска и у них. У них обыска не было. На площади перед Николаевским вокзалом мы простились с Ларисой, условившись, что она пойдет к Корниловым (три сестры Корниловы — Вера, Александра и Любовь — были членами кружка чайковцев) и будет ждать там моего

возвращения, а я отправился прямо в III отделение, куда обязался подпискою явиться в 11 часов утра.

Пришел я в III отделение довольно рано: не было еще 11 часов. Меня пригласили в отдельную комнату когда я заявил им, что я приглашен явиться в III отделение к 11 часам. В этой комнате я просидел в ожидании, что меня позовут на об'яснение, до 3 часов дня. В эту пору года в Питере к 3 часам уже темнеет. Я уже подумывал уйти, чтобы притти попозже, но оказалось, что меня припечатали и не выпускают. Наконец в 3 часа я был приглашен в соседнюю комнату, где за столом сидели майор Кононов и товарищ прокурора судебной палаты Масловский.

На столе перед Масловским лежала кучка, штук с десяток, книжек и несколько рукописей. Мне были пред'явлены те и другие. К моему величайшему огорчению, я узнал, что в квартире моих учеников, живших вне артели (Савостьянова, Заозерского, Гришина и Моисеева), а также в той небольшой артели, где жил мой ученик Степан Зарубаев, был произведен в прошлую же ночь обыск и там найдены у Зарубаева книжки, а в квартире других моих учеников — рукописи в сундуке Заозерского и Севостьянова, в их белье. Книжки были цензурные, как, например: «Дедушка Егор», «О земле и о небе» Иванова, «О силах земных»—его же, рассказы из русской истории Петрушевского, Разина и т. п., но рукописи были нелегального содержания: сказка «Илья Муромец», песни—«Барка», «Разговор царя с народом», «Свобода-свободушка»; при чем «Барка» и «Разговор царя с народом» были писаны моею рукой, хотя и печатными буквами.

Известие, что у рабочих был обыск, и еще более то, что у них найдено, несколько меня озадачило

и расстроило. Я, впрочем, порешил отпираться пока от всего, а потому на вопрос Масловского, что я могу сказать о том, что найдено «у ваших учеников», я заявил, что решительно ничего не могу сказать и, как попали книжки и рукописи к рабочим, решительно об'яснить не могу. Что касается остальных рабочих, то я их вовсе не знаю, а с Зарубаевым, Заозерским и Савостьяновым познакомился случайно в трактире «Рожок» за Невской Заставой.

Мои показания показались Масловскому и Кононову неудовлетворительными, и они постановили меня арестовать. Я был препровожден под конвоем жандармского офицера в одиночное заключение.

Глава семнадцатая

Я ОСНОВАТЕЛЬНО УТОПЛЕН

В III отделении у нас оказался один большой приятель солдат-жандарм, хохол (увы, среди жандармов было очень много хохлов), прислуживавший в одиночных камерах. Меня посадили в нижнем этаже, в самую угловую камеру, в которой дверь не была, как в других камерах, сплошной из дерева, с отверстием для глаза часового и с форточкой, а, напротив, она была наполовину стеклянная. Но из этой двери, помещавшейся в нише, кроме противоположной сплошной стенки коридора и часового, когда он проходил мимо, я ничего больше видеть не мог.

Дней через пять после ареста моего случилось так, что я к поданной мне с утренним чаем маленькой франзоле не прикоснулся, так как по утрам я вообще мало ел.

А чай подавали по очереди, смотря, чье было дежурство, то приятель-жандарм, то жандарм недруг (жирный, как кабан, тоже хохол!) В этот день дежурил приятель.

И вот, вдруг я вижу, что в дверной нише появился приятель и, оглянувшись в коридор, начал через стекло двери показывать мне знаками и с несколько гневным выражением лица, чтобы я ел франзолю. Я смекнул, что это не спроста, так как, еще будучи на воле, знал, что в III отделении у нас был приятель.

Действительно, я взял франзолю, и—о радость!—в ее мякише была воткнута записочка от Лары с кусочком карандашного графита. В записочке сообщалось, что Стаховский и Борисевич арестованы, а также арестованы и мои ученики, как жившие отдельно, так и Степан Зарубаев, и что все они показывают на меня и на Стаховского как на своих учителей и что взятое и них было дано им нами. При чем никого больше — ни Тихомирова, ни Лары, ни Сони, ни Рогачева, ни известных им заводских рабочих — они в своих показаниях не припутывают.

На другой день я был в бане, выстроенной во дворе III отделения; в бане я находился под надзором нашего приятеля. Здесь приятель дал мне бумажку, и я написал записку Стаховскому, сидевшему, как и Борисевич, в III отделении. Я предлагал Стаховскому показывать, что мы вели пропаганду с ним самостоятельно и организовали домашние школы, в которых и обучали рабочих; всякую связь с каким бы то ни было кружком отрицать. Так мы и повели дело.

После трех недель ареста при III отделении я был препровожден в Петропавловскую крепость, и, как кажется, тогда же были увезены туда и Стаховский

и Тихомиров, которого мои рабочие совсем не коснулись в своих показаниях, хотя он был им прекрасно известен и занимался с ними, как и я.

Я мало говорю в своих воспоминаниях о Льве Александровиче Тихомирове. Мне говорить вообще о нем больно. Но он заслуживает того, чтобы о нем, о Тихомирове 70-х и начала 80-х годов, рассказать русскому обществу. Это был крупный человек, это был выдающийся борец за народную свободу. Он стал потом мракобесом...

В феврале 1874 года я из крепости был привезен в судебную палату, где член судебной палаты Гераков, под надзором прокурора судебной палаты Фукса или его товарища Масловского, должен был производить предварительное следствие, после того, как дознание о нас было кончено в III отделении и передано в судебную палату.

Оказалось, как мы того и добивались, что меня, Стаховского и Тихомирова с нашими учениками-рабочими выделили в особое политическое дело. (В то время делами по государственным преступлениям ведала еще судебная палата). За это время, с ноября 1873 г. по март 1874 г., были арестованы и моя жена, и мои рабочие, и Стаховский, и Борисевич; но все они, кроме Стаховского, были выпущены на свободу Гераковым, как только дело очутилось в его руках и он с ним ознакомился, и они все в качестве обвиняемых не привлекались.

Я и Стаховский показали, что мы, как недовольные существующим порядком и возмущенные тяжким положением народа, его невежеством, бедностью и бесправием и находя, что изменить все это к лучшему возможно лишь при помощи самого народа, решили

действовать непосредственно на народ путем его обучения, просвещения и возбуждения в нем сознательного отношения к своему положению. Для этого мы знакомились с рабочими, устраивали школу, читали с ними книги, растолковывали им явления природы, знакомили с историей своей и чужой и разбирали существующее положение народа, — и действовали мы совершенно самостоятельно, ни с какими сообщниками дела не имели.

В марте 1874 года Гераков вызвал меня из крепости и об'явил мне, что следствие по моему делу окончено и что Тихомиров по этому делу освобожден. Мне было дано для прочтения все следственное дело, чтобы я, ознакомившись с ним, решил, не надо ли мне что-либо добавить.

Оставшись со мной на несколько минут глаз-на-глаз, Гераков мне сказал: «Самое худшее обстоятельство — это стихи, взятые в черновиках у вас и у рабочих. Хотя эспертиза и признает почерк несколько похожим на ваш, но является подозрение, что может быть автор их и другое лицо, бывавшее у вас. И жандармы будут, вероятно, доискиваться его».

Прочитав следственное дело, я увидел, что показаниями посторонних рабочих я так основательно утоплен, что каторги мне никак не избыть, а потому я решил, что не стоит отрицать и свое авторство стихов. Я добавил в своих показаниях, что я—автор стихов, взятых и у меня и у рабочих.

Гераков затем об'явил мне, что следственное дело он передает прокурору судебной палаты для составления обвинительного акта. На мой вопрос о времени суда Гераков сказал, что суд, вероятно, будет в конце мая и не позже июня во всяком случае. В качестве

обвиняемых будут фигурировать, по его словам, только я, Стаховский и Тихомиров, который отпускается из тюрьмы с подпиской о невыезде из Петербурга до окончания дела. С тем я и был отправлен в Петропавловку обратно, где и стал ожидать с нетерпением обещанного Гераковым скорого суда.

Как потом я узнал, над Тихомировым судьба жестоко посмеялась на этот раз! Его действительно привезли из крепости в судебную палату; Гераков прочел ему постановление об его освобождении из-под стражи с подпиской о невыезде из Питера до окончания дела, чем очень и порадовал Тихомирова. Но радость его продолжалась недолго. Постановление свое Гераков отправил в кабинет к прокурору судебной палаты Фуксу на утверждение, а Фукс возвратил постановление Геракова с надписью. что хотя Тихомиров по нашему делу и должен быть освобожден из-под стражи. но так как он привлекается еще по делу Любавского. возникшему в Москве. то до окончания следствия по этому последнему делу освободить его нельзя. Бедный Тихомиров. от которого счастье было так близко и так возможно, с горечью в душе был препровожден обратно в крепость.

Кстати сказать. в особом присутствии сената, судившем нас, а в том числе и Тихомирова. по процессу 193-х, было об'явлено, что по делу Любавского Тихомиров совершенно не привлекается. Таким образом неизвестно и непонятно, за что же Тихомирова выдержали в одиночном заключении с 12 ноября 1873 г. по февраль 1878 года? Правда. особое присутствие сената освободило Тихомирова без всякого наказания с своей стороны. Но слишком четыре года одиночного заключения по делам. по одному из которых он не должен был

содержаться под стражей, а по другому — совершенно оказывался непричастным,—наказание довольно неосновательное и просто-таки безбожное!

Глава восемнадцатая

В ОЖИДАНИИ СКОРОГО СУДА

В Петропавловскую из III отделения я был привезен в начале декабря 1873 года, просидев в III отделении недели три. Обыскав, раздев предварительно до-нага и нарядив потом в казенное белье, — рубашку, исподнее и чулки, — в серый, длинный, больничного покроя халат, который я подпоясал данным мне длинным, узким, коленкоровым платочком, вместо того, чтоб, как полагалось, повязать им горло, меня препроводили в камеру. Шлепая большими кожаными чирками, в сопровождении подполковника Николая Ивановича Богородского и дежурного присяжного унтер-офицера, я поднялся во второй этаж того здания, куда засаживались подследственные государственные преступники, привозимые в крепость, и был посажен в 54 номер.

Собственная моя одежда была унесена в цейхгауз. При отправлении на прогулку и вообще при всяком выходе из камеры во внешний мир моя одежда приносилась из цейхгауза, и я, облекшись в нее, отправлялся туда, куда требовалось — на прогулку, на свидание, на допрос; по возвращении в камеру я вновь залезал в тюремный халат, а одежда моя уносилась вновь в цейхгауз.

В обоих этажах этого здания были одиночные камеры числом, насколько помнится, не более 65. Здание

было не высокое, построенное многоугольником, внутри которого помещался дворик с деревьями и клумбами цветов и с маленькой банькой для заключенных посередине. У стен этого здания были панели, и по ним, а также и по аллейкам садика возле бани ходили во время прогулки арестованные. Здание было окружено высокими стенами Петропавловских равелинов, и само оно причислялось, кажется, к Алексеевскому равелину.

В этом же здании была и квартира смотрителя подследственного отделения, которым состоял в то время упомянутый подполковник Богородский, через год, впрочем, после моего прибытия в крепость произведенный в полковники. Жил он здесь со своей семьей.

Посадили меня, как я уже сказал, в 54 номер, из которого я только временно однажды был переведен вниз, в другой номер, когда летом ремонтировали верхний этаж. В этом номере я высидел почти два года сначала, да и потом, когда во второй раз я был привезен в крепость уже в 1877 году из дома предварительного заключения, где тоже просидел без месяца два года, то попал в тот же номер.

Камеры в подследственном отделении большие и высокие. По диагонали, из угла в угол камеры, было не более 10 шагов, а поперек не менее 5 — 6 шагов. Камера была так высока, что, став даже на столик, можно было достать только до подоконника, а достать рукой потолочного свода было нельзя. Окно было высоко, с двумя железными рамами, с мелкими стеклами, полукруглое, не выше ¾ арш., и длиною по стене аршин с четвертью. Между рамами внутренней и внешней было пространство не менее полуаршина, и за внешней рамой, в наружной нише окна, была негустая, из толстых

железных стрел. решетка с двумя перекладинами поперек.

Из окна камеры, кроме белой крепостной стены да кусочка неба выше этой стены, ничего не было видно. И поэтому, как и вследствие малого размера окон, в камерах даже верхнего этажа; ближе. так сказать. к небу. было мало света. В камерах же нижнего этажа. из окон которых даже кусочка неба не виднелось, там было и совсем сумрачно.

Только в тех камерах верхнего этажа, которые были обращены не на север. заглядывало на короткое время в ясный день солнышко. В мою камеру оно заглядывало. да и то как-то с'искоса, и то ограничиваясь только подоконником. в моменты, когда оно собиралось на покой, — и мне этот свет казался всегда каким-то усталым и не веселил моей души.

Только под вечер, в пору заката
Луч усталого света блуждал
По окну моего каземата, —
Но недолго, — и вновь исчезал.

Так писал я в одном из моих стихотворений.

Пол камеры был асфальтовый, покрытый желтою краскою, которая почти во всех камерах была стерта в некоторых местах ногами заключенных, в тоске одиночества шагавших из угла в угол.

Так шагать можно было только в одном направлении, по одной только диагонали камеры, по той именно, которую можно было провести от угла по одну сторону двери с умывальником, раковиной и шкафчиком, в котором помещалось ведро для стока воды при умывании, и до одного из углов у оконной стены. По другой диагонали ходить было нельзя, так как тут стояли

кровать со столиком и табуреткой возле нее, да и оканчивалась она в том углу около дверной ниши, в котором помещался стульчак с парашей; и хотя стульчак содержался в чистоте и представлял плотный ящик с закрывавшейся плотно крышкой, но так как параша выносилась только раз в день по утрам. стульчаки издавали вонь, и двигаться по направлению к нему не являлось охоты.

Волей-неволей прогулки по камере совершались только по одной диагонали, почему в обоих углах ее, на поворотах, краска пола была совершенно стерта и в этих углах виднелись большие кругловатые черные пятна асфальта, соединенные между собою весьма заметно вытоптанной дорожкой.

Боже мой! Какие чувства, думы, мечты, грезы, надежды, отчаяние, тоска переживались бедными узниками при протаптывании этих дорожек!.. Они — немые свидетельницы того, как бился и метался здесь узник из угла в угол, охваченный каким-нибудь чувством или думой и не имеющий возможности поделиться ими хоть с кем-нибудь!..

Две стены камеры были обиты кошмой, вплоть до начала потолочного свода; сверх кошмы была натянута грубая парусина, а на парусину были наклеены желтые полосатые обои. Все это было прихвачено сверху и снизу деревянными карнизами — плинтусами.

Стена, в которой была ниша с дверью, да стена с окном не были обиты кошмой. В стене возле двери помещалась кнопка электрического звонка. В сплошной одинарной двери, окрашенной в желтую краску, находилась форточка, в квадратный фут величиною, в которую подавали заключенному пищу и др. предметы. Несколько повыше форточки было отверстие вершка в три длиною и дюйма в три шириною со вставленным

в него стеклом. Из коридора это отверстие закрывалось деревянной пластинкой, которая могла быть поднята и опущена в камеру заключенного.

Не мало досады причиняло заключенным это маленькое узенькое отверстие, в особенности на первых порах сидения. Почему-то чрезвычайно раздражало, когда неслышно подошедший часовой или дежурный присяжный начинали потихоньку приподнимать эту заслонку, которая при этом издавала едва слышный шорох, и затем в стекле отверстия появлялись только два глаза, казавшиеся мне почему-то всегда чрезвычайно глупыми. Этот едва слышный шорох заслонки, эти устремлявшиеся на заключенного два глаза, — только два глаза и больше ничего, — раздражали некоторых так, что они плевали в этот момент в стекло с глазами, если они подходили в процессе шагания из угла в угол к двери, или даже швыряли в дверь книгой, если в это время лежа на постели читали.

Я иногда кричал: «Пошел к чорту! Что ты выпялил на меня свои буркалы?!»

На ночь эта заслонка всегда открывалась дежурным присяжным, чтобы часовые видели, горит ли лампа в камере или нет. По вечерам небольшая лампа вносилась в камеру и ставилась на стол, и заключенный не должен был ее гасить; она горела всю ночь. В том случае, когда лампа почему-либо угасала в камере, часовой тотчас давал знать дежурному присяжному, и тот являлся в камеру и зажигал лампу. В первую ночь я, не зная крепостных правил, задумав спать, погасил лампу.

Через несколько минут явились в мою камеру и зажгли лампу снова, об'явив мне, что гасить нельзя; так как я при свете долго не мог привыкнуть спать, то я

стал устраивать из книг, которые давались мне, экран, дабы тень от этого экрана падала на подушку и защищала меня от света.

Много причиняла раздражения ежечасная игра курантов на колокольне Петропавловского собора.

Куранты вызванивали каждую четверть часа; первую четверть они вызванивали одним рядом звуков, вторую — двумя рядами, третью — тремя, четвертую — четырьмя рядами и после последней четверти начиналось вызванивание известного «Коль славен наш господь в Сионе». И это — каждый час! А в 12 часов дня (да и ночи) вслед за «Коль славен» куранты вызванивали еще и «Боже, царя храни», после того, как после четвертой четверти с крепостной стены громыхала пушка, возвещавшая Питеру о полудне.

Некоторые товарищи жаловались мне, что игра курантов в конце концов причиняла им такую боль нервов, что они, не будучи в состоянии куда-нибудь укрыться от этих проклятых звуков, ложились на кровать, накрывали голову подушкой, чтобы оградиться от звуков, и лежали так до тех пор, пока не прекращалась игра курантов.

Летом, когда вынималась внутренняя рама из окна, эти звуки курантов особенно отчетливо раздавались в камере.

На первых порах они меня не тревожили, я даже их слушал не без удовольствия. Затем, месяца через три, они стали вносить и в мою душу странное беспокойство, и я с нетерпением ожидал ежечасно того момента, когда они перестанут звякать. Но в конце концов я привык и перестал обращать на них внимание.

Каждое утро, после того как один из гарнизонных солдатиков выносил ведро из-под умывальника

и парашу, заходил полковник Богородский, справлялся о здоровьи, брал, если я прочел, книгу для обмена на другую, спрашивал, не надо ли что-нибудь купить. (В крепости разрешалось покупать на свои деньги чай, сахар, табак, закуски и т. п.) Затем приносили чай в двух коричневых глиняных кружках на подноске, на котором лежали два кусочка сахару, булка или калач, или сайка. До того времени, как у меня явились свои деньги, мне выдавались казенные папиросы — 11 штук в день.

Надо сказать, что, попав в III отделение, я по совету приятеля-жандарма начал курить (на воле я бросил курево). Папиросы там подавались тоже приятелем во время его дежурства, и они служили тоже удобным способом для передачи записок с воли.

Напившись чаю, я брался за книгу и лежа читал до обеда, который подавался в час и состоял в будни из двух, в воскресенье и праздники из трех блюд, — на третье блюдо полагалось всегда что-нибудь сладкое.

В первые два года моего пребывания в Петропавловке, до перевода меня в дом предварительного заключения, кормили в крепости не только сытно, но, на мой взгляд, и изысканно. Разнообразие меню было удивительное. Кормили и щами, и борщами, и всякими супами, и жарким, и рыбой, и дичью, и домашней птицей; на третье блюдо давали блинчики с вареньем, вафли, и желе, и кисель, и даже компот из фруктов!.. Для меня, не привыкшего ко всякого рода шикасе-франсье, такие обеды казались просто роскошью!

Подавался обед в оловянной посуде, с оловянной ложкой, ни ножей, ни вилок не полагалось; все твердое нарезывалось кусочками и в таком виде доставлялось в камеру.

Вообще кормежка в крепости была в то время разнообразна и изобильна, — я весьма часто не мог все с'есть. Говорили, будто на содержание заключенного отпускалось тогда до 1 рубля в день. Верно ли это, не знаю, но кормили хорошо.

Но хорошая кормежка не избавляла от мучительной тоски! Весь день, кроме чтения книги, нечего было делать. И эта вынужденная праздность терзала.

Кроме прогулок на ½ часа (пока нас было немного в крепости), прогулок все по одному и тому же дворику, под присмотром трех человек — присяжного унтер-офицера, гарнизонного солдата, стоявшего у ворот, и солдата из караула, — никакого притока живых впечатлений не было. И я почти полтора года только то и делал, что до вечера лежал и читал, а вечером до поздней ночи ходил из угла в угол, мечтал, думал, сочинял про себя стихи.

Писать было нельзя; ни бумаги, ни чернил, ни карандаша крепостной инструкцией иметь не разрешалось. Стихи приходилось держать в уме, чтобы не забыть.

Глава девятнадцатая

СМЫСЛ В КРЕПОСТНОЙ ЖИЗНИ

Из III отделения меня перевели в крепость в декабре 1873 года, и до конца марта месяца 1874 года я не имел о жене никаких вестей. В начале декабря 1873 года она была арестована и тоже сидела в III отделении.

С конца марта в мою крепостную жизнь проник некоторый смысл: у меня явилась цель жить целую неделю — от пятницы до пятницы.

Жене моей, освобожденной Гераковым, было разрешено иметь свидания со мной раз в неделю, и комендант крепости назначил почему-то днем свидания пятницу.

Господи! С каким нетерпением я ожидал теперь пятницы и с какой горечью в душе я возвращался в свою камеру со свидания в пятницу, имея в перспективе целую неделю разлуки с женой, которую безумно любил!

Наступала пятница, и я с утра не имел покоя душе своей! Я бродил по камере из угла в угол, я подставлял табуретку под окошко, становился на нее и слушал, сколько будут бить часы с курантами, как-будто это могло облегчить мучительное чувство ожидания. Я принимался за книгу, но книга не читалась — мысль все время обращалась туда, за двери камеры, и я напрягал слух: не идут ли по коридору, не ко мне ли идут!

Наконец замок щелкал, и полковник Богородский входил, сопровождаемый присяжным унтер-офицером, который нес мою одежду из цейхгауза.

— Ну-с, пожалуйте на свидание! — говорил, улыбаясь своими круглыми серыми глазами, полковник, — улыбки губ его никогда не было видно под густейшими жгутами его седых усов.

Я торопливо одевался и, сопровождаемый полковником и одним из присяжных унтер-офицеров, шел на свидание в помещение, которое находилось в крепости, а не в нашем подследственном здании.

В присутствии Богородского и унтер-офицера происходило это свидание, но оно было без проклятых решеток. Мы садились на маленький диванчик, мы крепко прижимались друг к другу, мы могли поцеловаться. Я мог, сколько хотел, целовать и гладить руку моей жены...

И мы говорили о том, что читали, о родных, о знакомых. Конечно, о делах громко не говорили. Лишь иногда, пользуясь минутой, когда Богородский отвлекался как-нибудь от созерцания нас, — да и сидел он от нас далеко, и унтер стоял от нас у двери на благородной дистанции, — жена сообщала мне отрывочные новости: «арестован Кравчинский и бежал», «Чайковский[67] стал сектантом — бежал в Америку», «Соня (Перовская) на воле», «Сердюков сошел с ума в тюрьме», «начались аресты повсюду» и т. п.

Мы однако злоупотребили доверчивостью к нам начальства и устроили переписку.

Способ передачи друг другу записок был совершенно особенный — через рот при поцелуе! Встречаясь и прощаясь, мы целовались и в этот момент, незаметно для наблюдателей, передавали в рот записочку. Чаще всего при здравствовании Лариса передавала записку мне, а при прощание — я ей.

Выполнение этой задачи было не без затруднений: во-первых, во все время свидания, продолжавшегося на первых порах, когда заключенных было мало, не менее 25 минут, надо было разговаривать и, стало быть, ухитряться говорить чисто (совершенно демосфеновский прием—с камушками во рту); конечно, старался говорить больше тот из нас, у кого не было во рту груза из двух записочек. Во-вторых, у кого были во рту две записочки — одна своя, другая полученная, — тому надо было не смешивать и не перепутать при передаче записки. Кроме того, по возвращении в камеру, во все время раздевания надо было не показать и виду присутствующему при этом присяжному, что во рту имеется нечто. Да и после того, как я оставался один, сразу приниматься за чтение записки нельзя было,

несмотря на все нетерпение узнать, что она в себе заключала, так как я заметил, что после каждого свидания наружная щелочка значительно чаще, чем в другое время, начинает посещаться двумя глупыми глазами неслышно подошедшего соглядатая.

Первая записка, переданная мне в рот женой,—инициатива исходила от нее, — заключала завернутый в нее и кусочек графита из карандаша. Это было необходимо, иначе я был бы лишен возможности отвечать. Записка была написана на папиросной бумаге чрезвычайно мелко и завернута в кусочек свинцовой бумажки, чтобы записка не размокла, и связана тоненькой ниткой.

Для меня было чрезвычайно важно сохранить эти драгоценности — графит и свинцовую бумажку—и уберечь от обыска, несомненно производившегося каждый день при уходе моем на прогулку. По крайней мере мне так тогда казалось, потому что по возвращении с прогулки я замечал, что и постель моя была не в том виде, как я ее оставил, уходя на прогулку, и ящик стола бывал не тщательно задвинут. Но графитик я прятал в шов своего халата, а свинцовую бумажку в один из углов камеры под шпалеру, так что заметить это было физически невозможно.

И свои записки я писал тоже на листиках папиросной бумаги, которую я покупал книжками для курения.

Так мы переписывались с женой не менее года. Переписывались так и другие заключенные, имевшие свидания с женами или с матерями и сестрами. Но кто-то поймался с этим способом переписки, и нам перестали позволять целоваться на свидании и стали раз'единять нас длинным столом, а мне позволяли целовать только руку жены, положенную на стол.

Почти с год, если не больше, я не перестукивался ни с кем из сидевших и не слыхал стука. От Тихомирова и Стаховского я тоже узнал потом, что они долго ни с кем не перестукивались. Дело в том, что на первых порах нашего пребывания в крепости нас было мало, и мы сидели далеко друг от друга; нас отделяло несколько пустых номеров, а мы лишь долго спустя узнали из опыта, что можно было перестукиваться через четыре и даже пять номеров. Притом нижний этаж долго был пуст.

По надписям в некоторых книгах, которые приносились мне из крепостной библиотеки, я узнал, что в крепости сидел мой знакомый студент-технолог Чиков, арестованный по долгушинскому делу [68]. Попадалась фамилия Нечаева, который, впрочем, сидел не в нашем здании. Надписи были сделаны им, лучше сказать — выдавлены, спичкой.

Сидел я и мучительно ожидал, когда же наконец будут меня судить, скоро ли прокурор судебной палаты, которому Герэков передал законченное предварительное следствие по нашему делу, составит обвинительный акт? Сидел я, тосковал, шли дни, недели, месяцы, а суда нет и нет!

Еще незадолго до ареста я ходил к Манасеину [69] советоваться насчет здоровья, так было оно плохо. В крепости же, вследствие отсутствия движения, вследствие хронической тоски и какого-то безнадежного состояния духа, мое уже и без того слабое здоровье стало еще более ухудшаться. Я стал страдать мучительными бессонницами, отсутствием аппетита, запорами и чрезвычайной раздражительностью. Крепостной доктор Виллемс, а иногда Окен, лечили меня какими-то пилюлями, какими-то порошками; но вся эта латинская стряпня мало помогала, и я заметно увядал.

Полковник Богородский, почему-то полюбивший меня, старался, насколько мог и умел, облегчить мою долю арестанта. Видя мою тоску, он заходил не раз ненадолго вечерком в мою камеру посидеть. Притворив дверь, чтобы часовой не торчал на пороге камеры, садился на табуретку и старался, в меру своего уменья, занять меня разговором. Чаще всего разговор шел о нем и об его семье. Мне удалось, когда я временно сидел внизу, сквозь случайно плохо прикрытую наблюдательную щель в двери моей комнаты увидеть через окно коридора, против которого была моя камера, почти весь наш крепостной дворик в то время, когда там после обеда гуляла почти вся семья Богородского: его высокая, толстогрудая, с двойным подбородком жена, его старшая дочь — институтка Смольного института, круглолицое стройное создание, хорошенький кадетик, лет 14, толстенький пузырь лет 10, похожий на отца, и в тележке еще мальчик лет 5, не владевший ногами и глухонемой.

Богородский охотно рассказывал мне о своих детях, так что я знал всю их биографию. От него же я узнал, что у него был еще сын-юнкер, которого я однажды тоже видел, когда он стоял у окна квартиры полковника и наблюдал меня и, вероятно, и других гулявших во дворе поодиночке заключенных. Издали он мне показался очень похожим на Мишу Куприянова [70], и я, давно не видавший одного из любимейших мною людей, все старался пояснее и подольше увидеть похожее на него лицо, но сын Богородского при пристальном моем всматривании в него тотчас прятался за занавеску.

Этот сын Богородского в 80-х годах тоже попал в число государственных преступников и был сослан в Восточную Сибирь. Он устроил сношения между

сидевшими в крепости террористами и волей и попался на этом. За это деяние сына, как кажется, слетел с места и полковник Богородский.

За исключением непродолжительных посещений Богородского и свиданий с женою раз в неделю все время с утра до ночи приходилось проводить мне в молчании, в мечтаниях или за чтением. Ни присяжные унтер-офицеры, ни сторожившие нас часовые не позволяли себе вступать в разговоры с заключенными.

Надо заметить, что караул, стоявший на часах в коридорах, каждый день был новый.

Часовые были и семеновцы, и павловцы в их колпаках, и финляндцы, артиллеристы, моряки, жандармы. Не помню, чтобы были лейб-казаки и кирасиры. И в два первых года моего сиденья в Петропавловке мне удалось поговорить только два раза: с одним артиллеристом (обменялся несколькими фразами) и с одним семеновцем. С этим последним я долго разговаривал ночью, почти все время, пока он был на часах.

Дело было так. Бродил я по обыкновению из угла в угол по своей камере и мечтал. Слышу вдруг тот досадный шорох задвижки дверной щели, который так мучил, и в щели увидел два глаза. Я подошел к двери с чувством раздражения, но, сверх ожидания, задвижка не захлопнулась, и вблизи я увидел в щель смеющиеся глаза, а затем и все лицо солдата.

— Что, скучно, поди, тебе тут? — слышу я вдруг шопот.

— Как не скучно, голубчик. Ведь по целым дням один, и все молчишь, все молчишь! — отвечаю я ему.

Солдат выдвинулся из дверной ниши в коридор, чтобы посмотреть, нет ли кого в коридоре, и затем шопотом проговорил: «Ночью я буду стоять на часах!

Ты не спи, так мы и поговорим. Давно хочу узнать, за что вас тут держут... Сейчас нельзя!» — Он опустил задвижку и отошел.

Вероятно, только страстно влюбленный ожидает с таким нетерпением свидания со своей возлюбленной, с каким ожидал я наступления ночи и свидания с добрым солдатом.

Наконец наступил вечер; была по обыкновению поднята задвижка дверной щелки.

Я стал ожидать. Вот и 10, и 11, и 12 часов пробило на колокольне, а ожидаемого семеновца все нет!

Я начал терять надежду.

Куранты прозвонили и две четверти первого, и я, устав в нетерпении шагать из угла в угол, прилег на кровать и закрыл глаза...

И вот, слышу легкий стук в двери.

А! Пришел!

Я вмиг схватился с кровати и поспешил к двери. И, прижавшись к этой двери, — я — изнутри камеры, солдат — из коридора, — мы пустились в беседу. Я удовлетворил его любопытство; рассказал ему, за что нас держат в тюрьме, чего мы хотим и чего мы добивались на воле.

Перешли на крестьянское житье-бытье. Оказалось, что все помыслы бедного семеновца — в его родной псковской деревне, где у него и мать, и отец, и невеста, и хотя в его семье большой нужды не было—жили, слава богу, безбедно—но кругом большая нужда у народа.

Солдат недоумевал, как это нас держат в тюрьме за дела, которые он осудить не мог; и хотя он и видел, что мы какие-то «особые», не то, что «воры али грабители», а все-таки видно было, что в его душе какое-то неразрешимое сомнение относительно нас было,

В беседе со мной он рад был случаю поделиться и своими мечтами о том, как возвратится домой, как он, женившись, устроится и пр. Но пришла смена, и наша беседа должна была прекратиться. А так не хотелось отходить от двери, от живого человека, стоявшего по ту сторону ее!

Из шести присяжных унтер-офицеров у меня установилась симпатия только с одним, с «харьковцем», как я его называл про себя. Он заговаривал со мной всегда, как только представлялся к тому удобный случай в его дежурство. Я чувствовал, что он расположен ко мне, а симпатия невольно родит встречную симпатию. Остальные пять присяжных унтер-офицеров были недобрые и антипатичные для меня фигуры. Каждому из них я дал кличку. Один был высокий брюнет, с курчавыми волосами и, что величайшая редкость у брюнета, с серыми, холодными и надменными глазами, и относился он ко мне с видимым холодным пренебрежением; я назвал его Николай I. Двух я прозвал финнами. Один из них, брюнетик, франтоватый и шельмоватый, носил у меня еще название фертика. Одного из присяжных унтеров я прозвал лисицею за его ядовито-хитрые белесоватые глаза, с улыбкой, очень напоминавшей мне Рейнеке-Лиса, как я видел на картинке. И последний, которого я назвал просто «солдапятина», высокий, грубый, несомненно способный перервать мне горло, прикажи ему только хоть тот же Богородский.

Я невольно ожидал тех дней, когда дежурил тоже довольно высокий, сухощавый, несколько сутуловатый, с небольшими острыми карими глазами харьковец. Если не всегда, то все-таки хоть когда-нибудь он решался говорить со мной и всегда отвечал на мои вопросы —

о погоде, о том, какого оружия сегодня караул, или не получал ли он весточки из дому из Харькова. От него же я узнал кое-что из его биографии, например, о том, как он работал по нагрузке барж и таскал на своей сутуловатой спине десятипудовые мешки с мукой, несмотря на всю свою сухощавость; жаловался он и на нездоровье свое, — грудь болела шибко, в особенности в непогоду; и приписывал эту хворь тому, что подорвал ее на баржевой работе.

Глава двадцатая

МОЙ СЕРЕНЬКИЙ ДРУГ

Отсутствие физической работы и живых впечатлений чрезвычайно расстраивало нервы, делало душу раздражительной и мнительной. Был со мной, например, такой казус.

От тоски я был рад всякому живому существу, почему я прикормил прилетавших к моему окну голубей, которые между двумя рамами на подоконнике свили гнездо и вывели голубят. Богородский не протестовал против этого, даже и против того, чтобы голуби залетали ко мне в камеру.

Кроме голубей, я прикормил еще и мышь.

Каждое после обеда я оставлял ей у стола и мясца, и хлебца, и рису, словом, что-нибудь из того, что было у меня на обеде. После обеда я ложился на постель и начинал смотреть в тот угол, где была дырочка под нижним плинтусом. В дырочке появлялась маленькая острая мордочка с ушками и маленькими черными глазками, и нюхала воздух. Затем маленький серенький зверек

стремительно пробегал из норки в противоположный угол камеры и оттуда начинал свое путешествие по камере, обнюхивая все попадавшееся по пути — спичку, окурок, перо, вылетевшее из подушки; наконец зверек достигал места у стола, где на полу была приготовлена ему трапеза, и начинал угощаться самым свободным образом.

Месяца три, если не больше, мы жили со зверьком в самых дружеских отношениях.

Я чувствовал какую-то непонятную отраду при появлении в камере моего маленького друга, и иногда ночью, улегшись в постель, я слышал под подушкою у себя шорох и, затаив дыхание, я заглядывал осторожно под край подушки и видел там своего дружка в виде маленького комочка, насторожившего ушки. Но, заметив меня, он стремглав улепетывал во-свояси. Забирался он на постель по краю спущенного одеяла.

Когда выпадали такие дни, что мой серенький друг по каким-либо своим недосугам не показывался в моей камере, — может быть, вероломно изменив мне, гостил у другого заключенного, — мне делалось тоскливо на душе, как это ни смешно.

Как-то в один из дней свидания Лариса пришла в обеденное время, так что когда я после свидания вошел в камеру, я нашел на столе только-что принесенный обед. Пообедав, я по обыкновению отделил порции и для своего маленького дружка и сожителя. Зверек появился, как всегда, поел из брошенной ему на пол снеди и, отошедши недалеко от стола, вдруг свалился на бок, судорожно заерзал ножками, затем вытянулся и околел...

Я кинулся к нему. Но чем я мог спасти своего друга? И ужасная мысль охватила мою душу.

Я моментально вспомнил ходившую на воле россказню, что жандармы отравляют заключенных медленным ядом, подмешивая яд в пищу, постепенно усиливая его дозу. Мышь поела моей пищи; того количества яда, какое было в ее порции, было, очевидно, вполне достаточным, чтобы ее убить...

Несомненно, что меня отравляют.

Сделав такое открытие, я поднял мышь, подошел к электрическому звонку и дал протяжный, тревожный, настоятельный звонок, который заключенные подавали всегда, когда настоятельно надо было видеть дежурного.

На мой звонок очень быстро появился присяжный, которого я про себя звал лисицей, и открыл форточку с обычным вопросом — «что угодно?»

— А вот что, — начал я. — Вот мышь. Она поела остатков от моего обеда и околела. Я думаю, что в моей пище есть яд. Попросите ко мне полковника.

Встревоженно захлопнув форточку, присяжный полетел к полковнику.

Минут через пять, взволнованный и плохо сдерживая раздражение, влетел в мою камеру Богородский и накинулся на меня:

— Что вы это тут выдумываете?! Какой яд у вас в пище?.. Пищей я заведываю! Неужели вы думаете, что я могу травить людей?! Как вам не стыдно!

Но смекнув, вероятно, глядя на меня, стоявшего с мышью в руке, что мое душевное состояние далеко не из сладких, он уже мягко заговорил:

— Ну, как не стыдно! Даром только себя расстраиваете!.. Присяжный, — обратился он к унтеру, — отодвинь стульчак!.. Вот, для вашего успокоения смотрите. В углу белый порошок видите? Это мышьяк. Так много

развелось мышей в камерах, что я решил их травить и насыпал везде за стульчаками мышьяку, — конечно, когда арестованные гуляли. Присяжный, убери мышь и этот мышьяк сейчас же долой!

Я успокоился. Мысль об отравлении меня показалась мне самому нелепой... Но бедного моего маленького друга я лишился.

Тоскливое сиденье без перестукиванья и без всяких сношений с товарищами, с книгою — днем, со своею собственною тенью на стене — ночью, длилось более года.

Желтые стены камеры, превратившиеся в моем воображении в гроб, в который я был заживо похоронен; те же безличные для меня часовые, одни и те же присяжные унтера, все тот же с круглыми глазами, с красной короткой шеей, с бритыми грубыми щеками, приземистый, усатый Богородский, — изо дня в день все одно и то же надоедало до невозможности и с'едало мою жизнь, как ржавчина с'едает железо — медленно и упорно.

Ждал я мучительно суда и не мог понять, почему меня так долго не судят?

Но к этому времени крепость стала набиваться заключенными.

Об этом я узнавал по тому, что по сторонам моей камеры в ночной тишине я уже слышал, как ходили соседи, по тому, что стали ходить на прогулку не каждый день, а через день и даже через два, по тому, что чаще стали раздаваться звонки и щелканья замков у камер. Да и из'записок жены знал я о походе, открытом «опричниками», как называли мы тогда прокуроров и жандармов, против молодежи, двинувшейся в народ с агитационными целями.

Однажды вечером сидел я за своим столиком и читал книгу. Только слышу: то-и-дело раздается настойчивый глухой стук; кто-то простучит известное число раз и приостановится на некоторое время, затем вновь постучит и опять приостановится.

Я подумал, что это не спроста. Стал я считать число ударов: не выйдет ли буква в порядке алфавита? Первый ряд ударов, очевидно, ногой об пол, дал мне букву **к**, второй ряд—**т**, третий—**о**. Получилось слово «кто». О! Какая благодать! Значит можно разговаривать. Я отстукнул в ответ и стал выбивать свою фамилию. И мне было отстукнуто: «Значит понял, товарищ!»

Тогда я стал отстукивать слово «кто». Получил ответ «Аронзон» [71]. Великолепно! Слышу стук дальше. Получается фраза: «Разделили азбуку, шесть строк — пять букв». Превосходно! Значит, живем! Я взял листик папиросной бумаги и получил:

1)	а	б	в	г	д
2)	е	ж	з	и	к
3)	л	м	н	о	п
4)	р	с	т	у	ф
5)	х	ц	ч	ш	щ
6)	ы	э	ю	я	

Первые удары означали строчку, удары вслед за ними — букву в строчке. С неделю перестукивание шло с задержками и с заглядываниями в листик, затем оно шло все глаже и глаже, наизусть, с массой сокращений, что значительно облегчало разговор.

Перестукивание меня воскресило! Не говоря уже о том, что душа ожила, потому что перестукивание вводило меня в общение с миром родных по духу, милых,

хотя и незнакомых, но уже горячо любимых человеческих существ, — душа моя, лишенная столь долгое время живых впечатлений и изголодавшаяся по ним, стала обогащаться и впечатлениями и сведениями о внетюремной жизни; гнет одиночества значительно ослабел; не говоря уже об этом, но перестукивание подняло жизненность моего организма. В первую же неделю перестукивания,—а стучал я сначала, стоя у изголовья кровати, в пол ногою, — у меня явился аппетит, которого я уже давно не испытывал; стали исчезать бессонницы, и я начал спать довольно крепко.

Жизнь сделалась много содержательнее.

На первых порах перестукивание преследовалось нашими тюремщиками. Присяжные унтер-офицеры подкрадывались потихоньку к двери, бесшумно всовывали ключ в замок форточки и, внезапно открыв ее, что называется, накрывали увлекшегося своеобразной беседой узника.

Вслед затем докладывалось полковнику, который прибегал взбешенный, грозил разными репрессиями. карцером, отнятием прогулок, книг, свиданий.

Меня улавливали главным образом два присяжных унтера: тот, которого я назвал про себя лисицею, и финн-фертик. Богородский являлся и, несмотря на расположение ко мне, уговаривал не нарушать крепостной инструкции, грозя в противном случае доложить коменданту, что должно было повлечь за собою отнятие свиданий с женой — лишение это было бы для меня очень тяжким.

Но разве можно было замиравшему человеку отказаться от представившейся возможности жить?!

И перестукивания продолжались. К чести Богородского надо сказать, ни к каким репрессиям он не

прибег. По крайней мере, что касается лично меня, то унтера перестали меня улавливать, а Богородский, зашедши однажды вечером, заметил мне:

— Ну что, все перестукиваетесь?

— Перестукиваюсь, полковник! Грешен! Да ведь жить хочется! Неохота помирать от тоски.

Он только покачал головой, улыбаясь своими круглыми глазками.

Глава двадцать первая

РАБОТА И ЧТЕНИЕ

В апреле 1875 года я узнал наконец, почему нет и нет суда надо мною.

Как-то в камеру около полудня вошел Богородский с присяжным, несшим мою одежду, и заявил мне, что я вызываюсь в комиссию жандармского генерал-лейтенанта Слезкина.

В сопровождении присяжного и конвойного я был введен в верхний этаж того же равелина, в нижнем этаже которого давались мне до сих пор по пятницам свидания. Меня ввели в большую комнату и оставили на некоторое время одного. Одно из окон этой комнаты было у самого пола и выходило на Неву; оно было полукруглое и небольшое и из него виднелись через Неву набережная и дворцы. В другое высокое окно виднелась какая-то стена.

Минут около пяти я был один.

Вдруг отворилась дверь, и на пороге появилась фигура жандармского офицера, довольно молодого, бритого, с усами, блондина; пристально поглядел он на

меня своими смелыми, наглыми голубыми глазами, затем затворил дверь и удалился.

Это был, как я потом узнал, штабс-капитан Лесник.

Спустя несколько минут дверь отворилась опять, и на меня смотрел пристально уже новый суб'ект, в военном мундире, с красным воротником; это смотрел своими небольшими темно-серыми глазами, несколько как бы усталыми, горбоносый, с опущенными усами жандармский полковник Новицкий. Посмотрел он на меня и молча удалился. Дверь снова закрылась.

«Что сей сон значит? — подумал я. — Придут, как гоголевские крысы, поглядят и уйдут прочь!»

Наконец вновь появился Лесник и пригласил меня следовать за ним. Я был введен в одну из комнат, расположенных по обеим сторонам того коридора, по которому мы шли с Лесником. Здесь стоял стол, за которым на одном конце сидел полковник Новицкий, а на другом, визави с ним, сидел молодой человек в штатской форме, с синими очками на носу, бритый и несимпатичный. Это был товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда Шубин, прикомандированный на этот раз в штаб прокурора Саратовской судебной палаты Жихарева.

Меня пригласили сесть за стол. На столе лежала изрядная кучка книжек и брошюр. Указывая на эту кучку, Шубин заявил, что эти книги и брошюры в количестве 40 экземпляров взяты у моего ученика рабочего Степана Зарубаева при аресте его в его родной деревне в Тверской губ., куда он, после того как был выпущен из тюрьмы в 1875 году, отправился с целями пропаганды.

Но вопрос о том, откуда он, Зарубаев, получил эти книжки, тенденциозные, противоправительственного

содержания в большинстве изданные за границей, Зарубаев сказал, что их дал ему учитель Синегуб и что при первом аресте в Петербурге они не были у него найдены, потому что хранились в ящике, зарытом во дворе в землю, откуда он их извлек после выхода из тюрьмы.

Я никогда такого количества книг и брошюр Зарубаеву не давал, да и знал наверняка, что те книжки, которые я давал Зарубаеву, у него были отобраны при первом обыске и мне их показывали на дознании. Поэтому я категорически отрицал показание Зарубаева и заявил, что Зарубаев врет на меня. Я по заглавиям книг увидел, что эти книги даже не были изданы и не могли быть изданы в бытность мою на воле. Тут были: «Сказка о четырех братьях» Льва Тихомирова, которую он писал на моей квартире и только весьма незадолго до моего ареста ее кончал в рукописи; тут была «Хитрая механика» [72], о которой я никакого представления не имел и которую я только тут в первый раз увидел; тут были Наумовские «Еж», «Мирской учет» и «Юровая» [73] — первые две в 1873 году были журнальными статьями в «Отечественных Записках», и я оттуда читал их рабочим, а об «Юровой» я и понятия не имел. Были и другие книжки, о которых я тоже ничего не знал и не слыхал. Об этом я заявил, т. е. указал, что многие из книг не были изданы отдельно, а другие ходили в рукописях в бытность мою на воле и поэтому дать их Зарубаеву в заграничном издании я физически не мог.

Я предложил Новицкому и Шубину, чтобы они обстоятельно расследовали, когда именно изданы эти книжки. Моим уверениям и совету не придали, конечно, никакого значения и снабжение Зарубаева 40 экземплярами тенденциозных революционных книжек сочли за главное основание для привлечения меня к большому

делу, — к сообществу, раскинувшему свои сети по всей империи, по всему «отечеству», спасителями которого явились на этот раз прокурор судебной палаты—огромный Жихарев — и шеф жандармов, генерал-ад'ютант, почти карлик — Потапов.

Вот почему я не мог дождаться суда, обещанного Гераковым, по делу, следствие по которому он закончил и которое он передал для составления обвинительного акта прокурору. Мое и Стаховского дело пристегнули к большому делу, благодаря показанию Зарубаева. Такие же книжки, какие были взяты у Зарубаева, находились у массы других лиц, подвергавшихся обыскам и аресту в продолжение 1874 года. Это указывало властям на якобы общность злоумышления.

История же с показанием Зарубаева была такова. После того, как Зарубаева выпустили в 1874 году из тюрьмы, при чем он узнал, что следствие по моему делу кончено и что месяца через два—три будут судить меня, он поселился снова за Невской Заставой. Здесь он столкнулся с одним из членов Долгушинского кружка, бывшим студентом технологического института и моим старым знакомым Чиковым. При от'езде Зарубаева в деревню летом 1874 года (т. е. через ½ года после моего ареста) Чиков снабдил его упомянутыми выше 40 книжками для пропаганды, с которыми он и был арестован во второй раз в августе или в сентябре.

На допросе он на вопрос, откуда у него эти книжки, указал на меня, полагая с полной уверенностью, что со мной давно уже власти покончили и что я, Стаховский и Тихомиров давно осуждены и пребываем в местах злачных. Таким указанием на лицо, которое уже осуждено, Зарубаев прекращал дальнейший разговор об этих книжках на допросах и дальнейшие старания

разузнать, кто именно дал ему эти книжки. О том же обстоятельстве, что Чиков арестован и, будучи переведен из крепости в Литовский замок, успел там ко времени ареста Зарубаева померeть от скоротечной чахотки, Зарубаев не знал. В результате получился как бы невольный с его стороны оговор меня, что его, беднягу, очень мучило. Когда нам уже пришлось встретиться на суде и об'ясниться, я успокоил его, что не одни эти книжки виноваты, а и показания других лиц по нашему процессу.

С апреля 1875 года жизнь моя в крепости изменилась. Сьидания давались уже не в присутствии полковника, а в присутствии товарища прокурора Шубина или штабс-капитана Лесника, и не там, где раньше, а в тех помещениях, где производилось дознание комиссии ген.-лейт. Слезкина. Переписка с женой через рот прервалась, и так как нужды в папиросной бумажке уже не было, то я бросил курить и с этого начал перемену в повседневном режиме.

Я положил себе ежедневно часа два по утрам заниматься гимнастикой, которая, впрочем, состояла главным образом в махании руками в различных направлениях, и в этом махании я достиг того, что мог, не сходя с места, сделать более 9.000 взмахов.

Кроме того, я выпросил у Богородского разрешение мыть пол в своей камере, а также и в пустых камерах. Сказать по правде, полы были страшно запущены, слои грязи покрывали их; пыль на стенах и на карнизах лежала толстыми слоями. Если бы не еженедельная баня (на первых порах, впрочем, когда нас сидело мало; потом стали водить реже) и не еженедельная смена белья носильного и постельного, в таком грязном помещении дело без паразитов не обошлось бы.

Богородский охотно разрешил мне мойку полов, для чего мне были даны и тряпки.

Дня четыре я смывал насохшую грязь с пола и нижних карнизов, пока не достиг того, что пол моей камеры, карнизы, подоконник, стульчак и деревянный шкафчик под умывальником были, что называется, идеально чисты. Раковина умывальника была всегда смыта, медный кран сиял, стены камеры обтерты сухой тряпкой от пыли. Каждый день вытирал я мокрой тряпкой пол и все деревянные части моей камеры.

Вид моей камеры даже Богородского приводил в умиление, и он как-то в присутствии доктора, указывая на чистоту моей камеры, сказал:

— Вот, посмотрите, доктор! Настоящая тут барышня живет! Чистота-то какая!

Перемыл я полы и во многих других камерах. Помню, поразила меня своей необычайной грязью и запущенностью камера, где сидел несколько месяцев Рабинович[74] (молоденький юноша, привлекавшийся по нашему делу, чрезвычайно способный, умный, с большой памятью; он сошел с ума в Восточной Сибири). И чего только не было притоптано и приклеено к полу этой камеры—и окурки, и спички, и перья, и крошки хлеба, и булки, и засохшие плевки. Несколько дней я бился над этой камерой, пока привел ее в надлежащую чистоту.

Перестукиванье, маханье руками и мытье полов приводили к тому, что я ел и спал превосходно. Нервы мои укреплялись. Тоска почти совсем меня покинула. Кроме того, мне было разрешено приобретать молоко, и Богородский устроил это: я имел к обеду каждый день стакан очень хорошего молока.

И ко времени перевода меня из крепости в дом предварительного заключения я из захиревшего, исху-

далого неврастеника, желтого по цвету лица, вялого и снедаемого тоской до мысли о самоубийстве, превратился в юношу бодрого, почти жизнерадостного, с хорошим цветом лица. Так что товарищ прокурора Шубин, видевший меня в апреле и мае 1875 года на допросе и на свидании в крепости, увидев меня затем в доме предварительного заключения, тоже на свидании с женой, заявил мне, что он просто поражен переменой, происшедшей во мне за это время, с мая 1875 года по начало 1876 года. «Я,—говорил он,—видя вас в крепости, был уверен, что вы умрете!»

Но «бог не захотел — и свинья не с'ела», — и я остался живехонек до днесь!

За время сидения в крепости я заново переучил гимназический курс математики, настолько изучил французский и английский языки, что довольно свободно прочел «Ventre de Paris» («Брюхо Парижа») Золя [76] и маленькую историю Англии Диккенса. Кроме того, прочитал я массу книг. Я прочитал что было по-русски Брема [76], Милля, «Капитал» Маркса (Политическую экономию Милля и «Капитал» Маркса я прочитал вторично, так как был уже знаком с ними на воле); налег очень на историю и по русской истории я прочитал все, что было в крепостной библиотеке (а это был самый лучший ее отдел) — из Костомарова, Соловьева, Сергеевича, Хлебникова, Бестужева-Рюмина и др., всю историю средних веков Стасюлевича, не говоря уже о тех книгах, которые приносила мне с воли жена по различным отраслям знания и по беллетристике.

Первые полтора года сидения я ничего больше не делал, как только читал и читал.

Я перечитал все старые номера журналов «Вестник Европы» [77] и «Дело» [78], какие только нашлись в кре-

постной библиотеке; прочитал даже несколько разрозненных номеров какого-то медицинского журнала.

Продолжал я читать и потом, когда представилась возможность перестукиваться, а в доме предварительного заключения переписываться с товарищами. И надо правду сказать, на воле я никогда столько не прочел бы, сколько в тюрьме, и, что всего главнее, прочитанное невольно продумывалось, так как отсутствие впечатлений делало прочитанное почти единственным материалом для мысли. Жизнь не давала бы такой возможности сосредоточиваться на прочитанном материале, какую давала тишина одиночества и тоска по впечатлениям и событиям.

И как было бы тяжко одинокому в четырех стенах без такого друга и спасителя, как книга!

И если бы я обладал от природы более выдающимися способностями памяти и ума, то по выходе из тюрьмы я был бы энциклопедически образованным человеком после прочтения в крепости и в доме предварительного заключения такой массы книг как по различным отраслям человеческого знания, так и по художественной литературе. К моему огорчению я не сделался таковым, но и тем, что смогли удержать и усвоить мои способности, я обязан тюрьме.

Глава двадцать вторая

МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Во время моего сидения в крепости я удостоился посещения великого князя Николая Николаевича старшего и шефа жандармов Потапова.

Однажды дверь моей камеры растворилась, и после того, как она несколько мгновений простояла открытой, в ней появилась высокая фигура великого князя. Он вошел, что называется, царскою походкою, переставляя ноги, не сгибая их, в военном картузе на голове, которого не снял во все время разговора, несмотря на то, что в камере была икона.

Вслед за ним, перескакивая то на одну, то на другую сторону князя, вошел в комнату небольшого роста офицер с серебряными аксельбантами и такими же погонами, его ад'ютант, граф Шувалов, тоже не снявший картуза, вероятно, из подражания великому князю.

За этими двумя, с каким-то растерянным видом, вошел согбенный седой старичок с добродушным лицом, наш крепостной плац-майор, а за плац-майором Богородский, который, как вошел, остановился возле умывальника, так и остолбенел с руками по швам, с круглыми неподвижными глазами, устремленными в пространство.

Дверь притворилась.

Князь и Шувалов подошли к моей койке, на которой я сидел с книгой в руках.

Я поднялся.

— Кто? — задал мне вопрос князь.

— Фамилию мою угодно вам знать или звание? — в свою очередь спросил я князя.

— Фамилия?

— Синегуб.

— Кто?

— Дворянин.

— Давно арестован?

— Скоро год.

— За что?

— За пропаганду среди рабочих.

— Что же говорил рабочим?

— Говорил об их тяжелом положении и о причинах этого безрадостного положения.

— И говорил, конечно, что все начальство виновато?

— Нет, не одно начальство. Причин тяжелого положения народа много.

— И книжки читал?

— Да, читал и книжки.

— И все запрещенные, все запрещенные! — вмешиваясь в разговор, произнес черноглазый и с видимым недоброжелательством ко мне Шувалов.

— У моих учеников не взято ни одной запрещенной книжки, — ответил я.

— Отец есть? — прервал нас князь.

— Есть.

— Служит?

— Нет.

— Служил?

— Да.

— Где?

— В военной службе.

— Где?

— В уланах.

— Где?

Я поколебался: что же отвечать на это последнее «где»? И наудачу ответил:

— Он участвовал в турецкой войне 28 года.

— Старик?

— Да, за восемьдесят.

Князь повернулся. Плац-майор и Богородский выскочили из камеры.

Распахнулась опять дверь.

Князь вышел, но, остановившись в дверях, бросил вопрос еще:

— Когда арестован?

— 12 ноября 1873 года,— ответил я, и дверь закрылась.

Князь был высокого роста, стройный и в картузе, его лицо было куда красивее, чем на карточках, где его портит скошенный лоб. Красивые большие голубые глаза с оттенком грусти были устремлены почти во все время разговора на окно моей камеры, два раза взглянули эти глаза и на меня, как мне показалось, взглянули не злобно, без высокомерия. Да и в тоне разговора, несмотря на более чем странную отрывочность вопросов, без местоимений «ты» или «вы», ничего недоброжелательного не слышалось. И это посещение великого князя не оставило во мне никакого неприятного впечатления и не испортило мне душевного настроения. Напротив, как неожиданное событие в моей столь бедной событиями тюремной жизни в одиночке, оно было живым впечатлением для меня.

И я, ходя в этот день из угла в угол моей камеры, воспроизводил в своем воображении во всех деталях это неожиданное посещение великого князя.

Совсем другое впечатление оставило после себя посещение шефа жандармов Потапова...

Я ходил по обыкновению из угла в угол и замечтался до самозабвения.

Проносилось в моем воображении детство, со всею его горечью в школьной жизни, с большой заброшенностью и в физическом и в духовном отношении. Тем с большею отрадою останавливалась мечта на тех моментах детства, которые были отмечены лаською счастья и теплотой людской.

И вот на этот раз я в мечтаниях своих прожил со своим отцом, которого в детстве глубоко любил и которого, несмотря на всю разницу наших мировоззрений (он — крепостник, дворянин, гордящийся «белой костью», я — революционер, народник), и потом всегда невольно любил, и беспредельно добрая душа которого всегда меня пленяла. Мне кажется и до днесь, что более доброго и мягкого человека я не встречал больше на своем жизненном пути.

И вот в ту минуту, когда я любящею мечтою жил со своим отцом и в своем шагании отошел от двери к противоположной стене камеры, дверь отворилась, и ко мне быстро подошел маленький, черненький, с черными, подернутыми блеском какой-то злости, глазами, генерал, на погонах которого стояла буква «А. II».

Я, еще не стряхнувший с себя мечтательно любящего настроения, скрестив руки, смотрел сверху вниз на этого маленького генерала. Он был ростом не только меньше меня, но даже меньше Богородского, который в это время стоял навытяжку у двери.

— Как ваша фамилия? — спросил, глядя на меня своими злыми глазами, генерал.

— Синегуб.

— А звание ваше?

— Дворянин.

— Вы Чегниговской губегнии? (генерал сильно картавил).

— Нет, Екатеринославской.

— А в Чегнигове нет у вас бгата?

— Кажется, там мой двоюродный брат судебным следователем.

— Вы когда агестованы?

— 12 ноября 1873 года.

— Это за пгопаганду сгеди габочих?

— Да, за пропаганду.

Генерал, глядя в упор на меня, покачал головой.

— А отец у вас есть?

— Да, есть.

— Служит где-нибудь?

— Нет, он — помещик, живет в деревне своей. Он уж глубокий старик! — с любовью в голосе, еще, очевидно, под влиянием предыдущего настроения, ответил я.

— А!.. — Генерал снова покачал головой и, повернувшись, направился к двери; тут он на пороге приостановился и, искривив свой рот в поганую улыбку, произнес:

— Хогош! Хогош!.. Утешил стагика, нечего сказать!—и скрылся.

Дверь захлопнулась, и я, как человек, которому плюнули неожиданно в душу, оставался некоторое время огорошенным в своем углу.

Проклятый маленький генерал отравил мне весь день.

Я шагал по своей камере, и в душе моей поднималась горечь, болезненно мучительная горечь! Я никак не мог себе простить, с чего это я вздумал говорить с ним об отце таким тоном любви, словно с человеком, в котором можно было найти сочувствие этому тону?!

«Вот он, палач, плюнул мне в душу за этот тон! — говорил я себе. — Плюнул, захлопнул дверь и скрылся! Да и плюнул-то, отошедши от меня на благородную дистанцию!»

И долго спустя потом я не мог вспомнить спокойно эту сцену и, когда переживал ее в мечте своей, я надолго портил себе этой мечтой настроение.

Глава двадцать третья

В ПРЕДВАРИЛКЕ

В декабре месяце 1875 года после двухлетнего сидения в Петропавловке я был перевезен в дом предварительного заключения. так как следствие по большому процессу было передано прокурорам. Под наблюдением прокурора саратовской судебной палаты Жихарева, получившего за наше дело — «за спасение отечества» — звание сенатора, и его помощников Шубина, Меркулова, Мясоедова следствие производилось в здании петербургского окружного суда и других судебных учреждений следователем. кажется, если не ошибаюсь, Перфильевым.

В первые дни по прибытии в дом предварительного заключения я был просто убит — так удручающе подействовала на меня обстановка предварилки. Я уже успел привыкнуть к большой высокой камере, без матовых стекол в окне, по которой я имел возможность шагать из угла в угол. что прямо стало моей потребностью. А тут? Камера в 4 шага по диагонали из угла в угол. в три шага шириною. Камера загромождена кроватью. столиком, табуреткой. раковиной умывальника. стульчаком, согревающей трубой и полками для посуды — так что ходить по ней нет возможности. Чтоб хоть несколько свободнее ходить по камере, надо было бы каждый раз опускать столик и табуретку, поднимать кровать, — а это была возня надоедливая и мало дававшая узнику простора. Камера была так низка, что, став на табуретку, привинченную к стене, я мог достать рукой до потолка. Двойная железная

рама в окне была с матовыми стеклами. Правда, она могла быть несколько приотворена сверху на всю длину очень коротенькой цепочки, прикрепленной к ней и к внешнему косяку окна; приотворялась оконная рама для очистки воздуха, если вентиляции при помощи отверстия внизу одной из стен и отверстия вверху над дверью камеры в коридор было недостаточно. В отверстие от приоткрытой рамы можно было видеть кое-что во дворе, если залезть на раковину умывальника, устроенную под подоконником.

Словом, на первых порах я почувствовал себя действительно в гробу, над которым нависал не полукруглый, а в виде крыши свод. После же первого свидания с женой, — свидания в темной клетушке с двумя густыми решетками, которая освещалась сверху через решетку же даже днем светом газового рожка, — после свидания, при котором я не только не мог поцеловать руку моей жены, а даже не мог ясно рассмотреть через рябь решетки ее лицо, я впал прямо в отчаяние.

Пища, которой кормили арестантов в предварилке, сравнительно с крепостной показалась на первых порах просто отвратительной. Каждое утро отворялась часов в семь утра форточка в двери, и надзиратель произносил в нее: «кипяточку!» Желающий пить чай подавал свою оловянную миску или чайник, если имел таковой, и один из двух арестантов (уголовных), возивших по галлереям огромный котел с кипятком, наполнял поданную посуду. Кто имел чай, заваривал и пил чай; кто не имел, обходился кипяточком. На день полагалось три фунта черного хлеба; на обед давалась миска щей или супа, куда опускалась столовая ложка резаного кусочками вареного мяса, а затем — каша гречневая или пшенная. Вечером опять кипяточек. На первых днях

мне не успели еще доставить денег с воли, и я не знал, кроме того, возможно ли в предварилке иметь свои деньги, — поэтому был без чаю и сидел на казенной пище.

Отвратительный черный хлеб, много хуже крепостного, вызывал у меня мучительную изжогу, что еще больше угнетало меня и вгоняло в меланхолию.

Но это состояние длилось недолго. Уже через неделю пребывания в предварилке я увидел, что она заключает в себе много такого, что делало ее неизмеримо ценнее, с моей точки зрения, Петропавловки. Правда, камера была куда более похожа на гроб, чем крепостная, но я был в ней признаваем более человеком, чем в крепости; я сидел в этой камере в своей одежде и в своем белье, а не в арестантском; я имел свой чайник, свой стакан или кружку; я имел у себя свое маленькое хозяйство.

Хотя газ гасили в 9 часов вечера, но я имел право купить свои свечи и сидеть хотя до утра; я имел право не только читать книги, но и писать, так как по правилам предварилки заключенный мог иметь письменные принадлежности в камере — перо, карандаш, чернила, бумагу (эту последнюю—счетом, в тетради, пронумерованной и скрепленной подписью кого-либо из начальников тюремных). На свои деньги я мог заказывать обед у тюремного повара, мог выписывать через надзирателя всякую снедь, а с разрешения доктора даже мог иметь в камере виноградное вино.

С воли для заключенного могли приносить и книги, и одежду, и всякие угощения.

Но всего важнее была полная возможность сношения с товарищами и сношения с волей! Было еще удобство, какого в крепости не было, — это возможность

посещать церковь, где государственных преступников вводили в особые клетушки, из которых они через небольшое, менее получетверти в квадрате, отверстие с решеткой могли созерцать, что происходило в храме. Так как стенки этих клетушек были очень тонки и хорошим гвоздем их можно было легко пробуравить, то это давало возможность нам, пришедшим в церковь, поговорить и пошептаться друг с другом; а из некоторых клетушек через отверстие можно было видеть, при вводе в церковь и выводе из нее, товарища, видеть, правда, на мгновение, но и это давало большую отраду.

Однажды, в то время, когда подкатил к моей камере котел с супом и я, получив мясо, подал в форточку свою миску для супа, молодой арестант, налив мне супу и пользуясь тем, что надзиратель отошел к соседней камере с другим арестантом, разделявшим мясо, бросил мне через открытую еще форточку бумажный шарик, щелкнув ловко пальцами и произнеся почему-то «барон Фитингоф!»

Я моментально поднял шарик и, как только закрылась форточка, я развернул его: это была записка от моего любимого друга Тигрыча (т. е. Льва Тихомирова). Писал он пока немного, но указывал на возможность пользоваться арестантиком при подаче кипятку, обеда или щетки с воском для натирания асфальтового пола камеры, что должны были делать сами заключённые. Впрочем, арестантиками мы пользовались весьма недолго, так как их сменяли постоянно другие, но зато среди младших надзирателей оказались истинные наши друзья и истинные наши благодетели. Они не только передавали записки из камеры в камеру, но носили записки и на волю. Конечно, за это им платили.

Хотя некоторые из них, как, например, Фасюра и моряк Мельников, совершали это и бескорыстно, они от всякой платы решительно отказывались.

Все-таки, несмотря на значительные облегчения по сравнению с крепостным режимом, тоска в конце концов водворялась в душу, и иногда бывали дни, когда решительно не знал, куда себя девать. Все надоедало до невозможности... И это тягостное состояние все чаще и все больше овладевало душой в первый год пребывания в предварилке. Но с наступлением 1877 г. в предварилке совершилось много такого, что значительно оживило заключенных. Мы пережили неожиданные и крупные события, хотя и с довольно трагическим характером.

Глава двадцать четвертая

ДВЕ ПОПЫТКИ ПОБЕГА

В 1876 году в предварилке были совершены два покушения на побег. Я расскажу их так, как я их помню, хотя легко может быть, что в частностях я буду ошибаться.

Выше я сказал, что между младшими надзирателями предварилки у нас были истинные друзья; с их помощью, по инициативе двух выдающихся в революционной среде людей — Сергея Ковалика [79] и Порфирия Войнаральского [80]—были устроены две попытки бегства.

Чтобы можно было осуществить затеянное, надо было выполнить несколько предварительных условий.

Всех галлерей с одиночными камерами было шесть, и четыре из них составляли один ярус, а две — другой, отделявшийся от первого яруса потолком.

Оказалось, что третья галлерея первого яруса упиралась своим балконом в наружную стену предварилки. в ту стену, огромные матовые окна которой выходили на улицу. При этом балкон оканчивался как-раз под одним из этих окон. Окно было створчатым и запиралось на замок, ключ от которого находился всегда у дежурного старшего надзирателя. От середины этого же балкона к той же стене шло колено его. оканчивающееся площадкой. на которой помещается стол и стул. Это—местопребывание дежурного старшего надзирателя.

Над столом висели крупные стенные часы; сюда был проведен электрический звонок из конторы, где пребывали дежурные помощники управляющего домом предварительного заключения. Тут же всю ночь горел газовый рожок; тут же дежурный старший надзиратель (их было два в первом ярусе и два во втором) дремал по ночам на своем стуле в уповании, что один из неспавших троих младших надзирателей всегда успеет его разбудить в случае появления начальства.

На означенное окно обратил свое внимание Ковалик. сидевший на третьей галлерее, и сообщил запиской о своем открытии своему приятелю Войнаральскому. У этих двух энергичнейших деятелей среди агитаторов 1874 года тотчас же зародилась мысль устроить побег. С помощью двух надзирателей: Баранова—на третьей галлерее и Иванова — на четвертой (из жандармов и которого мы с любовью звали «наше золото») они обсудили обстоятельно, как осуществить эту мысль.

Для этого надо было, во-первых, украсть у старшего надзирателя ключ. которым он запирал камеры с государственными преступниками; дело в том. что ключом младших надзирателей можно было отпереть только те

камеры, которые ручкой, приделанной к замку, были заперты на два взвода; камеры же с государственными преступниками запирались еще старшим надзирателем с помощью особого ключа на третий взвод и могли быть отперты только этим ключом. Ключ этот всегда хранился у старшего надзирателя, и только старший надзиратель отпирал наши камеры. Нужно было, следовательно, ловко стибрить у старшего надзирателя ключ, снять с него восковой слепок и заказать по нему на воле соответствующий ключ. Всей душой сочувствовавший Ковалику и Войнаральскому и очень ловкий надзиратель Баранов взялся обделать это и обделал самым превосходным образом. Ключ был готов и передан Войнаральскому, так как он в качестве больного пользовался льготой иметь форточку в двери открытой день и ночь для большей вентиляции и большего доступа воздуха из коридора. Высунув руку из форточки, было легко отпереть ключом камеру.

Во-вторых, надо было отобрать у старшего надзирателя еще и ключ от створчатого окна на улицу, к которому подходила коленом третья галлерея.

В третьих, надо было усыпить в ночь побега снотворным снадобьем дежурного старшего надзирателя и младшего надзирателя второй галлереи (на первой галлерее тогда не было надзирателя, так как там не сажали заключенных, вследствие полной непригодности камер для жилья). Баранов выполнил и эти два условия.

Ковалик и Войнаральский, подготовив все для побега, не хотели воспользоваться возможностью бежать только для себя, а предложили еще нескольким товарищам. Пожелали принять участие в побеге Кропоткин, сильно захиревший в тюрьме Волховский [81], тоже то-и-

дело болевший, Тихомиров, Шишко и Чарушин. Не помню, были ли в этом еще участники. Весьма возможно, что в числе их был еще и Муравский [82].

В одну из ночей, когда на четвертой галлерее был Иванов, а на третьей Баранов, когда пробило два часа, Войнаральский через форточку отпер своим ключом камеру. Я, зная о совершавшемся, сидел близ своей открытой форточки и с замиранием сердца в темноте своей камеры ждал исхода затеянного предприятия.

Войнаральский прошел по четвертой галлерее к камерам Волховского, Тихомирова и Чарушина; спустившись в третью галлерею, выпустили Ковалика и Шишко, со второй галлереи выпустили Кропоткина. Затем вся компания сгрудилась на площадке третьей галлереи под заветным окном. Уже его открыли, уже стали укреплять веревки из полос простыни за перила галлереи... На своей площадке спал на стуле под газовым рожком старший надзиратель Ефимов, угощенный снотворным снадобьем.

Вдруг я слышу, мимо моей камеры пробежал, шепча довольно ясно русское ругательство, «наше золото». Очевидно, что-то стряслось! Действительно стряслось: Ефимов неожиданно проснулся, и так как с его площадки превосходно была видна площадка, где столпились бегуны, то он сразу увидел там неподходящую компанию и бросился туда со всех ног. Дело сорвалось. На подмогу к бегунам ринулись Павлов и Баранов и стали урезонивать Ефимова не поднимать тревоги. Кое-как уломали его, правда, с условием заплатить ему за молчание 500 рублей с ручательством Баранова и Иванова и с условием, чтобы все вышедшие из камер возвратились туда обратно, что с горьким чувством и пришлось выполнить [83].

Ефимов всех их вновь запер своим ключом, но почему-то не смекнул отобрать поддельный ключ, и он остался у Войнаральского.

По получении на воле от жены Войнаральского 500 руб. Ефимов недели через полторы уволился от службы в доме предварительного заключения. Через недели две—три ушел из дома предварительного заключения и «наше золото». Но Баранов остался и, как ни в чем не бывало, продолжал надзирательствовать на третьей галлерее и носить записки на волю. На место Иванова на четвертой галлерее поступил молодой надзиратель Ерофеев, сразу вступивший с нами в дружественные отношения, хотя об устройстве побега кого-либо из нас не дерзал и думать. На третьей галлерее вторым надзирателем, кроме Баранова, поступил новый—молодой, бравый моряк Мельников, развитый и уже сильно задетый «тлетворным» духом. И он не замедлил вступить в дружеские отношения с политическими.

Таким образом на первых четырех галлереях половина младших надзирателей были приятели «политиков». Они носили записки на волю, передавали записки, книги и пр. из камеры в камеру.

Из четырех старших надзирателей только один маленький, седой, усатый Данилов в пятой и шестой галлереях передавал записки от заключенного к заключенному, за что мы выписывали ему табак и чай. Остальные были сущие собаки — шпионы, наушники перед начальством, старавшиеся и сами изображать из себя маленьких помазанников божиих.

Так как поддельный ключ остался в руках Войнаральского, а на третьей галлерее оставался Баранов, то неугомонные Ковалик и Войнаральский не могли успокоиться и не сделать еще попытки бежать.

Действительно, Баранов вновь взялся отпереть заветное окно и усыпить кого надо. И вот, как кажется, в апреле 1876 года[84], в одну прекрасную ночь Войнаральский и Ковалик вышли из камер, подошли к окну третьей галлереи, и Ковалик преблагополучно спустился на панель улицы, зашел за угол и стал поджидать товарища.

Стал спускаться Войнаральский, но, не достигнув сажени полторы до земли, принужден был оторваться от веревки и, подвернув при этом ступню, хромая, спешить за угол. Дело в том, что в тот момент, как фигура Войнаральского скользнула по веревке вдоль стены, в улицу выехала извозчичья пролетка, на которой ехал с вечерки подвыпивший офицер Чечулин. Как только он увидал спускавшуюся из окна тюрьмы фигуру, он поднял тревогу, зовя городового. Раздался свисток, появились еще городовые и по указанию Чечулина бросились за угол, куда скрылся Войнаральский, присоединившийся уже к Ковалику. И, конечно, их, рабов божиих, поймали, и вместе с Чечулиным они очутились в полицейском участке, где, к великому своему отчаянию, Чечулин узнал в одном из бегунов своего хорошего знакомого Войнаральского! Говорили потом, что бедный Чечулин чуть с ума не сошел от горя и сознания того, что он был причиной поимки двух государственных преступников. Ковалика и Войнаральского привезли вновь в дом предварительного заключения, но очень скоро перевели их в Петропавловку.

Вследствие этого побега надзиратели Ерофеев и Мельников, дежурившие в 12 часов в ночь побега, были арестованы по подозрению в устройстве этого побега и из наших сторожей были превращены в наших товарищей по заключению. Их посадили в одиночные

камеры дома предварительного заключения. Ерофеев был этим обстоятельством довольно удручен; Мельников же попрежнему был здоров и весел. Конечно, мы делали все возможное, чтобы смягчить их участь: с воли наши дамы, истинные благодетельницы всех тогда заключенных в доме предварительного заключения, приносили им и деньги и угощения,—и мы делились с ними всем, чем могли. Мы обучили их перестукиванию, привлекли их в свои уже тогда функционировавшие клубы.

Продержав в заключении не более полугода, их освободили, не привлекая ни к какой ответственности, так как никаких доказательств их участия в устройстве побега обнаружено не было, ибо и действительно они о побеге ровнехонько ничего не знали.

Все устраивавший и все знавший Баранов преблагополучно оставался надзирателем и только после второго побега он вскоре перепросился надзирателем в общие камеры, где я видел его еще осенью 1877 года.

Глава двадцать пятая

БОГОЛЮБОВСКАЯ ИСТОРИЯ

За демонстрацию 6 декабря 1876 года на площади Казанского собора, в числе других, был арестован и осужден на 15 лет каторги Боголюбов (Емельянов)[85]. С его именем связана так называемая «треповская история», с которой в свою очередь связан знаменитый процесс Веры Засулич[86].

Треповская история разыгралась в предварилке в 1877 году летом, уже не только после осуждения, но и утверждения приговора над «декабристами», которые

оставались пока в предварилке, ожидая с часу на час перевода их в Литовский замок для отправки в Сибирь или одну из харьковских централок.

Чтобы ясно представить себе все происшедшее во время треповской истории, надо познакомиться с порядками, существовавшими в доме предварительного заключения и прежде всего с его устройством.

Дом предварительного заключения — это неправильный многоугольник. Устроен он так, что стены корпуса его замыкают собою довольно обширную площадку: это его двор, из которого можно было выйти на улицу через одну только арку с воротами. На этот двор выходили окна одиночных камер всех шести галлерей и окна камер общих, а также и окна конторы и лазарета с одиночными камерами. Посреди двора была воздвигнута невысокая башня, от которой, как от центра, были расположены по радиусам своеобразные камеры, узкие у входа их и расширяющиеся в окружности. Узкая часть такой камеры заключала в себе дверь, через которую впускали узника, а широкая — была решетчатая; по бокам же были стены глухие. Крыши эти камеры не имели, и стоявший на башенке, словно пожарный на каланче, надзиратель мог обозревать камеры и мог видеть, что делалось внутри их. Мы называли эти камеры «загонами». Загоны служили местом прогулки для заключенных в одиночные камеры и главным образом для государственных преступников, которых никогда в общие камеры не садили и которые поэтому общими прогулками по правилам тюрьмы не пользовались.

Так как большинство одиночных камер было занято государственными преступниками, главным образом теми, которые привлекались по нашему процессу

(193-х) и которые просидели в одиночках в ожидании суда очень долго (я, Тихомиров и Стаховский сидели с конца 1873 года, другие—с начала и с середины 1874 г., за малыми исключениями), то мы, заключенные, считали себя в праве перестать покоряться арестантской инструкции. Это наше непокорство Леонид Дическуло [57] выразил в такой краткой формуле: «нас законопачивают, а мы расконопачиваемся!» И мы действительно начали расконопачиваться по всем направлениям.

Прежде всего мы нарушили строгое тюремное предписание—не разговаривать друг с другом, и к перестукиванью мы присоединили «клубы».

Со стороны эти клубы могли бы показаться не особенно интересными местами, но для людей, лишенных в продолжение целых годов права и возможности разговаривать с близкими сердцу друзьями и товарищами по «неволе» и по делу, клубы представляли нечто столь привлекательное, милое и драгоценное, что открытие их влило в замиравшие от тоски сердца и души благодатную струю жизни и отрады.

С 6-го этажа до первого шли трубы; по обе стороны каждой трубы располагались стульчаки, колена которых вливались в трубу. Открыв крышку стульчака и промыв его раковину водой, каждые двенадцать одиночных камер могли беспрепятственно разговаривать.

Мы этим воспользовались, и вот группа товарищей, могших разговаривать в одну и ту же трубу, составляла один клуб, другая такая группа — другой клуб и т. д.

Таким образом разговор производился с помощью перестукивания и с помощью труб в клубах. Такой установившийся у нас порядок был воспет Дмитрием Ивановичем Соловьевым, бывшим некогда редактором

издававшегося в 70-х годах небольшого журнальчика «Сияние». Это стихотворение он прислал мне через надзирателя, за подписью «Маркиз дон-Капустос». К сожалению, память моя сохранила только два куплета из этого остроумного стихотворения, которое тут и привожу.

Стук по стенам... стук по трубам...
Немой разговор. .
Заседания по клубам...
В воздухе — топор!
Жизнь без дела и движенья.
В камере мороз...
И желудка несваренье...
И — понос, понос...

Стихотворение это — очевидная пародия на Фетовское «Шопот, робкое дыханье, трели соловья»...

Учреждение «клубов» было крупнейшим нарушением тюремных правил, но начальство сразу же опешило, сообразив, что с «сим злом» ему решительно ничего не поделать. Заключенных—сотни, и, следовательно, сотни соклубистов, — нехватит надзирателей для прекращения заседаний по камерным клубам, тем более, что заседания открывались преимущественно по вечерам, после ужина, когда гасился газ и надзиратели ослабевали в своей бдительности, одолеваемые сном от скуки и бессмысленного торчания на галлерее.

Так как бороться с клубами было физически невозможно, то внутренняя администрация предварилки, поерепенившись сначала, вскоре махнула на клубы рукой и молча признала факт их существования.

Второе крупное нарушение тюремной инструкции проявили мы в том, что поотвинчивали тяжелые оконные железные рамы и поснимали их долой. Это давало нам

возможность не только разговаривать друг с другом сидя на подоконниках, но, что всего отраднее было для нас, мы могли видеть многих из товарищей! В открытые окна мы могли слушать пение, — а у нас были хорошие певцы — Бенецкий, Сергей Жебунев [88], Соловьев, Попов и др., при случае мы могли прослушать вдохновенную речь Мышкина [89].

И с этим злом тюремная администрация поделать ничего не могла.

Заключенные днем снимали рамы, а на ночь снова ставили их на место, вволюшку наиздевавшись и вдоволь наговорившись друг с другом.

Из окна был виден весь двор и башенка с загонами, где, как в клетках зверинца звери, гуляли товарищи, с которыми можно было перемахиваться (вместо перестукивания), а сидевшим внизу можно было даже перекидываться фразами.

Третье нарушение тюремной инструкции заключалось в том, что мы, открыв окна, позаводили так называемых у нас «коней».

«Кони» — это шнурки из мотауза, которые мы провели из окна в окно, от соседа к соседу и вниз, и вбок. С помощью этих «коней» мы могли передавать товарищам решительно все: и записки, и книги, и угощения, получаемые с воли, и одежду.

С «конями» начальство повело сначала упорную борьбу. Оно посылало сторожей с огромными пожарными лестницами обрывать «коней» крючками; во время отсутствия заключенного надзиратели входили в камеру и уничтожали «коней».

Но на место сорванных «коней» появлялись новые, и на глазах у начальства, созерцавшего деяния заключенных из окон канцелярии, мы преспокойно продол-

жали пересылать на «конях» не только мелкие вещицы, но и штаны и сапоги.

Зло нарушения инструкции начинало принимать в глазах начальства слишком большие размеры; у него начала накапливаться досада, но чаша его терпения переполнилась, когда ко всем указанным выше нарушениям инструкции мы присоединили новое.

Обыкновенно мы покорно гуляли в загонах. Загонов было семнадцать, но в загоны выводили гулять одновременно не одних государственных преступников, а и уголовных арестантов, сидевших в одиночках, пока шло следствие по их делам. Уголовных рассаживали по загонам так, чтобы они разделяли друг от друга государственных и чтобы последние не могли во время прогулки перестукиваться и разговаривать через тонкие стенки загонов. В один раз на прогулке в загонах находилось 9 государственных и 8 уголовных.

Мы смекнули, что стоит нам перелезть через решетку загона во двор предварилки, и мы будем гулять вместе, все девять по этому двору, а не бегать взад и вперед в одиночку по короткому загону. Мы могли бы тогда не только издали видеть друг друга, но и пожать руку и обнять друг друга и посмотреть друг другу с любовью в дружеские очи. Мы и стали поступать так: каждого из нас по одиночке надзиратель выводил из камеры, впускал в загон и запирал дверь загона на засов. Затем мы, все девять гуляющих, преспокойно перелезали через решетку загона и начинали гулять вместе. Надзиратель, стоявший на башенке, сладить с девятью человеками не мог; начальство, в лице того или другого дежурного помощника управляющего домом предварительного заключения, приходило, увещевало, грозило взысканиями, но все это ни к чему не приводило: девять

человек гуляли вместе положенные им для прогулки двадцать минут и возвращались спокойно в свои камеры.

В конце концов, как нам казалось, начальство примирилось и с этим злом. Надзиратели просили нас только, чтобы мы заходили в загоны, а там, мол, как знаете. Мы так и делали: в загоны заходили, нас надзиратели запирали, а потом мы перелезали во двор.

Дело шло довольно мирно, пока управляющим домом предварительного заключения был полковник Федоров, человек, как кажется, довольно добропорядочный. Но он, к несчастью, летом отправился в отпуск, а его временно заместил Курнеев, из питерских полицейских.

Он тотчас же доложил о найденных им беспорядках в доме предварительного заключения градоначальнику Трепову, под главным заведыванием которого находился дом предварительного заключения.

И вот утром в один из летних дней 1877 года (в июне или в июле) [90], когда многие из нас, а в том числе и я, сидели на подоконниках, а в загоны была введена партия товарищей, в которой был и Боголюбов, вошел во двор в сопровождении Курнеева и надзирателей сам Трепов, в сером генеральском пальто наопашку.

В то время, как входил Трепов, почти все гулявшие в загонах товарищи успели уже перелезть во двор, и только один почтенный по наружности и спокойствию нрава Кадьян [91] флегматично перелезал через решетку загона.

Трепов остановился. Кадьян спокойно опустился на землю и подошел к остальным товарищам по прогулке. Несколько в стороне от остальных товарищей стоял Боголюбов.

Когда генерал вместе с Курнеевым проходили мимо гуляющих, все, в том числе и Боголюбов, поклонились ему, приподняв шляпы. Трепов прошел дальше по двору. Курнеев на ходу негромко что-то докладывал ему. Надо полагать, об'яснял ему, кто был в числе гуляющих, и, конечно, об'яснил ему при этом, что поодаль от остальных стоявший Боголюбов уже осужден и приговорен к каторге. Я говорю, что надо полагать, что именно было такое указание на Боголюбова, так как генерал, как только выслушал то, что докладывал ему Курнеев, быстро повернулся и прямо направился к Боголюбову.

— Ты как смеешь стоять предо мною в шапке! — крикнул во весь голос Трепов, и не успел Боголюбов опомниться от совершенно неожиданного наскока, как Трепов с криком «шапку долой!» размахнулся правой рукой с целью сбить с Боголюбова шапку. Ударил ли он Боголюбова по голове или Боголюбов, инстинктивно увертываясь от удара, взмахнул в сторону головой, но во всяком разе шапка с головы Боголюбова слетела.

Сидевшие в это время на окнах товарищи видели эту сцену, слышали крики Трепова, многим показалось, что Трепов Боголюбова ударил, и все они, как по электрическому току, крикнули в один раз: «Палач, мерзавец Трепов! Вон, подлец!» Все сидевшие спокойно в камерах, услыхав неистовый крик товарищей, бросились к окнам и, узнав, в чем дело, присоединились к бунту. Крик сотен голосов, стук в железные наружные подоконники, — шум был невообразимый.

Трепов стоял во дворе и бессильно метал злобные взгляды на все шесть этажей предварилки. И когда шум несколько стих, Трепов крикнул Курнееву, указывая на Боголюбова: «Увести его и выпороть!» Боголюбова

подхватили два надзирателя, один из которых подходил по росту Боголюбову под локоть только, и увели его. Вслед за ним удалился Трепов с Курнеевым.

В предварилке поднялся сущий ад. Около трехсот сидевших в одиночных камерах подняли стук в подоконники и в двери камер. В двери, обитые железом, били тяжелыми рамами.

Минут через двадцать—тридцать явился вновь во двор Курнеев и нагло сообщил сидевшим во 2-й галлерее, что Боголюбова выпороли. Ему действительно дали 13 ударов розгами.

После этого известия поднялся новый взрыв неистовств. Кричали, били оловянной посудой в железные подоконники, били рамами в двери, ломали, у кого хватало силы, все, что только могло быть исковеркано и изломано в камерах. Тогда Трепов выслал на заключенных в одиночных камерах отряд городовых.

Поснимав с груди свои номера, городовые под предводительством помощников управляющего Куриленко, Кутайсова и Константиновского и трех старших надзирателей ходили по всем галлереям. Где раздавался стук в то время, как они подходили, та камера отпиралась помощниками или надзирателями, свора городовых врывалась в камеру, и начиналось битье и топтанье ногами заключенного. Избитого выволакивали из камеры и тащили в карцер. Некоторые пострадали очень сильно. Так, арестованный по нашему делу Петропавловский (Каронин) [92] был избит городовыми, которыми предводительствовал Куриленко, и этот последний бил известного писателя по голове коробкой с камерными ключами, когда его вталкивали в карцер. Рабочего Ковалева (по процессу 50-и) избили жестоко, стащив его с подоконника, на который он вскочил, как только

свора городовых появилась на пороге его камеры. Он ухватился руками за железную решетку окна и крикнул товарищам: «братцы, бьют!»

Его ухватили городовые за ноги и стали рвать вниз; руки Ковалева не выдержали, и он с высоты подоконника свалился лицом на раковину умывальника и потом на пол, где его избили так, что из карцера, куда его уволокли, его в тот же день перевели в лазарет, где он и пролежал более недели. Избили и хворого в то время Волховского. Вечный труженик, не могший, кажется, и часу пробыть без работы, он постоянно хворал, в особенности головными болями, и в некоторые дни к этим болям присоединялась абсолютная глухота, так что с ним ни говорить, ни перестукиваться нельзя было. В последнее время перед треповской историей он сидел в самой угловой камере 4-й галлереи и был на положении больного и, если не помещен был в лазарет, то лишь потому, что в лазарете одиночные камеры все были заняты.

День треповской истории был одним из дней абсолютной глухоты для Волховского; он ничего не слыхал. лежал хворый и читал. Что-то ему понадобилось от надзирателя, и он позвонил. В предварилке позвонить можно было только раз, при чем из стены у двери выскакивала дугообразная железная пластинка, по которой ходивший по галлерее надзиратель и узнавал, из какой камеры звонили.

Так как надзиратель зачастую почему-либо звяканья выпадающей пластинки не слыхал и по галлерее не прохаживался, а где-нибудь сидел или беседовал с надзирателем же или заключенным, то, чтобы привлечь наконец внимание надзирателя, позвонивший заключенный начинал стучать ногой в дверь. Так слу-

чилось и на этот раз. Позвонив и подождав некоторое время, но видя, что надзиратель не идет. Волховский, по обычаю, стал стучать ногой в дверь. Как на грех, в это время в том конце галлереи, где был Волховский, проходил отряд городовых под предводительством помощника управляющего Кутайсова. Услыхав стук в камере Волховского, не взирая на то, что Волховский был на положении больного, о чем Кутайсов не мог не знать, он впустил в его камеру городовых. Изумленного Волховского, ничего не ведавшего, что происходило вокруг, больного и на этот раз глухого, схватили городовые за руки и поволокли в карцер и пока вели в карцер, били его по больной голове своими кулачищами. Мне потом этот золотой и редкий по душе человек рассказывал: «И бьют-то ведь, подлецы, непременно по голове, словно это ни на что не годная для человека посудина».

Меня не побили только потому, что в тот момент, когда городовые проходили по галлерее, я, устав от взмахов тяжелой железной рамой при стучании в дверь, в которой я попортил и оконце, и форточку, и железную обивку, сидел на кровати и едва мог отдышаться. Мой же сосед, рабочий Семенов, только-что отдохнувший и принявшийся за стук, был избит и заточен в карцер.

В этот день мы ничего не ели с утреннего чая, и не потому только, что не до еды было, а и потому, что к нашим камерам обеда и кипятка не «подкатывали», так как надзиратели боялись подходить к камерам, по крайней мере те из них, которые не были нашими друзьями. Мы бунтовали до вечера.

Это был день, в который приходили к нам на свидания родные и знакомые. Свидания в это время

давались не только с родными. но и со знакомыми: так Говоруха-Отрок [93] имел свидание с Михайловским [94]. Тихомиров—с Соней Перовской, числившейся тогда его невестой.

Свидания давались уже прямо в камерах без всяких свидетелей и по несколько часов под ряд.

Пришедшие в этот день на свидание не были допущены и, стоя еще на улице. слышали крик, стук и гул. несшиеся из дома предварительного заключения. Узнав о происходившем бунте. они. конечно. способствовали тому. что и вообще об этом узнали в городе.

Вечером товарищи. узнав об ужасном положении товарищей. запертых в карцер.—о Ковалеве и Волховском. нуждавшихся в докторе. о кн. Цицианове [95]. который очутился в ужасном карцере. где он не только задыхался до обмороков. но где через 1/4 часа у него на деснах появились язвы, — откомандировали меня к начальству с требованием освободить товарищей из карцеров, если не всех. то хоть больных. а остальных дозволить нам накормить и напоить; некоторых заключенных томила в карцере жажда. и им не давали воды.

Курнеева почему-то уже не было. и меня. по заявлению надзирателя, вызвал старший помощник управляющего домом предварительного заключения — Бобылевский. заменявший управляющего. Я пред'явил ему требование товарищей. Он обусловливал выпуск товарищей из карцеров прекращением шума. Я ушел. ничего не обещав, так как товарищи не уполномачивали меня соглашаться на какие бы то ни было условия со стороны начальства.

Вскоре. впрочем. мы узнали. что Ковалев и Цицианов — в общем лазарете и им оказана медицинская

помощь и что Волховский, как и другие товарищи (Голоушев[96], Смирнов, Петропавловский, Грачевский[97] и др.), уже находятся в своих камерах.

На другой день мы с утра подняли снова стук. В этот день я получил от Муравского (сидевшего по нашему делу) записку, в которой «дед», как мы его звали, предлагал обратиться к товарищам с советом прекратить бесполезный шум и перестать бить «неодушевленные предметы», а постараться бить «предметы одушевленные» и начать это с Трепова, а кончить помощниками управляющего, которые проявляли особую ревность при избиении заключенных, как, например, Куриленко. Для этого надо было успокоиться на недельку, по крайней мере, и показать, что все вошло в свою норму. Затем несколько человек напишут каждый от себя, как это практиковалось и раньше, заявления градоначальнику о необходимости улучшения пищи или о разрешении иметь инструменты для занятия в камере ремеслом и т. п. Так как на такие заявления Трепов являлся лично в дом предварительного заключения и заходил в камеру к подавшему заявление для выслушания личных об'яснений, то к кому он к первому зайдет, тот и должен неожиданно кинуться на Трепова и чем попало и как сумеет исковеркать его физиономию; после этого начать избиение помощников управляющего. Я нашел план Муравского довольно подходящим, и по соглашению с ним послали через «коней» в этом духе записку за его и моею подписью ко всем товарищам. Не помню сейчас ясно, наша ли записка подействовала так, что тюрьма утихла, или тогда же было получено известие с воли, что «партия, выпоровшая товарища прокурора Поскочина», просит тюрьму успокоиться, так как она берет на себя отомстить

Трепову за его поругание над Боголюбовым и всей тюрьмой. Как бы то ни было, наша тюрьма утихла. Но тюремное начальство не утихло. На четвертый или на пятый день после бунта оно стало обходить камеры, и у кого камеры оказались особенно попорчены в каком бы то ни было отношении, того низводили в камеры на первую галлерею — в камеры полутемные и сырые, равносильные карцерам.

Низвели и меня, несмотря на то, что я это время числился на положении больного. Когда я просидел двое суток в сырой, с заплесневшими стенами камере, у меня очень сильно разболелась правая нога, в роде ревматизма что-то. Я позвал доктора и просил, чтобы он приказал перевести меня, как больного, в сухую камеру. Доктор с сожалением сказал, что он бессилен это сделать, что теперь тюремная администрация никаких снисхождений проявлять не намерена, и посоветовал написать заявление прокурору окружного суда, тоже имевшему отношение к дому предварительного заключения, что я и сделал. На четвертый день меня вызвали к товарищу прокурора окружного суда Платонову, который стал меня расспрашивать о том, что я знаю о произведенном побоище и о заключенных в карцере. Все, что я узнал за это время, я рассказал ему весьма охотно, так как Платонов не скрывал передо мною своего порицания и негодования по поводу поведения Трепова и всей тюремной администрации в совершившейся истории. Тем не менее меня все-таки оставили в камере первой галлереи, ибо, по словам Платонова, «пока» все дело в руках администрации, а не судебной власти. Я понял, почему помощники управляющего Константиновский и Куриленко так нагло и хамски-начальственно держали себя в эти дни.

Наконец на пятый—шестой день сиденья на первой галлерее Константиновский вошел в мою камеру и насколько мог любезно предложил мне выбрать любую свободную камеру в любой галлерее. Я несколько был удивлен: что сей сон значит? Но воспользовался предложением и попросился на шестую галлерею, где сидел в это время Тихомиров, в соседнюю с ним пустую камеру, чтобы поближе быть к своему любимому другу.

Вся любезность тюремной администрации на этот раз об'яснилась очень скоро тем, что по делу о треповской истории было назначено следствие, которое и было поручено следователю по особо важным делам Книриму. Впрочем, следствие это было прекращено, а дело засунуто под сукно, и если бы не Вера Засулич, то никогда бы треповская история не выползла на суд общественный...

Но и план дела Муравского не был приведен нами в исполнение: мы не стали избивать «одушевленные» предметы и бунт прекратили, так как с воли было получено известие, что за нас отомстят.

Вскоре, к тому же, нам, привлеченным к процессу 193-х, были вручены обвинительные акты. С одной стороны, обвинительный акт вызвал, по инициативе «деда», составление опровержения лжи, там нагроможденной, для чего всякий из обвиняемых присылал «деду» свои указания, в чем составитель акта налгал; с другой стороны, акт побудил нас приступить к решению вопроса, как держать себя на суде. Решено было обратить суд в арену ознакомления общества с нашими стремлениями и с тем, как мы действовали, и явиться обвинителями народных врагов. Каждый из кружков, вошедших в состав 193-х обвиняемых — чайковцы, киевляне, одесситы, саратовцы и т. д. — стали с этой

целью готовить речь. Лично я брался за произнесение речи от кружка чайковцев и занялся составлением речи, обдумыванием ее, перепиской по поводу ее с друзьями: Тихомировым, Волховским, Стаховским, Купреяновым, а на воле—с Соней Перовской, которая даже во время процесса не была арестована и на суд приходила с воли.

Глава двадцать шестая

КОМЕДИЯ СУДА

18 сентября 1877 года наконец-то наступил день долгожданного суда! Сначала 193-х подсудимых выводили в суд, заседавший в здании окружного суда, всех вместе, так что мы занимали не только место залы, предназначенное для подсудимых и часть которого носила у нас название «голгофы». но и все места для публики. Для всей многочисленной стражи нашей места в зале не оставалось, и только кое-где торчало из нее по несколько фигур между стенами и местом, где были мы.

На «голгофу» обыкновенно приводили Ковалика, Войнаральского, Рогачева, Рабиновича, Костюрина [98] и еще кого-то.

Пока шло чтение обвинительного акта и совершался привод многочисленных свидетелей к присяге, нас приводили всех 193-х в зал суда, но когда окончилась эта процедура, особое присутствие сената, в распорядительном заседании, порешило разделить нас на 17 групп и начать разбирательство дела по группам.

Это постановление вызвало взрыв негодования у подсудимых, и по возвращении в этот день из суда

между подсудимыми везде по клубам состоялись решения — протестовать против суда. Правда, к протесту пристали далеко не все, но с уверенностью можно сказать, что за протест было никак не менее половины подсудимых. Протест должен был заключаться в заявлении суду, что мы его не признаем и что допущенное им разделение нас на группы нарушает наше право знать все, что происходит на суде, а следовательно, и интересы нашей защиты. Сначала было постановлено не итти на суд, когда явятся приглашать туда, и прежде всего должны были это сделать те, которые входили в состав первой группы. В первую же группу попали, между прочим, все бывшие налицо члены чайковского кружка.

Я отчетливо помню, что было решено возложить заявление протеста на одного из чайковцев; посланный должен был заявить протест от всех подсудимых с требованием оставить нас в покое в тюрьмах и судить нас заочно, как судьям будет угодно. Выбор пал на меня. Я приготовил такую маленькую речь: «Я заявляю особому присутствию правительствующего сената от себя и от всех товарищей, уполномочивших меня на это, что мы не признаем вашего суда, так как вы нарушили наши права и интересы нашей защиты. Мы требуем судить нас заочно и просим оставить нас в наших тюрьмах, где мы столько лет ожидали хотя бы приличного суда — и не дождались».

В день, назначенный для судебного заседания, я, по приглашению тюремных властей итти на суд, вышел из камеры в галлерею и внизу попал в кучку непротестующих, которые шли туда же. Помощник управляющего и надзиратель, выпускавшие меня из камеры, были удивлены, что я без всяких возражений и разговоров

пошел в суд. в то время как большинство из первой группы заявляло о своем нежелании итти в суд и оставалось в своих камерах. Тюремные власти, не зная, как им быть с протестантами, оставляли их в покое, пока из суда не было приказано тащить протестантов в суд силою, если они не пойдут добром.

Когда я пришел в суд, я был введен на «голгофу». На прежних местах сидела публика. На «голгофе» сидели уже Рогачев и Рабинович, которых притащили силою, раньше, чем привели меня. Я заявил протест от себя и от пославших меня товарищей. И лишь окончил я свою маленькую речь, как председатель суда Петерс заявил: «Вон его!» Меня подхватили два жандарма и поволокли, но прежде, чем успели вывести меня за решетку, Петерс крикнул снова: «Вы будете отвечать на вопросы?»

— Нет, я с таким судом не хочу разговаривать.

— Вон его! — заорал Петерс, и меня вывели.

В то время, как меня вытаскивали из залы суда, Рогачев и Рабинович, перевесившись через барьер «голгофы», в свою очередь кричали суду: «Мы присоединяемся к протесту Синегуба! Требуем вывести и нас из суда!» Петерс не обращал на них никакого внимания, пока Рабинович не крикнул: «Вы не судьи, а опричники!», а Рогачев не обозвал суд шемякиным судом. Тогда вывели из суда и их. Из подсудимых женщин, сидевших далеко от нас на противоположной стороне от «голгофы», некоторые (я помню Кувшинскую и Сашу Корнилову) тоже закричали, что они присоединяются к заявленному мною протесту, но Петерс только грубо крикнул в их сторону: «А вы там — сидите!»

Мое представительство от товарищей не было признано судом, и в этот день силком таскали в суд всех

подсудимых, приставших к протесту, и кого-то даже на руках принесли солдаты, так как не могли заставить итти.

Все приводимые протестанты произносили по адресу суда или оскорбления или даже целые речи. Из числа подсудимых первой группы наиболее остроумную и едкую речь по отношению к суду произнес Волховский, произнес притом под самый нос суду, так как, пользуясь своей глухотой, Волховский добился того, чтобы председатель призвал его с места подсудимого к самому судейскому столу.

Надо отдать справедливость суду, что по его распоряжению всех протестантов, после того, как они заявили протест, больше в суд уже не таскали, но, пока разбиралось дело группы, каждый раз перед заседанием суда в форточку камеры просовывалась голова надзирателя и раздавался вопрос: «В суд пожалуете?» Встретив отрицательный ответ, форточку захлопывали и подсудимых оставляли в покое. По окончании судебного следствия по первой группе, в ночь с 11 на 12 ноября 1877 года, несколько человек, показавшихся властям почему-то наиболее ярыми протестантами, перевели из дома предварительного заключения в Петропавловскую крепость. И я туда попал снова после двухлетнего пребывания в доме предварительного заключения.

Впрочем, попали потом туда и другие, менее ярые протестанты и даже вовсе к протесту не приставшие, как, например, Тимофей Квятковский[99], брат Александра Квятковского, повешенного за участие во взрыве Зимнего дворца в 1880 году.

В означенную выше ночь, часам к двум, стали нас выводить сонных из камер. Ковалик, Рогачев, Сажин[100],

Волховский, Максимович [101] и я были сведены вниз и сгружены в одной комнате. Мы недоумевали: что с нами думают сделать? У многих из нас рождалась мысль — уж не задумали ли жандармы везти нас в III отделение и там драть за оскорбления, нанесенные сенату?

По правде сказать, эта мысль леденила мою душу,— такое насилие над собой я не перенес бы; это было бы для меня смертным приговором. А Сажин смотрел на это довольно просто и говорил: «Что же? Ведь это такой же акт насилия, как и заковка в кандалы, как избиение кулаками и ногами в камерах, как иссечение шашкой! Акт насилия надо мной — беззащитным и безоружным — нисколько меня не позорит, в какой бы форме ни проявился. Такой акт позорит насильников, а не меня». От разума я вполне соглашался с мнением этого замечательно умного и сильного душою человека, но чувство мое никак не могло помириться с мыслью быть выпоротым.

И пока я, посаженный в карету, не увидел, что меня везут к Петропавловской крепости, я был приговорен к смерти.

В карету посадили меня вместе с Анатолием Фаресовым [102], с которым ехать было мне не особенно приятно, так как незадолго до суда я с ним основательно разругался и прекратил с ним знакомство за те дикие и неосновательные с его стороны нападки на молодежь и за ту враждебность ко всему нашему движению, которые стал выказывать Фаресов в беседах и в переписке со мной.

За время сидения в одиночке он переменил свое радикальное направление на земско-либеральное. Перемена, как мне казалось, была совершенно искренняя,

но меня злило его просто скверное отношение к убеждениям и стремлениям своих бывших единомышленников, до такой степени скверное, что я, разговаривая с ним однажды в клетушках церкви дома предварительного заключения, вспылил и резко заметил ему, что ему остается только присоединиться к жандармам в искоренении нас и в борьбе с нами. На что он мне резко же заметил: «Нет, я буду бороться с вами всеми силами души, но не насилием, а словом!»

Такую же враждебность и такую же перемену фронта проявил и Говоруха-Отрок. Этот все революционные кружки молодежи, кроме, впрочем, чайковцев, мешал с грязью. О чайковцах он говорил мне: «Собственно, и вы все—нуль в политическом отношении, но уж очень вы симпатичные люди!» Как известно, Говоруха-Отрок ударился даже не в земство, а прямо в катковщину и стал под знамя «Русского Вестника» [103].

Справедливость требует однако заметить, что ни Фаресов, ни Говоруха-Отрок все время суда не считали согласным с честью не пристать к протесту против суда, нарушившего наши права. Правда, во время суда Говоруха-Отрок был еще далек от катковщины и находился, повидимому, в приятельских отношениях с Н. К. Михайловским, который приходил даже к нему на свидание в дом предварительного заключения, где и я видел вблизи знаменитого писателя. Говорили, что и Михайловский не особенно симпатизировал деятельности сидевшей тогда в тюрьмах радикальной молодежи; а побывав на нашем процессе во время нашего протеста, будто бы выразился о нас, что мы со своим протестом напомнили ему дикарей, пытавшихся закрыть шапками жерла выставленных против них пушек.

Глава двадцать седьмая

ПРИГОВОР

В конце марта 1878 года нам в камеры Петропавловской крепости был доставлен печатный приговор судившего нас особого присутствия сената. Я и Стаховский были приговорены особым присутствием сената к девятилетней каторге в крепостях, но относительно нас двоих суд постановил ходатайствовать перед царем о замене каторги поселением в Сибири в местах не столь отдаленных.

Мой незабвенный защитник Владимир Николаевич Герард, которого я называл про себя «чистокровным джентльменом» и от которого не успел отказаться во время своего протеста перед судом, почему он и посещал меня в крепости вплоть до вхождения приговора в законную силу, побывав у меня после об'явления приговора, поздравил меня с избавлением от каторги.

— Ну, это еще бабушка на-двое сказала, — смеясь заметил ему я, впрочем, не сомневаясь в душе, что ходатайство суда будет царем уважено.

Владимир Николаевич горячо стал уверять меня, что никогда царь в ходатайстве суда не отказывает, что до сих пор по крайней мере такого случая не было. Увы! На этот раз незабвенный Владимир Николаевич ошибся! Царь не уважил ходатайства суда относительно целых 12 человек.

Суд приговорил Мышкина, Ковалика, Войнаральского, Рогачева и Добровольского [104] к десятилетней каторге; меня, Шишко, Чарушина, Союзова [105], Квятковского—к девятилетней; Сажина и Брешковскую [106]—

к пятилетней. Суд не ходатайствовал только за одного Мышкина, так как Мышкин-де отягчил свое преступление покушением на убийство казака в Якутской области при его неудачной попытке освободить Чернышевского. Обо всех остальных ходатайствовал о замене каторги — Ковалику, Войнаральскому, Рогачеву и Муравскому—поселением в отдаленнейших местах Сибири, мне — поселением в местах не столь отдаленных; Шишко, Чарушину, Союзову, Квятковскому — житьем в Сибири без лишения всех прав, а лишь с ограничением, Сажину и Брешковской — ссылкой в одну из отдаленных губерний Европейской России. Но относительно всех этих лиц царь ходатайство не уважил и лишь приказал засчитать нам годы сидения в одиночках в срок каторги. Отсюда получился курьез, что я, по мнению суда, более виновный и заслуживший даже по ходатайству более тяжелое наказание, чем Квятковский (я лишался всех прав и ссылался на поселение, Квятковский шел на житье с ограничением прав), наказывался легче. По приказанию царя мы оба шли в каторгу, но из моих 9 лет каторги сразу высчиталось 4 года 8 месяцев сидения до приговора и месяц в дороге, а у Квятковского, много позже арестованного и просидевшего только 1½ года, исключались только эти последние и месяц дороги.

Говорили в то время, что мы были обязаны отклонением ходатайства суда царем шефу жандармов Мезенцеву и министру юстиции Палену, которые, возмутившись мягкостью приговора, — помилуйте, один только Мышкин из 193-х подсудимых угодил на каторгу без всякого ходатайства!—представили царю свои соображения насчет невозможности такого скандала. Чуть не пять лет мудрили над созданием процесса,

спасая отечество, создали процесс-монстр в 193 человека, нашумели на весь русский мир — и вдруг! — гора мышь родила: из всех крамольников, представших перед сенаторами, даже с точки зрения этих последних только один оказался бесповоротно достойным каторги. Скандал!

Жихарев, Желиховский, Пален и Потапов (тогда уже спятивший с ума и замененный Мезенцевым) терпели, очевидно, полное фиаско. Этого допустить нельзя было. И вот мы двенадцать явились козлами отпущения с целью хоть некоторого смягчения скандала.

Хотя нам и был об'явлен приговор, но до июля нас и не думали отправить в места назначения, и мы все продолжали пребывать в Петропавловке. Правда, относительно нас, осужденных, крепостной режим был смягчен чрезвычайно. Нам не только дали в камеры бумагу и карандаши, а желающим и грифельные доски, но позволяли и передавать через присяжных унтер-офицеров друг другу книги и угощения, которые нам доставляли с воли родные и знакомые. Мало этого, нам разрешили гулять совместно группами не менее 9 человек за раз, и мы, перестукиваясь, группировались для прогулок по своему желанию, что дало нам возможность перезнакомиться друг с другом поближе.

Вместе с нами был в это время в крепости и осужденный по нашему процессу Феофан Лермонтов[107]. Вскоре по привозе его во второй раз в крепость из предварилки он захворал воспалением верхних оболочек спинного мозга и, благодаря тюремной обстановке и плохому медицинскому уходу, постепенно умирал. В хорошие майские и июньские дни кровать Лермонтова выносилась и ставилась у стенки той баньки, которая была посреди крепостного нашего двора-садика.

и не могший уже ходить Лермонтов лежал на ней, а возле него были товарищи из тех групп, которые выпускались на прогулку. Так как Лермонтов был один из больших почитателей моей музы, — он вообще питал слабость к поэтам, — то я иногда садился на его кровати и, окруженный товарищами, читал громко свои стихи к немалой усладе больного.

Лермонтов был далеко незаурядный человек. Обладая большим умом и феноменальной памятью, что давало ему возможность запоминать целые отрывки из сочинений Милля, Лассаля, Миртова [108], Добролюбова, Чернышевского, Дарвина [109], Спенсера [110] и массы других прочитанных им серьезных сочинений, не говоря о беллетристике, Лермонтов обладал даром слова, мог в споре засыпать противника массою ссылок на авторитеты, иногда с подлинным цитированием их наизусть. Бывало, в речах своих он, бессознательно для себя, говорил словами этих авторитетов, как своими собственными. На воле это покоряло ему свежую молодежь, и он, несомненно, был один из воротил в кружках молодежи в 70 — 73 годах. В начале 70-х годов он был некоторое время в кружке чайковцев, но чайковцы, нетерпимые к некоторым его неригористическим наклонностям, разошлись с ним.

Помню я, как в одну из прогулок возле кровати Лермонтова в группе гуляющих шли дебаты о деяниях Стефановича [111] и Дейча [112] в Чигиринском уезде Киевской губ. Об этом только-что было получено нами известие, которое было свежей темой наших размышлений и толков. Я и Лермонтов не одобряли способа, которым добились Стефанович и Дейч образованиям дружин среди крестьян Чигиринского уезда. Они действовали с помощью обманных золотых грамот, якобы

от царя добытых, а такая ложь перед народом казалась нам не только недозволительной с этической точки зрения, но и большой политической ошибкой, так как ею у крестьян лишь закреплялось то пагубное заблуждение относительно царя, которое является в России одним из величайших тормозов для освобождения народа. Насколько мне помнится, среди сидевших тогда в крепости по нашему делу почти у всех было такое отношение к способу действия Стефановича и Дейча, и лишь относительно одного Муравского — нашего «деда» — я помню, что он одобрял способ их действия. Правда и то, что все-таки большой успех Стефановича и Дейча, их ловкость и энергия подкупали всех нас и значительно смягчали и наше отношение к способу их действия, и во всяком разе в нашем представлении их образы были окружены ореолом героев и крупных борцов за народное дело.

Бедный Лермонтов был назначен к ссылке в одну из отдаленных губерний Европейской России, был из крепости переведен в Литовский замок, а оттуда посажен на поезд, несмотря на то, что он, что называется, дышал уже на ладан. Недалеко от'ехав от Питера, он умер в вагоне, и труп его был обратно привезен в Питер и похоронен начальством неведомо где. Также неведомо где похоронило крепостное начальство и дорогого моего друга, которого я глубоко полюбил с первых дней нашего с ним знакомства, Михрюту Купреянова. Этот выдающийся по своему необычайному уму юноша умер в крепости в июне 1878 года, как говорили, от воспаления брюшины или, как заподозрел полковник Богородский, от отравления спичками. По крайней мере Богородский, сообщивший мне о смерти Михрюты, выразил мне это свое подозрение. Может

быть, его подозрение и было справедливо. В силу наследственности (отец сошел с ума, мать отравилась, прабабушка со стороны отца уморила себя голодом), Купреянов был склонен к душевному заболеванию. Сидя в одиночном заключении, он заболевал одно время забвением имен существительных. В апреле же месяце этого года его сестра Надежда, с которой он был очень дружен и которая до разгрома кружка чайковцев состояла в числе его членов, умерла от родильной горячки, и эта смерть любимой сестры сильно потрясла его. Я несколько раз гулял с ним в крепостном садике и после смерти сестры заметил значительную перемену в его душевном настроении. В одну из последних с ним прогулок я обратился к нему даже с вопросом, здоров ли он? Он имел вид больного и очень печального человека. Он сказал, что чувствует себя уже несколько дней нездоровым, но что ему противно звать доктора. Больше мне не пришлось уже его видеть, и в одно июньское утро ко мне в камеру зашел Богородский и заявил конфиденциальным тоном, что Купреянов в эту ночь умер. На смерть ему я написал эти стихи:

Гнета не снес ты, судьбиною данного.
Смерть заменила тюрьму!
Ах, воскресить тебя, друга желанного,
Где же я силы возьму!
Так неотступно желанье напрасное
В сердце скорбящем моем,
Чтоб твои умные очи прекрасные
Прежним зажглися огнем!
Вновь чтоб проснулася мысль твоя сильная,
Чистые думы твои,
Вновь чтоб забилося сердце обильное
Силою гордой любви!

Чтобы пришел ты к нам снова, сияющий
Блеском здоровья и сил,
Чтобы ты вновь, на добро уповающий,
С нами борьбу разделил.
Боже мой! Гнетом желанья бессильного
Тяжко сдавило мне грудь!
Ах! Уж не вырвать из мрака могильного
Друга, назад не вернуть.

Стихи эти я прочитал товарищам во время прогулки, — и произвел ими впечатление. Пересланные на волю, они были потом напечатаны в сборниках песен. издававшихся за границей.

Глава двадцать восьмая

ФЕЛИКС ВОЛХОВСКИЙ И МИТРОФАН МУРАВСКИЙ

Во время этих совместных прогулок в крепостном садике я близко узнал еще одного замечательного в революционной среде человека — Феликса Волховского, чудный образ которого и сейчас стоит, как живой, перед моими глазами и при воспоминании о котором сердце мое переполняется глубокою и нежною любовью.

Несмотря на то, что он в то время не был еще старым человеком,—ему было не более 32 лет,—он уже был значительно сед, и убелили его молодую голову годы тюрьмы и неустанного труда. Участник еще нечаевского процесса 1869 года, по которому он высидел никак не менее двух лет в одиночке. он в 1874 году был привлечен к нашему процессу. Он был провинциальным членом кружка чайковцев и жил в Одессе. Сгруппировав

вокруг себя кружок из молодежи, в котором между прочим состояли тогда членами Соломон Чудновский [113], Андрей Франжоли [114], Ланганс [115], Дическуло, Макаревич [116], Глушков [117], Жебунев Сергей, Желябов [118], — он, обладавший какой-то чудодейственной силой обаятельности, беззаветно привязал к себе это юношество и отправил многих из них на пропаганду в деревни Екатеринославской и Херсонской губерний. Но когда начался поход саратовского прокурора Жихарева, вдохновлявшегося из Питера шефом жандармов Потаповым и министром юстиции Паленом, против страшной крамолы, раскинувшей свои сети по всем градам и весям Руси, то и Феликс Волховский и его кружок попались в лапы опричников и были заточены в одиночные тюрьмы, сначала в провинциальные, а потом — в столичные...

Феликс Волховский обладал необычайно живым, полным блеска остроумия умом, чудной памятью, большим образованием, редким даром рассказчика и талантом писателя и поэта. Быть в его обществе, даже когда он выходил на прогулку хворым, составляло большое наслаждение. Неугомонный ум, даже во время жестоких головных болей, которыми он часто страдал в тюремном заключении, вечно сверкал остроумием, живостью и находчивостью. Он был притом необычайно нежный, ласковый и тонко деликатный человек. Но только не с врагами, — должен оговориться. Перед врагами он совершенно преображался и становился беспощаден и дерзок. Он меня поражал еще одной чертой — это необыкновенной трудоспособностью. Вечно эта голова работала. Волховский без дела, когда он остается один в своей тюремной камере — невозможное явление; всегда он то за книгой, то за писанием.

Он принимал участие в литературе как в легальной, так и в нелегальной, и писал и прозой, и стихами (кроме оригинальных стихов он печатал и переводные). По внешнему виду он не производил впечатления крепкого, здорового человека, но умные черные глаза его своим вечно юным блеском говорили ясно, что в его удлиненном в горизонтальном направлении черепе живет неугасимый, неувядаемый здоровый дух и что этого духа не убить никакими тюрьмами, никакими способами гонения. Таким именно сохранила моя память образ этого человека.

Тут же в крепости, на этих же прогулках, я узнал и еще очень крупного человека, нашего «деда» Митрофана Муравского, которому, впрочем, только в крепости именно в это время исполнилось 41 год, при чем я, как тюремный поэт, воспел это обстоятельство в юмористическом стихотворении, прочитанном виновнику торжества у постели Лермонтова, окруженного товарищами. Лермонтов, впервые узнав, что я могу писать и юмористические стихи, пришел в восторг и предсказывал мне «будущность», как поэту. Надо заметить, что у «деда» не было вовсе седины ни в волосах головы, ни в его прекрасной длинной, чуть ли не по пояс, широкой бороде. Но в последние дни на прогулках я заметил, что у деда с одного края его бороды один волос совершенно бел. Я не преминул указать и товарищам на это печальное обстоятельство: дед стал седеть! Вот в моем-то стихотворении и фигурирует этот единственный седой волос деда нашего.

Он спал... А в крепость в час полночный
Вдруг фея юности вошла
И к „деду“ в номер одиночный
Корзинку чудную внесла.

В корзинке же в траве душистой,
На мху, и мягком и пушистом,
Среди цветов — как райский плод,
Виднелся „41 год".
И тихо, тихо, сколь возможно,
Она к кровати подошла,
Край одеяла осторожно
Рукою нежной отвела
И молвила: „Мой юный друг!
Да будет путь твой, как цветами,
Усеян дружбой и мечтами,
Любовью женщины..." Но вдруг
Ее прервался дивный голос!
Испуга гневного полна,
Вдруг в бороде густой она
Седой огромный видит волос!
Один — но все же седина!..
„Скажите?! Он уж сед!.. О, боги!
Уж как его ни берегу,
Он сед!.. Уж лучше б был безногий!
Терпеть седых я не могу!
И вот в виду такой причины
Я вырву этот волос длинный,
Не дам шерстинке ни одной
Так рано знаться с сединой!"
И нежный пальчик потянул
За этот длинный белый волос.
Наш дед как гаркнет: „Караул!"
И лишь его раздался голос,
Как тотчас светлый луч вспорхнул
И чрез окно на лунном свете
Он улетел под небосвод.
А в бороде, густой, как сети,
Остался „41 год".

*

А какова ж судьба корзинки? —
Полюбопытствуете вы.
Она рассыпалась, — увы!
Из мха, цветочков и травы

Образовался сор: пылинки,
Бумажки, перья, всякий сброд!
И надо ждать — солдат придет,
Метлой по камере взмахнет,
Туда, сюда, и так, и сяк—
И сор весь выбросит в стульчак.

Прошло более четверти века с тех пор, как я в последний раз видел деда, но и сейчас я отчетливо вижу перед собой его фигуру. Сухощавый, роста выше среднего, совершенно прямой, с походкой, которую я называл царскою, с широкой и длинной бородой, с крутым нависшим лбом, с густыми бровями, из-под которых глядели чудные синие глаза, серьезные и грустные, — он невольно останавливал на себе внимание и сразу внушал к себе почтение.

Умный, много про себя передумавший и перестрадавший человек, принадлежавший, как про него однажды выразился Волховский в разговоре со мной, «к породе жвачных», в том смысле, что всякое горе свое он пережевывал про себя и никогда от него нельзя было услыхать ни малейшей жалобы, ни малейшего нытья, он был мало разговорчив и совершенно был чужд той черты, которая присуща людям-«спорщикам». При общем разговоре или споре он слушал, но если не разделял какого-нибудь высказываемого при этом мнения, то ограничивался тем, что вставлял в разговор короткие замечания, всегда яркие и полные значения. Кроме того, он был ядовито остроумен. Так как он слегка заикался перед тем, как с'ядовитничать, то его остроты приобретали в разговоре особый характер, как я называл — характер стрел. Если дед на миг запнулся в речи, значит сейчас вылетит из его уст сатирическая стрела, — и действительно, она вылетала, едкая, меткая

и острая, зачастую сразу освещавшая предмет дебатов с такой стороны, которая или совершенно упускалась из виду или значение которой не усматривалось с достодолжной ясностью и полнотой.

По всему своему душевному складу это был непримиримый враг всякого насилия и всякого неравенства, серьезный и беззаветный друг всех угнетенных.

Это, впрочем, он доказал всею своею жизнью со дня юности до того момента, когда его замучили в одной из харьковских централок.

Мало он видел радости в своей жизни, мало пожил он и на воле. Со студенческой скамьи он попал в каторжные работы и был в Сибири в одной каторжной тюрьме с Чернышевским. Лет тридцати пяти—шести он, хотя и был поселенцем, с разрешения начальства вернулся в Россию, к матери, в Уфимскую губернию, но не более как через год был снова арестован. Отсидев в одиночке около 4 лет, он по процессу 193-х был приговорен к каторге, и хотя суд ходатайствовал о замене десятилетней каторги ссылкой на поселение в отдаленные места Сибири, царь ходатайства не уважил. Это обстоятельство лишало деда всякой надежды на близкую возможность быть на свободе, и, как показалось мне и Волховскому, дед после об'явления приговора в окончательной форме заскорбел, заскорбел про себя, не выдав этой скорби ни перед кем из людей ни одним словом, — и только похудел дед сильнее, и грустные глаза его стали еще скорбнее. Да, такой приговор оказался для него смертным приговором, — он централки не вынес и умер, не видав больше и призрака свободы.

Мало знал он воли, но все минуты своей недолгой свободы он отдал всецело на служение народу,

Но и в стенах тюрьмы он был в числе тех элементов, которые спасают души заключенных от пагубного действия долговременных мук тюрьмы, поддерживают в них способность борьбы с нравственными и физическими пытками, которым подьергают их проклятые палачи.

Дед был источником энергии в тюрьме.

В доме предварительного заключения при нападениях тюремного начальства на заключенных, при отстаивании условий на возможность существования в тюрьме, при вопросе, как отозваться и реагировать на выходки судебных властей, на то или другое общественное явление, вне тюрьмы совершившееся, — я глубоко уверен в том, что у каждого товарища по заключению являлся вопрос:

«А что скажет дед?»

Даже можно было не соглашаться с дедом, вступать с ним в дебаты устные или письменные, но знать то, что думает дед по данному жгучему обстоятельству, было такою же для нас необходимостью, как в сумерки необходим источник света, когда нужно во что бы то ни стало разобрать написанное.

Некоторые из заключенных, вступившие с дедом в переписку или имевшие счастье попасть в один с ним клуб, обязаны ему своим полным духовным возрождением и искренно считали и называли его своим духовным отцом.

Если бы таких людей, как дед, Волховский, Мышкин, не было среди плененных борцов за освобождение родины, плененные не вынесли бы гнета и, что всего важнее, под их влиянием плененные не переставали быть борцами даже в тюрьме. Эти люди были конденсаторами боевой энергии, без них энергия боевой плененной массы неизбежно иссякла бы под давлением

неволи и тоски. Они охраняли душу живу и гонимых и терзаемых борцах за освобождение родины.

Да будет же светла навеки память о них!

Глава двадцать девятая

ГОЛОДОВКА В КРЕПОСТИ

Когда нас из предварилки вновь привезли в крепость, в ней сидели подследственные Натансон[119], Шамарин[120], Габель[121] и Тютчев[122]. И в то время, как мы, после об'явления приговора, пользовались различными льготами (общими прогулками, общением друг с другом, нам были разрешены письменные принадлежности, разрешено было получать с воли не только книги, но и всякие угощения, — и теми и другими мы могли делиться друг с другом), подследственные подвергались всей тягости крепостного режима. К нашему перестукиванию, к разговорам и даже к пению в форточки окон начальство относилось равнодушно и не преследовало за это. Этим пользовались, конечно, и подследственные, и начальство не имело возможности лишить их этого, хотя от времени до времени и наскакивало на них за это. Но подследственные пожелали пользоваться и всеми остальными льготами, т. е. полным общением с нами, осужденными, и общими прогулками с нами. И заявили в этом смысле начальству свое требование. Они, впрочем, поставили и другое требование, что в случае невозможности удовлетворить их первое требование, чтобы их перевели в другие места заключения, в которых для подследственных нет такого режима, как в крепости. В случае же отказа

со стороны начальства удовлетворить выставленные требования, они решили начать голодовку. Начальство категорически отказало им в удовлетворении требований, и они заголодали.

Чтобы поддержать их в борьбе с начальством, об'явили голодовку и мы, осужденные.

Мы мотивировали свою голодовку тем, что не можем есть, раз мы знаем, что наши товарищи по заключению голодают, и прекратим голодовку, как только прекратят голодать они.

Вне стен тюрьмы наша голодовка вызвала большую тревогу среди наших родных и знакомых. Матери, жены, невесты, сестры, отцы и братья стали осаждать III отделение, главным образом шефа жандармов Мезенцева, настоятельными просьбами успокоить нас и удовлетворить требования заключенных, не дать им довести себя до голодной смерти.

Некоторым из родственников наших Мезенцев, как говорили тогда, отвечал: «Пусть умирают: я приказал заказать гробы!»

Три дня мы отказывались от пищи, ничего не ели, хотя воду из-под крана пили. Я туго перевязывал живот длинным трехугольным платочком, предназначенным для повязки шеи, ложился на кровать и старался вообще как можно меньше двигаться. Мне казалось, что именно эти средства способствовали тому, что я не чувствовал ни малейшего позыва есть.

Хотя Мезенцев фрондирующе и заявил некоторым из наших родственников о приказании заготовить для нас гробы, тем не менее на четвертый день нашей голодовки в крепость явился его ад'ютант, генерал-майор Бачманов.

Богородский почему-то привел его ко мне.

В мою камеру вместе с Богородским вошел хорошо, мощно сложенный, еще далеко не старый, очень выхоленный генерал, с ласковыми манерами и голосом, с синими глазами с поволокой.

Он уселся на табуретку, а я присел на кровать, возле которой остановился в почтительной позе Богородский.

Генерал вынул порттабак и любезно предложил мне папироску.

Я отказался, заявив, что курю мало и не нарушаю положенной нормы.

Бачманов спросил меня, почему мы об'явили голодовку, чем мы недовольны?

Я об'яснил ему, что дело не в нас, что мы никаких требований от себя не пред'являем. Мы—осужденные—просто не можем есть, когда тут же возле нас такие же узники, как и мы, быть может, на волосок от смерти.

— Я думаю, генерал, что и вы, если бы были на нашем месте, не смогли бы есть, зная, что за стенкой вашей камеры товарищ по судьбе умирает с голоду, — говорю я.

— Ну, понятно! Разумеется! Я вполне понимаю вас! — уверял генерал.

— Тем более, — продолжал я, — что вот хоть я, например, просидевший без суда в этой же крепости более двух лет, вполне понимаю всю тяжесть положения подследственных товарищей и всею душою сочувствую их желанию облегчить это положение.

— А что же они желают? — спрашивает Бачманов.

— Они желают, чтобы им дозволено было иметь общение с нами, с осужденными, что нисколько не повлияет ни в каком отношении на ход следствия по их делу, или чтоб их перевели по крайней мере в другие

места заключения, где режим менее тяжел для подследственных, чем тут, в крепости.

— А вы как узнали об их желании?

— Обычным нашим путем — перестукиванием.

— А вы давно уже в заключении?

— Более 4-х лет.

— Ах, боже мой! И все в одиночном заключении?! Это ужасно!.. Но теперь ваше дело уже окончено?

— Да, окончено.

— И к чему вы приговорены?

— Приговорен сенатом к 9 годам каторжных работ.

— Ах! Боже мой!.. Так все-таки я попросил бы вас, а через тебя и ваших товарищей, прекратить вашу голодовку.

— Мы не можем прекратить голодовку, пока будут голодать подследственные.

— А если их требование о переводе их в другие места заключения будет удовлетворено, тогда вы прекратите голодовку?

— Да, конечно. У нас тогда не будет резона голодать.

— В таком случае я попрошу вас об'явить товарищам, что я — ад'ютант шефа жандармов — уполномочен удовлетворить требование подследственных, и сегодня же они будут переведены в другие места заключения, как они того хотят.

Генерал встал и, любезно улыбаясь, спросил:

— Вы как сообщите вашим товарищам? Постучите им, да?

— Да, вернее всего, что постучу.

— А не постучите ли вы им сейчас, пока я здесь у вас?

— Нет, уж я потом постучу. Сейчас, сказать по правде, я буду стесняться вас.

– Жаль! Ну, как хотите! Мне любопытно было посмотреть, как это вы перестукиваетесь... Прощайте. Желаю вам от души всякого добра; всякого добра! Поверьте, от души желаю!..

Когда Бачманов ушел, я спустя некоторое время созвал стуком ближайших товарищей к форточкам окон и сообщил им о посещении Бачманова и о том, что он прикажет сегодня же перевести в другие тюрьмы подследственных, о чем и просил уведомить всех голодающих.

Мы чувствовали себя некоторым образом победителями. Начали ожидать увоза из крепости подследственных товарищей. Те из нас, которые сидели внизу и которые могли в окна своих камер слышать стук колес экипажа, под'езжавшего к воротам нашего здания, слыхали этот стук. Щелканье замков в некоторых камерах и шаги уходящих по коридору свидетельствовали, что увоз подследственных начался. С помощью перестукивания мы стали вызывать подследственных, никто из них не отвечал, — значит их в камерах нет. Очевидно, что из крепости увезли! Итак — победа за нами!

В виду того. что желания подследственных удовлетворены, по камерам ходит полковник Богородский и спрашивает нас, не пожелаем ли мы пообедать? Конечно, пообедать весьма нам желательно, тем более, что и причины отказываться от обеда нет. Нам приносят обед. Я ем с большим аппетитом и через некоторое время после обеда готов кричать «караул» от нестерпимой рези и боли в желудке. Требую доктора. Доктор закатывает мне лошадиную дозу касторки.

Глава тридцатая

РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПОВОДУ ТЕРРОРА

Прошло два или три дня. В эти дни были свидания. На свидании я получил записку, в которой меня уведомляли между прочим о том, что Сергей Кравчинский задумал убить Мезенцева в отмщение за нас, за его жестокость к нам во время нашей голодовки, за то наконец, что он нас надул, и подследственных перевели по его приказанию не в другие места заключения, а в равелины той же крепости, и все они очутились из подследственного отделения в равелинах, кроме Тютчева, которого из крепости перевели в одну из полицейских тюрем. Как оставшиеся в равелинах, так и Тютчев продолжали и там начатую ими голодовку. Это сообщение о подследственных удалось проверить чрез крепостную стражу.

Поднялся вопрос о возобновлении и нами голодовки, так как мы оказались не победителями, а самым подлым образом надутыми людьми.

Против возобновления голодовки высказалось несколько заключенных, в том числе и я. Я был против возобновления голодовки по следующим соображениям.

Из сообщенного с воли было видно, что наша голодовка вызывает намерение совершить террористический акт убийства Мезенцева. Я же был против террористической борьбы вообще, а тем более против таких актов, которые мотивируются тюремными историями из-за смягчения тюремного режима в том или другом месте заключения.

Если наша тюремная голодовка из-за общих прогулок и пр. является причиною террористического акта, который вызовет тяжкие реакционные воздействия на все общество, я прекращаю голодовку и призываю к тому же и товарищей. Я поэтому стал возражать против возобновления голодовки.

Затем я написал большое послание Кравчинскому, как старому другу, в котором убеждал его отказаться от мысли убивать Мезенцева, и высказал ему, почему я считаю в данный момент вступление на террористический путь несвоевременным и политически ошибочным. Я и сейчас ясно помню те доводы, которые я выставлял против перехода к террористической борьбе вообще и в частности против убийства Мезенцева.

Наш девиз — «все для народа и при помощи самого народа»; поэтому всякое наше деяние должно быть понятно народу и должно вызвать его сочувствие.

И то и другое может иметь место только тогда, когда деяние партии будет основываться на интересах народа, будет непосредственно из них вытекать. Наша же партия — партия народная — едва начала свое существование. Целым рядом политических процессов на нее наконец обращено внимание так называемого общества, которое стало проникаться несомненным сочувствием к нам: мы в его глазах окружены ореолом мученичества. И покуда этот именно ореол — одно из сильнейших завоевательных наших орудий по отношению к обществу.

Что же касается народной рабочей среды, то наша партия едва-едва лишь стала проникать в эту среду и далеко еще в ней не укрепилась; для огромного большинства народа наша партия—совершенно неизвестная величина, и то, что мы делаем, остается для народа или

совсем неведомым. или непонятным, или не вызывает его сочувствия. Наша партия не может еще пока свои деяния, а в особенности террористические, мотивировать чисто народными интересами, так как нас народ еще не знает, и потому мы и не можем еще явиться в его глазах защитниками его интересов. Наша задача — проникать в народ и все больше и больше охватывать его своим влиянием. Это—единственная наша задача... и никакой другой у нас — у народной партии — не может быть. Но для такой задачи нужна обширная партия, а обширностью, количеством членов народная партия, к сожалению, похвастать пока не может.

Начинать же нам борьбу «огнем и мечом». т. е. террористическую борьбу, с такой огромной организованной силой, какой является наше правительство, за которое и темнота народных масс, у которого и миллион солдат, у которого, словом, огня и меча значительно больше, чем у народной партии, — начинать такую борьбу — по меньшей мере нерасчетливо.

Что произойдет от того, что будет убит Мезенцев?

Ведь у правительства таких Мезенцевых хоть пруд пруди: одного убили — тотчас же полсотни новых таких же готово занять его место. А наша партия будет принуждена отдать вслед за убийством сотни! Будут эти сотни гнить в тюрьмах, падать духом в дебрях Сибири от неволи, от нужды и полной оторванности от жизни по душе; огромная их часть будет превращена в абсолютно бесполезных, заживо вычеркнутых злою силою из списка живых борцов за народное дело. Мезенцева можно сделать из любого бутыря, из любого жандарма. А сотню членов народной партии сразу не заменить новыми. Чтобы человек выработался в члена народной партии, надо время, надо известный путь

развития. И рисковать отдать за одного Мезенцева сотни своих — это ужасно! Для немногочисленной, едва начавшей зарождаться, народной партии это была бы почти смертельная рана.

Во-вторых, убийство Мезенцева вызовет реакцию, которая упадет не только на нашу партию, но и на общество, да, пожалуй, отчасти и на народ. «Общество», которое только-что начало поднимать голову и устами наших защитников на судах стало выражать недовольство правительству за нашу гибель, за мучительство, которое над нами учиняется, оно при виде реакционной гидры струсит, забьется в свои заячьи норы, и мы потеряем то, что приобрели в форме его сочувствия. И как бы мы пренебрежительно ни относились к этому обществу, но должны признать, что оппозиционно настроенное оно для нас много ценнее, чем настроенное позаячьи.

В третьих, затрата сил на террористический акт (в данном случае на убийство Мезенцева), не связанный с понятными для народа и с истинными его интересами, не этими интересами мотивированный, для народной партии есть затрата неосновательная, несоответствующая настоящей, главной задаче партии—непосредственного воздействия на народную среду.

На основании этих соображений я даже «заклинал» Сергея всем для него святым не совершать убийства Мезенцева, в особенности по такому ничтожному в государственном отношении поводу, как наша голодовка из-за общения подследственных с осужденными.

Получив мое письмо, Кравчинский заказал передать мне, что он ответит мне обстоятельно, но, к моему сожалению, он уже не успел этого сделать, так как дня через три—четыре меня увезли в Сибирь.

Это мое послание прочитала и Соня Перовская и тоже заказала передать мне, что подписывается под моим письмом обеими руками.

Впрочем, должен заметить, что впоследствии я изменил свое отношение к террору. Я признал его, во-первых, роковым, неизбежным явлением в русской политической жизни, ничем не отвратимым рефлексом живого государственного организма на жгучие муки гнета и насилия, чинимого над ним жестоко, беспощадно и систематически организованной шайкою уголовных преступников-убийц, воров, лгунов, развратников, в руках которых очутилась государственная власть; во-вторых, только террористические акты оживляли внимание замиравшего политически общества и фиксировали его на главном зле русской жизни — самодержавной бюрократии и полицейском произволе; только террористы вносили жгучую струю в организм угасавшего политически народа и затемняли ореол святости и неприкосновенности того, что все были склонны считать совершенно незаслуженно святым и неприкосновенным.

То обстоятельство, что Соня Перовская, еще в 1878 году, как мне сообщали тогда, разделявшая тогдашнее мое отношение к террору, уже в 1881 году была казнена как главная участница и организатор главных террористических деяний, включая убийство Александра II, еще более утвердило меня в роковом характере террора на Руси.

Террор был таким же неизбежным спутником русского деспотизма, как безработица—неизбежный спутник капитализма. Я даже думаю, что и рассуждал я в 1878 году не в террористическом духе лишь потому, что был изолирован тюремными стенами от реальных

воздействий русской жизни. Будь я на воле, вращайся я в сутолоке боевой жизни русских народников, — и русская жизнь неизбежно привела бы меня к террору.

Впоследствии я узнал, что Кравчинский задумал казнить Мезенцева не только за отношение к нам во время нашей голодовки, но и за утверждение по его настоянию царем приговора над Ковальским, расстрелянным в Одессе, и за все ужасы в харьковских центральных тюрьмах, которым подвергались заключенные там товарищи по внушению из Питера Мезенцевым.

Глава тридцать первая

ОТПРАВКА НА КАТОРГУ

Июль близился к двадцатым числам. Начальство начало отправлять осужденных из крепости партиями. В крепость приезжали чиновники губернского правления, и осужденных на каторгу выводили поодиночке в помещение, где они заседали, а там приведенного раздевали до-гола, ставили под мерку для определения роста, записывали затем имевшиеся на его теле приметы. По этим данным составляли так называемый статейный список каторжника.

Уже были увезены Мышкин, «дед», Рогачев, Ковалик и Войнаральский; мы уже получили известие о неудавшейся попытке освободить Войнаральского при переводе его из Харькова в централку [123]. Увезли Шишко, Союзова, Волховского, Сажина и др. При чем бедного Сажина совершенно неожиданно отделили от партии по прибытии ее в Москву, и в то время, как других

увезли в Сибирь, Сажина препроводили в харьковскую централку, хотя ему из назначенных пяти лет каторги оставалось не более 2½ лет.

Впрочем, я уверен, что этот редкой душевной силы человек, с твердым характером и непреклонной волей, не особенно был убит такой шуткой над ним со стороны опричников. «Что ж, — по всей вероятности сказал он, смеясь своими небольшими, умными и проницательными глазами, — бывает и хуже!» И действительно, он в своей жизни видал и не такие ужасы: для пережившего в качестве непосредственного участника в уличной борьбе парижских коммунаров все ужасные расправы версальцев централка, пожалуй, могла показаться лишь не совсем удобным местом принудительного отдохновения. В централе его продержали чуть не целый год лишний! Лет через 11 после того, как я его видел в последний раз в крепостном дворике, я встретился с ним в Сибири (в Чите) в 1889 году и нашел его все таким же живым, бодрым и мощным. Централка, как и предварительная тюрьма, были тягостны для него только тем, что приходилось быть ему без настоящего дела, без хлопот и живой работы, — «а то бы все ничего, пожалуй, терпеть можно!» А вот без хлопот и живого дела и ноги у него ныть начинают, и поясницу ломит, и с головой не сладить—то-и-дело болит! И уж тут никакая медицина не поможет. Но дано ему дело, и через день—два уж он сверкает своими умными глазами, уж все хвори как рукой сняло, и голова и руки работают, и проявляет он свое свойство, как фокусник Пинети, быть в одно и то же время в нескольких местах и усматривать своими проницательными глазами, через его белые очки, сразу все, что творится во всех четырех сторонах горизонта. Бакунин[121] считал его

(по-заграничному — мистера Росса), как сообщал мне Мачтет [125], «своей правой рукой» по делам анархистской фракции Интернационала в Женеве. (С Мачтетом мне пришлось довольно долго сидеть в одном клубе в доме предварительного заключения в 1876 году). Умный, находчивый, дальновидный и в то же время человек крупного и властного характера. Сажин принадлежал к числу людей, которые вызывают глубокую и беззаветную к себе привязанность со стороны одних и не менее глубокую ненависть со стороны других. Мне рассказывали, к сожалению, я забыл, кто именно, что знаменитый в свое время автор «Отщепенцев»—писатель Соколов [126]—так привязался за границей к Сажину, что не только готов был за него положить голову свою на плаху, но при нем нельзя было молвить слова неодобрительного о Сажине, — кроткий по характеру Соколов впадал в бешенство при защите своего обожаемого! Лично я, с тех пор как узнал Сажина в тюрьме, искренно всегда любил его, как человека крупного и дельного на всяком поприще, чуждого всяких мелочных чувств, превосходного товарища. Во всяком деле на него можно было положиться как на каменную гору—и в простом житейском, и в рискованном революционном.

Наконец в ночь с 21 на 22 июля около 12 часов ночи вошли в мою камеру Богородский и присяжный унтер-офицер, которого я звал харьковцем, и предложили мне следовать за ними. В халате и чирках я поплелся за ними и был введен в тот апартамент, где раньше производилось дознание Слезкиным и где незадолго до этого дня чиновники губернского правления раздевали и осматривали меня, чтобы записать мои приметы.

Это довольно длинный зал. Здесь стоял длинный стол, за которым при слабом освещении ламп заседало три или четыре чиновника. В полумраке у двери, в которую мы вошли, стоял жандармский унтер-офицер, возле которого остановился и мой харьковец; несколько поодаль красовался высокий брюнет с черными усами и черными большими конскими глазами, жандармский поручик Петров, возле которого остановился Богородский

Между столом, за которым сидели чиновники, и этой группой людей находилась какая-то небольшого роста фигура в черном штатском платье. У ног этой фигуры находились железная наковальня и молоток. На близстоящем от этой фигуры стуле лежала арестантская одежда и на спинке стула висели кандалы. Фигура подошла ко мне и промолвила: «пожалуйте!»

Я подошел к стулу.

— Сбросьте вашу одежду! — говорит фигура.

Я сбрасываю.

— Вот рубаха, наденьте.

Надеваю неприятно колющуюся жесткую рубаху.

Далее следуют такие же подштанники, затем серые суконные штаны, затем серый халат с бубновым желтым тузом на спине.

— Сядьте на пол, — говорит фигура.

Я сажусь.

Фигура накладывает мне на ноги кандалы. В зале водворяется полная тишина, и в этой тишине резко начинает раздаваться стук о наковальню молотка, заклепывающего кандалы. Присутствующая публика не шевельнется, словно этот звук ударил этих людей по сердцу и оно на время приостановилось в своем биении.

Неужели всем им — и чиновникам, и Богородскому, и Петрову, и двум унтер-офицерам — было тяжело видеть, как человека заковывают в цепи, юношу, вымученного в тюрьме, не убийцу, не вора, не преступника? Неужели?

Кандалы заклепаны. Чирки надеты на ноги, обернутые в портянки.

— Встаньте, — прерывает молчание фигура, — вот вам ремень, подвяжите цепь!

— Однако как неловко, — улыбаясь, говорю я.

— Надо привыкать, — говорит фигура, подавая мне серую, круглую, без козырька фуражку, которую я тут же надеваю на голову.

Итак, я готов: потомственный дворянин по высочайшему повелению подвергнут заковке в кандалы, находясь еще за десяток тысяч верст от места каторги.

Жандармский поручик Петров говорит: «Юдин, прими!» — а сам направляется к чиновникам и наклоняется над какой-то бумагой.

Высокий, румяный, красивый и франтоватый Юдин подходит ко мне.

— Пожалуйте сюда! — и уводит меня через боковую дверь в маленькую комнату, где сидел и, очевидно, ждал нас еще простой жандарм.

Под их конвоем я выхожу за ворота, где стоит обыкновенная извозчичья карета.

К воротам вышли Богородский и мой харьковец. Я подхожу к дверце кареты.

— Прощайте, господин Синегуб. Дай бог вам здоровья! — напутствует Богородский.

— Прощайте, барин! Прощайте, барин! — трогательно восклицает харьковец, несколько раз кланяясь мне на прощание.

Тронутый их добрыми напутствиями, я посылаю сам от души лучшие прощальные пожелания и сажусь в карету между двумя жандармами. Меня повезли на вокзал Николаевской дороги.

В карете меня вдруг поразила мысль: «Странно! Я—в кандалах, в полной арестантской амуниции, а для харьковца я все-таки остался барином!» «Прощайте, барин!» — кричал он мне на прощание и не замечал всей иронии, скрытой в его прощальном приветствии.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ

Глава тридцать вторая

ХЛОПОТЫ И ПЕРЕДРЯГИ

Во всем арестантском облачении и в кандалах привезли меня в обыкновенной извозчичьей карете на вокзал Николаевской железной дороги.

Два сопровождавшие жандарма повели меня не в здание вокзала, а обвели меня, бряцавшего на ходу кандалами, сторонкой в вагон, стоявший где-то во тьме кромешной, далеко от дебаркадера. Введенный в этот арестантский вагон, я пережил радостные и счастливые минуты. Здесь оказалась моя жена, по воле пожелавшая следовать за мной на каторгу и давшая подписку в губернском правлении, что она будет подчиняться всему тому режиму, какому подчиняются и лишенные прав на каторге.

Мы оба были очень счастливы, полагая, что теперь больше уж нас не разлучат, что окончился наконец наш искус и все предстоящие невзгоды мы с этого дня будем переживать вместе, а не порознь.

Правда, отбирая подписку от моей жены, в губернском правлении рисовали будущее ее положение довольно мрачно. Говорили, что она будет жить вне пределов места каторги, в нескольких десятках верст расстояния, что свидания со мной будут очень редки, что переписка ее будет контролироваться, как и моя, что облегчать мое положение ей будет невозможно и пр. Но она взглянула на эти речи как на застращивания

и полагала, что на самом деле мы будем жить вместе. Так взглянул и я, и потому мы были бесконечно рады, что между нами нет уже тюремной стены.

Кроме моей жены, из женщин в этом вагоне оказалась Брешковская, жена Чарушина и жена Квятковского с сынишкой. Но наши жены, прежде чем попасть в этот вагон, пережили немалую тревогу за участь своих мужей. Дело в том, что мы, мужья, были уже назначены к отправке в Сибирь, и наши жены, следовавшие за нами на каторгу, были приглашены начальством собраться в дорогу и пожаловать в Литовский замок, что они и выполнили. Но после двух или трех дней пребывания в Литовском замке наших жен вдруг попросили оставить сей гостеприимный приют и возвратиться вспять домой, так как начальство раздумало отправлять нас на каторгу в Сибирь, а порешило отправить нас в централку, куда следовать женам за мужьями не полагалось.

Дело по отношению к нам приняло такой неожиданный оборот вследствие того, что власти, разозлившись, вздумали вымещать и на нас дерзость тех, которые учинили попытку освободить Войнаральского при перевозке его из Харькова в централку.

Наши жены, выдворенные из Литовского замка обратно домой, огорченные и взбудораженные начальническими каверзами, принялись с энергией и упорством любящих женщин за отстаивание наших прав на сибирскую каторгу.

Общая знакомая Чарушиной и моей жены, генеральша Гернгросс, уже много лет посвятившая себя заботе о заключенных, как уголовных, так и политических, и, по отзывам знавших ее людей, действительно очень добрый человек, приняла участие в судьбе наших

жен и направила их к фрейлине двора, графине Толстой [127], с просьбой оказать свое содействие, чтобы решение отправить нас в Сибирь на каторгу не отменялось.

Чарушина и жена моя отправились к графине Толстой, пользовавшейся большим расположением императора Александра II, а также шефа жандармов Мезенцева. Она приняла просительниц и, обнаружив во время разговора с ними самое нелепое представление о нигилистической среде, состоявшей по ее представлению из людей, не могущих питать ни истинной любви, ни родственных привязанностей, ни чувства самоотвержения, была чрезвычайно поражена тем, что две представительницы этой среды, перед ней, не оказались чудищем облым и озорным. Наоборот, и по наружности обе оказались такими, что и многие аристократки могли бы позавидовать, да и со стороны духовной оказалось, например, что Чарушина не только не попирала родственных чувств, а находилась в самых дружественных отношениях и с отцом, и с матерью, и с братьями, а обе нигилистки-жены отказывались от всех прав своих и ото всего привлекательного, что могла им, молодым и красивым, сулить в будущем жизнь, и добивались одного — разделить участь терзаемых насилием их мужей. Тронутая, графиня обещала употребить все свое влияние, чтобы доставить эту возможность. Она назначила им время, когда они должны были притти за получением ответа. Но когда Чарушина и моя жена пришли к ней во второй раз, графиня Толстая с сожалением заявила им, что она бессильна что-либо сделать для нас, так как Мезенцев до такой степени озлоблен попыткой освободить Войнаральского, что никаких ни доводов, ни просьб и слушать не хочет. В конце концов

графиня Толстая посоветовала попытать счастья и написать прошение на имя жены наследника престола и передать эти прошения через личного ее секретаря, так как едва ли им будет возможно добиться свидания с нею самой [128]... Наши жены так и поступили...

В этих хлопотах прошло дней десять. И вот наши жены получили вновь повестки явиться в контору Литовского замка, собравшись в дорогу.

И на этот раз наши жены попали снова в ту часть Литовского замка, в которой сидели из осужденных в тюрьму по процессу 50 Топоркова [129] и Геся Гельфман [130], в одной камере с которой поместилась и Лариса.

Впрочем, в оба раза как Топоркова и Геся, так и наши жены, а также (кажется) и перевезенная из дома предварительного заключения в Литовский замок Брешковская только ночи проводили в камерах, расположенных по обе стороны коридора, а днем чаевали, обедали и проводили время в этом коридоре все вместе. Лариса из знакомства с Гесей вынесла о ней самое светлое воспоминание, как о девушке необычайно доброй души, веселой, не дававшей унынию и нытью водворяться в сердцах людей ни при каких гонениях судьбы. Те дни, которые наши жены провели в Литовском замке, запечатлелись в памяти моей жены, как светлые и хорошие дни, благодаря именно присутствию Геси, неистощимому источнику бодрости и веселости.

Во второй раз нашим женам пришлось пробыть в Литовском замке суток двое, и затем они были препровождены в тот арестантский вагон, в котором отправляли нашу партию.

Партия наша состояла из ссыльно-каторжных: Брешковская, Чарушин, Квятковский и я, из ссыльно-посе-

ленца Стаховского и из шедшего на житье в Тобольскую губернию Нафанаила Скворцова[131]. Все были осуждены по одному процессу 193-х. Как я уже сказал выше, за мной, Чарушиным и Квятковским шли на каторгу и наши жены, следовала жена и за Скворцовым.

Из Питера партию нашу сопровождали жандармы, чуть ли не по паре жандармов на каждого члена партии, не исключая и жен. Выходило изрядное воинство под начальством жандармского поручика Петрова...

Такой способ отправки в ссылку из Питера при помощи питерских жандармов был, как кажется, применен к нашей партии уже в последний раз и больше этот способ не практиковался, очевидно, как способ очень дорого стоящий и для казны убыточный. И действительно, все жандармы, сопровождавшие партию ссыльных, получали суточные и поверстные по расчету на лошадей, и из них ехавшие, например, от Питера до Кары получали довольно крупные суммы.

При отправке наших жен из Литовского замка в арестантский вагон от них потребовали, чтобы они сверх своих платьев обязательно облачились в арестантские халаты, а Брешковскую нарядили в полную арестантскую амуницию: в нанковую с белыми и синими полосами юбку, в арестантские башмаки, на голову надели белый холщевый платок, а на плечи—серый арестантский халат. Собственные деньги от наших жен были отобраны в конторе Литовского замка и, при них же сосчитанные, были переданы поручику Петрову, который и позволял нам дорогой улучшать и пополнять свое продовольствие на эти деньги, так как нам кормовых полагалось очень мало (точной цифры не помню, но, кажется, не более 10 коп. в день на человека).

Из Питера по железной дороге нас провезли до Нижнего-Новгорода. Здесь нашу партию перевели в вагоне же на пароходную пристань, при чем помню хорошо, что это был черепаший переезд. Почему-то паровоз с нашим вагоном полз очень тихо, накреняясь то на одну, то на другую сторону. Наш поезд плелся так тихо, что какая-то старушонка без труда догнала наш вагон и протягивала руку с какой-то серебряной монетой, как подаяние нам, «несчастненьким», которых она видела высматривавшими из окна вагона. Кто-то из нас или из жандармов взял монету. Кажется, эту монету отдали первому же попавшемуся нищему.

На пристани нас водворили на арестантскую баржу, на которой были и уголовные, но только уголовные помещались в передней, а мы в кормовой части баржи и мы были совершенно изолированы от них. Буксирный пароход дотащил нашу баржу до Казани, а от Казани до Перми. В Перми нас вывели на берег и повезли в город на почтовую станцию.

При проезде через каждый губернский город, в котором был губернатор, поручик Петров обязан был являться к губернатору с докладом и, совершив эту формальность, немедленно следовать дальше. Поэтому и в Перми он, оставив нас под надзором наших жандармов, отправился в город с докладом к губернатору. По его возвращении мы на почтовых тройках отправились из Перми на Екатеринбург в Тюмень.

В кибитку нас помещали так: я садился посередине, с одной стороны помещалась жена, с другой — жандарм, на козлах вместе с ямщиком помещался еще жандарм; таким образом в нашу кибитку помещались не все четыре жандарма, назначенные для нас с женой, а они чередовались от станка до станка. Также расса-

живались по кибиткам и другие женатые ссыльные. Брешковская же ехала в одной кибитке с поручиком, а Стаховский с тремя жандармами в отдельной кибитке. Но и после такого размещения оставались в запасе еще жандармы, для которых требовалась тоже отдельная кибитка. В каждую кибитку запрягалось по тройке лошадей, так что наш поезд до Тюмени состоял никак не меньше, как из шести троек. Весьма естественно, что такой удивительный поезд, проносясь по улицам встречных сел и деревень, вызывал волнение в их обитателях, которые и выскакивали со дворов, с любопытством и удивлением глазея на несущиеся почтовые тройки.

Глава тридцать третья

В ДОРОГЕ

Наш начальник партии, поручик Петров, высокого роста брюнет, с роскошными усами, с большими черными глазами, с прекрасным цветом лица, был бы, что называется, красавец мужчина, если бы не попорченная несколько на макушке шевелюра и не выражение лица, свидетельствовавшее о крайне скудном содержимом души и о большом самомнении. Мня себя, с одной стороны, красавцем, он был очень занят собой, почему при каждой более или менее продолжительной остановке на станции он, как говорят хохлы, «чепурился»: умывался, причесывался, душился, помадился и, словом, наводил красоту; с другой стороны, он вообразил, что, возложив на него обязанность доставить нас в места ссылки, власть препоручила ему государственную

миссию чрезвычайной важности. Вследствие этого он отравил своим поведением наше путешествие. Нашу поездку он обставил такими аллюрами, что, со стороны глядя, можно было бы подумать, будто и впрямь он вез огромной важности преступников, общение с которыми кого бы то ни было и даже простое лицезрение их не могло быть допущено без крупного нарушения интересов государства. При в'езде в какой-нибудь город наши кибитки, всегда крытые, задергивались кожаными фартуками, так что сидевших внутри нельзя было видеть. Каждую станцию он обращал в тюрьму, раз уж мы ее заняли.

У входа на станцию становились часовые, на обязанности которых было не пропускать на станцию решительно никого. Ни под каким видом нас не вводили на станцию, пока оттуда не выдворялись другие приезжающие.

Помню, как в каком-то городе нас, приехавших вечером и в виду того, что станция была вся занята приезжающими и их некуда было девать, наш поручик повез в гостиницу, где и занял на время, пока приготовляли для партии лошадей, зал для табльдота с примыкавшей к нему небольшой комнаткой. Мы расположились в маленькой комнатке пить чай, а после чая перешли в зал, среди которого стояли прекрасно сервированные столы. Над столами висели люстры.

По стенам высились роскошные трюмо, в которые мы и созерцали свои фигуры, разгуливая по залу в своих арестантских халатах и побрякивая кандалами. Никто из посторонних не был сюда допущен, так как у двух входов в этот зал стояли жандармы. Поручик Петров даже властям не доверял и не допускал некоторых из них к нам на станцию.

В Канске мы заняли станцию, и по обыкновению у входа был поставлен жандарм. И вот, в то время как поручик, расположившись в комнатке станционного писаря, наводил красоту, а мы в станционной комнате пили чай и закусывали, на станцию заявился канский исправник, довольно тучный, с седыми усами и добродушной физиономией жгутоносец. На часах в это время стоял жандарм, унтер-офицер Бухарцев, приближенный Петрова и его наушник, как говорили о нем некоторые другие жандармы, сблизившиеся дорогой с нами. Хотя он и не посмел не пропустить явившееся начальство, и исправник прошел к нам в комнату, уселся за стол и добродушно вступил с Анной Дмитриевной в беседу, но Бухарцев тотчас же шмыгнул в комнатку, где чепурился Петров, и доложил ему, что к нам явился исправник. Поручик Петров моментально выскочил из своей комнатушки в одной жилетке и вскочил в нашу комнату.

Повелительным жестом указуя на дверь, он начальнически произнес, обращаясь к исправнику:

— Прошу выйти!

Бедный исправник крайне смутился, но заявил:

— Помилуйте! Я здешний исправник!..

— Я вам повторяю: прошу выйти! — сверкая грозно своими черными глазами и не переменяя повелительной позы с указанием перстом на дверь, неумолимо повторил Петров.

Исправник, видя такую настойчивость и заметив, что в передней появилось несколько жандармских фигур, торопливо схватил свою фуражку и, крайне смущенный, поспешил оставить негостеприимную станцию, не удовлетворив своего любопытства узнать, кто мы и куда едем.

2766—16

Само собою разумеется, что, оберегая нас не только от близкого общения с людьми, но даже от взоров людских, поручик Петров не мог разрешать нам при проезде через города или большие села выходить на базар или в лавочку, чтобы самим купить что-нибудь из продуктов. На те наши деньги, которые находились у него на руках, он по нашему заявлению посылал за продуктами обыкновенно унтер-офицера Бухарцева, который и не упускал случая при этом заработать небольшую толику, показав на купленные предметы цену выше действительной.

Справедливость требует сказать, что в продолжение нашего путешествия, от 22 июля до 12 сентября, он все-таки разрешил нам два раза выйти из кибиток и пройтись близ дороги по лесу, в то время как кибитки наши шагом ехали по дороге. В первый раз мы совершили прогулку в Уральских горах и в этот раз подходили даже к тому столбу, на котором с одной стороны написано «Европа», а с другой — Азия», рассматривали надписи (преимущественно имена и фамилии), которые оставлялись на нем проезжающими, вольными и невольными, и наслаждались чудным горным воздухом и очаровательной красотой места. В другой раз нам была разрешена прогулка в лесу вскоре после выезда из Екатеринбурга. Помнится, что было тогда хорошее, уже не раннее, утро, и мы, в растянувшемся полукруге жандармов, шли по лесу, срывали попадавшиеся и давно невиданные нами лесные цветы; но прогулка эта была непродолжительна. Вдруг почему-то поручик Петров встревожился и торопливо начал усаживать нас в кибитки, и затем кибитки понеслись.

Приятели-жандармы потом пояснили нам, что поручик, увидя нагонявшую нас сзади тройку, испугался —

не погоня ли это с целью освободить кого-либо из нас. Жандармам было приказано быть наготове и даже в случае надобности стрелять. Я не знаю, был ли подобный режим по отношению к нашей партии установлен самим Петровым и являлся, так сказать, плодом его личного творчества или ему еще в Питере были предписаны принципы режима, и он в меру ума своего применял их на практике, но знаю, что других жандармы так не везли. Перед нашей партией провезли на Кару Союзова и Шишко. Вез их жандармский офицер Иванов с жандармами, но они могли в любом городе под стражей выходить и покупать для себя все необходимое. Так же вез без нарочитых стеснений и штабс-капитан Л. ту партию, в которой был Петр Маркелович Макаревич, сосланный по нашему делу на житье в Тюкалинск, Тобольской губернии. Л. непрестанно заливал за галстук, и иногда сопровождаемому им ссыльному приходилось хлопотать о бесчувственно наклюкавшемся начальстве.

Из жандармов нашей партии, относившихся к нам дружески, я помню рядового Ишутина и унтер-офицера Грибанова. Ишутин с унтер-офицером Бухарцевым сторожили меня, а Грибанов с рядовым Кузнецовым—мою жену...

Ишутин был наиболее приятный для нас с женой жандарм, и, когда была его очередь сидеть с нами внутри кибитки, мы были всегда рады его сообществу. От него мы узнали, что поручик Петров был сначала служащим в Зимнем дворце — надсмотрщиком за клозетами; прослужив там несколько лет, он однажды попался на глаза Александру II и обратил на себя своим ростом и всею своею внешностью царское внимание. Царь вступил с ним в разговор и, узнав, что он уже

давно служит во дворце, спросил: не желает ли он переменить род службы и куда бы он желал поступить? Петров из'явил желание быть жандармом, куда его и перевели по распоряжению царя. За верность этого рассказа я, конечно, не ручаюсь: быть может, тут есть доля выдумки со стороны Ишутина, который вообще относился к поручику довольно иронически, а быть может, это только легенда, циркулировавшая в среде жандармов о Петрове.

От Ишутина же мы узнали и о Бухарцеве, о том, что он фаворит Петрова и его наушник, и как он надувает поручика при покупке нам всего, что мы заказываем.

Он же нам передал известие об убийстве Мезенцева, после того как в каком-то городе поручик получил о том телеграфное извещение и сообщил всем нашим жандармам об этом несчастии в жандармском мире.

Сам Ишутин был крестьянин Ярославской губернии, если не изменяет мне память, из того места этой губернии, где главный промысел у крестьян — огородничество. С большой охотой он рассказывал мне о разведении капусты, о разных ее сортах, о том, как вообще надо обращаться с капустным огородом. По выслуге солдатского срока он мечтал возвратиться к своим капустникам.

Среди наших жандармов самым отвратительным был унтер-офицер Бухарцев — фигура юркая, округлая, предательская, наушник и холоп, выслужившийся перед Петровым, но в то же время эксплоатировавший не без иронии его ограниченность. Также возбуждал во мне невольную антипатию почему-то жандарм Матютя (хохол). Во время нашей поездки на барже, буксиро-

вавшейся пароходом из Тюмени до Томска, он садился зачастую в одиночку в стороне от остальной публики и, устремив свои глупые глаза в даль, начинал крякать по-утиному и проводил в этом идиотском занятии довольно долгое время. Помню, он однажды поразил меня невольно выслушанным мною рассказом о том, как однажды в его хохлацкой деревне они, парни, поймали конокрада-цыгана и как они привязали его к колесам двух телег за руки и за ноги, предварительно раздев до гола. затем при помощи этих колес вытянули и натянули «як струну»; вытянутого таким образом человека они начали полосовать батогами так, «що шкура распалась». Когда кто-то из слушавших жандармов, которым он рассказывал это, заметил: «Ну и живодеры же вы, хохлы окаянные»,—Матютя со спокойным убеждением ответил: «А нехай не ворюить! Вин собачой смерти достоин!»

Помню после этого такую сцену на станции. Надо заметить, что Брешковская не могла выносить ни рассказов о всякого рода фактах мучительства, ни описания их. Так, например, она не могла поэтому читать «Кудеяра» Костомарова [132]. И вот я стал было на станции в ее присутствии передавать рассказ жандарма Матюти. Брешковская замахала руками, произнеся: «Не надо! Не надо!» Я смеясь взял и якобы заткнул ей пальцами уши. Этот жест заметил наш поручик; он тотчас вызвал меня в переднюю и, упорно глядя на меня, попросил об'яснить, что означало. что я к ушам Брешковской подносил свои пальцы.

Очевидно, в этом он усмотрел какое-то конспираторство. Я расхохотался и успокоил его взволнованную душу,

Глава тридцать четвертая

ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ

От Перми до Тюмени мы ехали на тройках, а из Тюмени на арестантской барже, на буксирс парохода, по реке Туре, Иртышу, Оби и Томи ехали до Томска. На этой барже носовая часть палубы была в виде огромной клетки, в которую выпускали на прогулку уголовных ссыльных, ехавших на этой же барже. Так как среди людной партии уголовных оказались певцы, то иногда во время прогулок в этой клетке они составляли очень недурной хор и распевали популярные между арестантами песни. Припевы к некоторым песням они сопровождали своеобразным аккомпанементом оков. Это выходило очень эффектно и очень трогательно.

Я был как-то особенно поражен, когда в первый раз услыхал этот аккомпанемент оков.

В Томск мы приехали вечером. Поручик не счел нужным везти нас в город и решил переночевать на пристани, куда к утру были потребованы тройки.

В Томске жила мать Тимофея Александровича Квятковского, шедшего на каторгу в нашей партии с женой и маленьким сыном Шуркой. Отец Квятковского был когда-то городничим города Томска, но в то время, когда нас провозили, его уже не было в живых; мать же Квятковского жила с дочерью в Томске, где у нее был свой дом. Не помню, как случилось, что мать Квятковского узнала о пребывании сына Тимофея на пристани в партии арестантов-каторжников, но она в этот вечер явилась на пристань и с разрешения

Петрова (а предварительно, вероятно, томского губернатора) имела свидание с сыном, с невесткой и внуком.

На другой день, когда на пристани были поданы для нас лошади и нас повели под конвоем жандармов к кибиткам, среди немногочисленной публики стояла и мать Квятковского с дочерью. Бедная мать, увидя своего сына днем в арестантском наряде и в кандалах, уходящего от нее далеко на каторгу, с истерическим рыданием кинулась к проходившему мимо сыну, чтобы в последний раз обнять его и прижаться своей старой головой к его груди.

Жандарм, конвоировавший Квятковского, со всей грубой силой оттолкнул бедную женщину, и она, вероятно, упала бы, если б ее не подхватил кто-то из стоявшей публики. Другой жандарм схватил Квятковского и потащил его в другую сторону. Получилась безобразная сцена! Петров стал торопить нас к кибиткам, и под раздававшиеся рыдания матери Квятковского нас торопливо усадили в них и погнали лошадей.

Из Томска лихо везли нас на тройках. В моем представлении осталась именно эта лихая езда на сибирских почтовых тройках от Томска до Иркутска. Однажды при спуске троек с довольно крутой горки ямщик, ехавший сзади нашей тройки, не сдержал лошадей и налетел на нашу кибитку с такой силой, что оглоблей со всего размаха был пробит кузов нашей кибитки и конец оглобли просунулся между моей головой и головой рядом сидевшего со мной жандарма Кузнецова. Долго ахал жандарм после этого и благодарил господа за спасение от неминучей смерти, основательно полагая, что если бы конец оглобли тронул его или меня в затылок, то и дух вон вылетел бы из нас. В другой раз ночью наша кибитка заехала в ров и опрокинулась

на-бок, при чем при ее падении досталось пуще всего унтер-офицеру Бухарцеву, на сторону которого свалилась кибитка, и на него навалились я, вещи и Лариса. Бухарцев жаловался после этого на то, что его здорово придавило, так что он чуть не задохся. Мы с Ишутиным, что греха таить, злорадствовали такому приключению с Бухарцевым, ненавистным для нас наушником.

Кроме этих двух незначительных событий, длинный путь от Томска до Иркутска мы проехали без приключений. Везли нас до Иркутска день и ночь, не давая нам передыху. Летели мы по всему тракту довольно импозантно и шумно, так как на свое требование лошадей поручик Петров не принимал от станционных смотрителей никаких отказов: «чтоб были лошади — и шабаш». И вообще он держал себя всю дорогу по меньшей мере генерал-губернатором.

При проезде по Енисейской губернии меня поразило однажды то, что ямщик настилал нам в кибитку не сено, а невымолоченный овес. Я с удивлением спросил его, почему он не жалеет такого добра.

— Некуда с ним деваться, — отвечал ямщик.

Оказалось, что в тот год был такой урожай овса, что часть собранного овса крестьяне не вымолотили. а повернули на сено. Поражали меня и попадавшиеся нам по дороге в Енисейской губернии чудные леса. Какие росли там грандиозные деревья, а еще более грандиозные валялись и гнили в кучах валежника по краям дороги! Запечатлелся мне в памяти переезд на пароме через необычайно чистую и прозрачную воду «золотоносной» р. Бирюсы, как пояснил мне тогда Квятковский, у семьи которого в Енисейской губернии были свои небольшие золотые прииски.

29 августа мы в'ехали в Иркутск. Тут вышла маленькая комичная сцена. Поезд наш остановился на улице, где находилось губернское правление, и пока посланный разыскивал это правление, чтобы завезти нас во двор его для выяснения в губернском правлении, куда нас девать на время пребывания нашего в Иркутске, из церковной ограды на другой стороне улицы вышел поп. По обыкновению кибитки наши при в'езде в город были задернуты кожаными фартуками, так что нас, сидящих внутри, не было видно. На козлах же каждой кибитки сидели ямщик и жандарм. Поп, видя такой страшный поезд, в удивлении остановился и спросил, обращаясь к жандарму (Грибанову), сидевшему на козлах нашей кибитки: «Это что везете?»

Жандарм сверху козел крикнул в ответ: «Дрова!»

— Какие дрова?! — наивно-удивленно переспросил поп. Но в это время поезд двинулся и тройки стали в'езжать во двор какого-то дома. Поп, как-будто вдруг смекнув что-то, воскликнул: «А! Вот оно что!» и, удовлетворенный тем, что разгадал загадку, пошел своей дорогой.

В этом дворе мы пробыли недолго, и оттуда нас повезли в пересыльную тюрьму, где мы заняли две не особенно обширные камеры. В одной из них поместились, кажется, мы с Квятковским, в другой Брешковская с Чарушиными.

В Иркутске мы пробыли почти трое суток. К вечеру 31 августа мы выехали, оставив в иркутской тюрьме Чарушиных. Дело в том, что за несколько дней до нашего прибытия в Иркутск Чарушин начал серьезно недомогать и приехал в Иркутск уже совсем больным, с повышенной температурой, нестерпимой головной болью, с временной потерей сознания. У него начался

брюшной тиф. Здесь пришлось Анне Дмитриевне вынести небольшую борьбу с Петровым, который почему-то настойчиво не желал оставить Чарушина в Иркутске. Нелепый поручик убеждал Чарушиных ехать дальше, обещая где только возможно по пути—в Верхнеудинске, в Чите — предоставить Чарушину доктора. Но согласиться на это значило бы вести Чарушина на верную смерть. С помощью иркутских властей Анне Дмитриевне удалось добиться того, чтобы тяжко заболевшего мужа ее оставили в Иркутске до выздоровления, хотя, насколько мне помнится, она не смогла добиться, чтобы с больного Николая Аполлоновича были сняты во время болезни кандалы. Так он в кандалах и выболел брюшным тифом.

В Иркутске нас, ссыльных, водили в фотографию, где нас всех фотографировали.

И здесь не обошлось без курьеза.

В этот день наш поручик с утра уехал за чем-то в город. Все жандармы, кроме двух, оставленных дежурить при наших камерах, тоже с разрешения поручика отправились в город. В это время от иркутского начальства пришло в тюрьму распоряжение (кажется, из канцелярии генерал-губернатора барона Фридерикса) отправить нас в фотографию для изготовления наших карточек.

Огромный и по росту и по размерам головы, рук и ног смотритель иркутской тюрьмы, в исполнение полученного приказания, не дожидаясь нашего поручика, вывел Квятковского, Брешковскую, меня и Чарушину, так как и она, как ссылаемая административно в место ссылки мужа, тоже должна была сняться. Наши карточки нужны были начальству для приложения их к нашим статейным спискам.

Брешковская, Квятковский и я были в своих арестантских нарядах, в халатах с бубновыми тузами, и чирках, а мы с Квятковским и в кандалах. Чарушина же нарядилась не в арестантский халат, а в приличное пальто и шляпку. Кажется, что повели с нами и Чарушина, так как вопрос об его оставлении в Иркутске властями до этого дня еще не был вырешен. Да и повели нас в фотографию или в тот же день, как привезли в Иркутск, или на другой день утром.

Под конвоем местных солдат, отбывавших караул в тюрьме, и под надзором двух наших жандармов гигант-смотритель отправил нас в фотографию.

Мы шли довольно людными улицами, и наша необычная арестантская партия обращала на себя внимание прохожих и жителей многих домов, каковые или выходили за ворота или выглядывали в окна и созерцали интересное для них шествие. И звон кандалов, и арестанты, и прилично одетая среди них дама невольно возбуждали любопытство. Мы вошли уже в ту улицу, где находилась знаменитая в то время в Иркутске фотография, до которой оставалось не более трех кварталов, как нас нагнал на извозчике наш поручик, за которым ехали еще два или три извозчика с жандармами.

Поручик Петров был сильно разгневан тем, что мы были отправлены в фотографию без него и совсем не тем порядком, какой он признавал наиболее соответствующим государственным интересам.

Гнев свой он прежде всего сорвал на Анне Дмитриевне, тут же на улице накинувшись на нее за то, что она осмелилась не надеть арестантского халата и отправилась с нами в приличном одеянии. Тотчас же он усадил нас на извозчиков с жандармами, сам уселся

с Анной Дмитриевной и, отпустив солдатский конвой, оставшимися кварталами до фотографии привез нас тем порядком, какой он считал наиболее целесообразным в данном случае.

В фотографии он настоял, чтоб Анна Дмитриевна снялась в арестантском халате, для чего она и воспользовалась халатом Брешковской.

Как я уже сказал выше, Чарушин с женой был оставлен в Иркутске, чего так не хотелось поручику Петрову. Как потому говорили, поручик так жаждал во что бы ни стало самому везти и довезти до Кары Чарушиных потому, что будто бы за всякого исправно доставленного до места ссыльного сопровождавший партию получал особую денежную награду.

31 августа мы прибыли из Иркутска в Листвиничное, и было уже темно, когда мы с почтовой станции пешком направились к берегам Байкала, к пароходной пристани, где нас и посадили в какую-то маленькую пароходную каюту. За темнотой ночи мы так и не видели величественного Байкала, полюбоваться которым мне и жене удалось только через 22 года. Переехали мы Байкал вполне благополучно. «Священное море» было совершенно спокойно, и нас через несколько часов высадили на противоположный берег, где снова нас подхватили тройки и повезли к Сретенску на реке Шилке.

До Иркутска мы не знали, куда собственно нас везут. Не знали и везшие нас жандармы, кроме, быть может, одного Петрова, так как иначе мы от них непременно бы узнали об этом. И до Иркутска мы предполагали— не везут ли нас на Сахалин.

Только в Иркутске мы наконец узнали, что нас везут на Кару.

В Стретенске нас посадили на большую почтовую лодку и спустили вниз к Шилкинскому селению на левом берегу Шилки, откуда на почтовых тройках доставили сначала на Усть-Кару, а с Усть-Кары в Нижне-Карийскую тюрьму, место нашей каторги.

Глава тридцать пятая

ПРИБЫТИЕ НА КАРУ

Все наши тройки в'ехали во двор комендантского дома. Наш поручик вошел в дом коменданта. Через несколько минут вышел в сопровождении нашего поручика комендант — полковник Кононович. Не старый еще человек, хорошо сложенный, с умным, интеллигентным лицом, в военном мундире, с красным воротником. Полковник подошел к нашим телегам и попросил нас, арестованных, слезть. Он окликнул нас по списку. К нашему удивлению, во дворе появился кузнец и по приказанию полковника, уже к чрезвычайному удивлению нашего поручика, расковал нас и, забрав наши цепи, унес их. Полковник на вопросительный взгляд Петрова об'яснил, что по закону нам, как он видит из представленной поручиком бумаги, быть в кандалах не полагается, потому что мы уже числимся в разряде «исправляющихся», а не «испытуемых» каторжников. Каторжники же, перешедшие уже в разряд исправляющихся, освобождаются от заковки в кандалы.

Затем полковник, обращаясь ко мне и к Кьятковскому, сказал, чтобы мы пока попрощались со своими женами, так как он отправит нас в заключение, где уже находятся ранее прибывшие наши товарищи. При этом

он об'яснил Петрову, что для политических у него тюремного помещения нет и что поэтому ему пришлось занять для них на нижнем стану офицерскую гауптвахту.

Я и Лариса были неожиданно обескуражены тем, что нам приказывают прощаться, что нас снова разлучают. Бедная Лара тут не выдержала, и слезы неудержимо полились из глаз.

Полковник удивился.

— Отчего вы плачете? Неужели вы думали, что вас поместят здесь в одну тюрьму с мужем?! Этого и по закону не полагается, да это хуже было бы и для вас, и для мужа! Живя вне тюрьмы, вы можете заботиться о муже; вы будете иметь свидание с ним два раза в неделю; вы можете вне тюрьмы кое-что заработать!.. Вас всех, женщин, я вот сейчас сдам на попечение жене тоже одного политического ссыльного, г-же Успенской, за которой я послал. С ее помощью вы устроитесь на первых порах.

Полковник говорил так по-человечески, совсем не так, как можно было ожидать от заведующего ссыльно-каторжными, и мы с Ларой успокоились, тем более, что тут же действительно подтвердились его слова: во двор быстро вошла Александра Ивановна Успенская (урожденная Засулич). Она поздоровалась со всеми нами, как с родными, и наши женщины — Брешковская, жена Квятковского и Лариса — были ей сданы на попечение.

Поцеловавшись на прощание со своими женами, с Брешковской и Успенской и попрощавшись со своими жандармами, которые были для этого выстроены в ряд, под конвоем уже карийских казаков, я и Квятковский вольными ногами, без кандалов, к которым уже успели было привыкнуть, отправились на ту гауптвахту,

которую полковник Кононович определил для тех политических каторжников, которые оставлялись им в Нижней Каре.

Когда мы прибыли на гауптвахту, то к величайшей нашей радости тут оказались уже наши друзья и товарищи — Шишко и Союзов, за несколько дней до нас прибывшие на Кару. Кроме Шишко и Союзова, оказался в это время на гауптвахте еще и Терентьев, осужденный по особому процессу вместе с Тефтулом[133]. На гауптвахте еще жил и Евгений Степанович Семяновский[134], но в момент нашего прибытия туда Семяновского не было; он был в это время у Алексея Кирилловича Кузнецова[135] (нечаевца), заведывавшего по поручению полковника Кононовича приютом для детей ссыльно-каторжных, мимо здания которого мы проезжали

Вскоре, впрочем, пришел и Семяновский. Он, увидав наши тройки из окон приюта, поторопился вернуться на гауптвахту, интересуясь узнать, оставят ли нас на Нижней Каре.

Немного спустя на гауптвахту явился полковник Кононович с нашим поручиком Петровым, очень любопытствовавшим взглянуть на нашу «каторгу». Как потом говорил нам полковник, поручик Петров был крайне неприятно поражен тем, что увидел, и заметил: «Разве это каторга? Это — рай, а не каторга!»

Для Петрова, несомненно, все встреченное на Каре было поразительно. Все время, пока он нас вез, мы были в кандалах, все время он тщательно оберегал нас не только от общения с миром людей, но даже от глазу людского, и воображал, что уж, конечно, на каторге нам никакой поблажки не будет! И вдруг, прежде всего — кандалы долой, вместо тюрьмы — гауптвахта офицерская, полковник говорит каторжникам «вы» и «господа»

и не требует от них, чтобы они, как полагается каторжникам, стояли перед начальством без шапок! Оказалось, что для таких каторжников, как мы, даже работ никаких не полагается! Ну, как же не рай?!

Петров всего этого, конечно, не одобрил и по прибытии в Питер доложил об этом кому следует в соответствующем освещении, как предполагал Кононович. Но полковник Кононович был человек умный и самостоятельный и прекрасно умел отгрызаться перед начальством, пока только была возможность.

Глава тридцать шестая

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ В ТЮРЬМЕ

Гауптвахта наша состояла из средней комнаты, вдоль всего здания, с одной выходной наружу дверью, по обеим сторонам которой было по окну. Эта комната служила кордегардией. В ней пребывали сторожившие нас казаки (обязанности по караулу несли забайкальские казаки в количестве батальона, наряжавшиеся на Кару из призванных на действительную службу казачьих полков). Стена, противоположная той, в которой была дверь, была глухая и без окон. Здесь были скамьи, на которых сидели или лежали наши стражники. Другие две стены были снабжены дверьми, — одна из них была с двумя, а другая — с одной дверью. Каждая дверь вела в отдельные комнаты, и стена с одной дверью отделяла от кордегардии довольно большую комнату, состоявшую из двух частей. Небольшая часть этой комнаты, отделенная перегородкой, перегораживалась еще на две небольшие комнатки, с маленькими, в квадрат-

ную четверть окошечками с решетками. Эти комнатки, по всей вероятности, служили карцерами при гауптвахте. Из каждой комнатушки была дверь в большую комнату. Эта последняя была довольно светлая; в ней было два окна, одно на юг, другое на запад, тоже с негустыми железными решетками.

В этой большой комнате с маленькими клетушками поселили меня и Шишко, а когда приехал Чарушин (в октябре или ноябре месяце), то и он поселился с нами. Я занимал одну маленькую клетушку, Чарушин и Шишко занимали другую, большую клетушку. Большая же комната была нашей общей столовой, чайной и некоторым образом клубом, в котором по вечерам мы собирались попеть, почитать вслух или, как выражался Шишко, «поразводить бобы». В эту комнату сходились и те товарищи (Семяновский и Квятковский, Союзов и Терентьев), которые были поселены в двух остальных комнатах. Союзову одно время было позволено заниматься здесь столярством (он был прекрасный, чрезвычайно талантливый столяр-художник).

В этой же комнате, где жили Союзов и Терентьев, на первых порах, пока мы не устроились с обедами вне тюрьмы, мы готовили пищу сами, как умели. Поварствовал преимущественно я, варя для братии суп и жаря котлеты не столько в меру уменья своего, сколько в меру своего вдохновения. Впрочем, публика ела кушанья моей стряпни всегда с аппетитом, и я помню хорошо, как даже Семяновский однажды весьма похвалил мои котлеты, а Александра Григорьевна Квятковская, пришедшая на свидание к мужу во время нашего обеда, очень одобрила мой суп.

Моя жена и жена Квятковского, а также и Брешковская устроились с помощью нечаевцев Кузнецова

и Успенского [136] у их жен довольно сносно. Брешковская и Квятковская с сынишкой, пока последняя не купила для себя отдельного домишка, поселились у Алексея Кирилловича Кузнецова, которому полагалась даровая квартира при детском приюте, а моя жена—у Успенских, у которых был свой дом, с довольно большим огородом.

Во дворе Успенского была еще заброшенная маленькая банька, которую Успенский предложил моей жене и Брешковской переделать в избушку. С помощью полковника Кононовича, давшего рамы для окон и кирпича для голландской печи, банька была переделана в маленькую хибарку в одну комнату, с двумя окошками, с кладовой («казенкой» по-сибирски) и с сенями. Выбеленная внутри, с простым некрашенным полом, теплая, невысокая хибарка представляла довольно сносное жилье. В ней поселилась Лариса с Брешковской.

Наша жизнь на гауптвахте, хотя была монотонна и однообразна, но особой тягостности не заключала. Работ нам никаких не давали, и даже стряпня обедов очень скоро прекратилась, так как жена Квятковского взялась кормить всех нас и, наняв стряпуху вскладчину, готовила для нас обеды, которые и посылала нам со стряпухой. Два раза в неделю ко мне, Чарушину и Квятковскому приходили на свидание наши жены. Свидания были в наших камерах, никаких посторонних соглядатаев при этом не было, и в этих свиданиях принимали участие все заключенные.

Союзов с участием Терентьева, жившего с ним в одной камере, занимался столярничаньем. Квятковский, поселившийся с Семяновским, занимался переплетничеством. Семяновский по целым дням поедом ел журналы, газеты и книги, читал в это время Дюринга [137]

в подлиннике (новинка тогдашняя), изучал английский язык (французский и немецкий он знал прекрасно).

Хуже всего приходилось Шишко, так как он еще в крепости стал сильно страдать глазами, а на Каре его глаза совсем отказывались ему служить. Чрезвычайная раздражительность сетчатки была такова, что малейший блеск искры, свет зажженной спички причиняли ему нестерпимое физическое страдание, не говоря уже о более сильных и продолжительных источниках света. Это заставляло его всячески ограждать свои глаза от света. Он жил в полутемноте, носил очень темные дымчатые очки и зеленый козырь при шапке. Словом, судьба, а вернее всего, тюремное заключение, свело его на положение слепого: о чтении и писании он не мог и помышлять.

Как это ни странно, а такое горестное для Шишко обстоятельство для меня явилось сущей благодатью! Дело в том, что Шишко, человек с огромным умом, с неутомимою жаждою знания и умственной работы, мог удовлетворять теперь свои умственные потребности только с помощью кого-либо другого. А это и было мне на-руку. Я стал читать ему вслух книги, а что самое для меня главное, я стал изучать с ним французский и английский языки, читая ему книги вслух на том и на другом языке. Таким образом судьба послала мне в лице Шишко знающего, терпеливого и настойчивого учителя. Говорю — настойчивого, ибо в часы, положенные на чтение английской или французской книги, Шишко неизменно заявлял: «А теперь почитаем Пардэ или «Отверженные» Гюго [138]». И уже от положенного возможно было уклониться лишь при самых действительно неустранимых причинах.

Думается, что если бы он мог обходиться без помощи другого в умственных занятиях, он наверняка не мог бы уделять столько времени на занятия со мной, так как по своим склонностям он погрузился бы в самостоятельные систематические изучения, а я стеснялся бы слишком злоупотреблять его добротой для себя. Курьезно и достойно замечания наше изучение английского языка.

Дело в том, что как по-французски, так и по английски мне приходилось читать вслух. По-французски дело шло довольно гладко, так как я произносил по-французски более или менее правильно, — но гладко шли занятия и по английскому языку! Я, занимавшийся английским языком в Петропавловской крепости по самоучителю и никогда не слыхавший английского говора, естественно, не мог правильно произносить английские слова, а потому читал вслух с таким произношением английских слов, что ни один слушатель со стороны, знающий английский язык, никогда не догадался бы без предупреждения, на каком языке происходит чтение. Шишко же беспрепятственно понимал почти все, что я произносил по-английски со смелостью настоящего англичанина. Лишь иногда, когда я так произносил слово, что Шишко не мог даже догадаться, из каких букв оно состоит, он спрашивал меня, как слово написано. И несмотря на столь неблагоприятное обстоятельство, как мое тарабарское чтение, я при помощи Шишко, ходячего словаря по французскому и английскому языкам, прочел на английском языке не только какую-то книгу изумительной писательницы Пардэ, доставлявшей нам с Шишко своими ханжески-елейными благоглупостями иногда минуты неподдельного веселья, но и «Пиквика» и «Барнеби Рэдж» Диккенса [130].

С приездом Чарушина, которого вместе с женой доставил из Иркутска на Кару иркутский жандармский офицер Халтурин (кажется, бывший потом начальником карийской политической тюрьмы), Шишко поселился вместе с Чарушиным в одной из комнатушек-карцеров и стал и с ним заниматься, насколько помнится, немецким языком.

Раз в сутки нас выводили под конвоем казаков на прогулку.

Мы прохаживались по дороге от нашей гауптвахты по направлению к Средней Каре, мимо большой так называемой Костыльской сопки, получившей свое название от могилы жены открывателя карийских золотых площадей Костылева, видневшейся с ее оградою на самой вершине сопки. Далеко по этой дороге мы не заходили, и эти бессмысленные и неинтересные прогулки нам надоели.

Мы попросили полковника Кононовича назначить для нас какие-нибудь работы. Он дал распоряжение смотрителю нижне-карийской тюрьмы, неимоверному силачу Барину выводить нас ежедневно на колку острожных дров, сложенных недалеко от нашей гауптвахты в кубические сажени. Стали нас выводить под конвоем к этим саженям, но мы так старательно кололи лиственничные дрова, что из нашей колки, по мнению Барина, получались не поленья, а щепки. Он, заведывавший хозяйством тюрьмы, взвыл от нашей колки и обратился к Кононовичу с просьбой об отмене этой работы. Нас снова перевели на прогулки.

Так тянулось до приезда на Кару в марте месяце забайкальского военного губернатора Педашенка, после от'езда которого мы были выпущены из тюрьмы в «вольную команду».

Некоторые из наших женщин, как Успенская, Чарушина и Бибергаль (муж которой, осужденный на 15 лет каторги за демонстрацию на Казанской площади в декабре 1876 года, сидел один в тюрьме на Средней Каре; лишь в 1879 году к нему посадили в компанию привезенного Бобохова[140] — юношу лет 18), познакомились с женой Кононовича, доброй интеллигентной женщиной, томившейся в карийском захолустье без соответствующей интеллигентной среды. Елизавета Николаевна была очень рада прибывшим интеллигентным женщинам и, не оправдывая гонений на мнения и прогрессивные стремления, она постаралась привлечь наших женщин в свой дом, искренно их полюбила и считала их всегда своими лучшими гостями, с которыми она могла дружески и со взаимным пониманием жить духовными интересами и делиться задушевными мыслями.

Моя жена — человек мало общительный, признававший только «свою среду» и тоже принадлежавший к разряду «молчальников» и «про себя живущих», а также Брешковская, в силу своего положения ссыльно-каторжной, да Ал. Гр. Квятковская, больше занятая своим хозяйством, не бывали у Елизаветы Николаевны, хотя последняя и к нам, Синегубам, и к Квятковским всегда относилась с полным доброжелательством. Кроме того, мою жену удерживало от близости с m-me Кононович еще и то, что эта близость подвергала бы постоянному испытанию искренность отношений: не обо всем касающемся жизни ссыльных можно было вести речь у Кононовичей, и постоянно в таких случаях дипломатничать было бы очень неприятно. И такие отношения были не по душе Ларисе.

Глава тридцать седьмая

В ВОЛЬНОЙ КОМАНДЕ

Как я уже сказал, в марте месяце 1879 года приехал на Кару забайкальский военный губернатор Педашенко, главное начальство в области, а стало быть, и главное начальство над Карой. В то время от него многое зависело в нашей судьбе. Но он не только не проявлял относительно политической каторги стремления дать ей плети и скорпионы, но ознаменовал эту свою поездку на Кару разрешением выпустить из тюрьмы в вольную команду наших болевших товарищей — Семяновского, страдавшего пороком сердца, и Чарушина, недавно вставшего с одра тяжкой болезни и для которого сиденье в тюрьме не способствовало, конечно, восстановлению сил.

Впрочем, по от'езде Педашенка полковник Кононович выпустил в вольную команду всех нас... с условием, что в случае приезда какого-либо начальства на Кару мы немедленно должны являться в арестантский лазарет и фигурировать перед начальством в качестве болящих, а не выпущенных в «вольную команду». Это вскоре после выпуска нас из тюрьмы нам и пришлось проделать при появлении на Каре инспектора сибирских тюрем Згарского. Лишь только последний появился на Усть-Каре, как оттуда было дано знать об этом Кононовичу, который и отправился его встречать, а смотритель Нижне-Карийской тюрьмы Барин немедленно оповестил нас, чтобы мы явились в лазарет. Здесь карийский доктор Кокосов [141], нарядив нас в больничные халаты, поместил в особую большую палату, в которой на другой день навестило нас приехавшее начальство

и милостиво осведомилось у каждого из нас, чем кто болен. Пришлось выдумывать болезни экспромтом, так как мы не сообразили накануне посоветоваться с доктором, что отвечать насчет наших хворей. да никак мы и не думали, чтобы приезжее начальство стало интересоваться. чем мы больны. Хвори наши не носили опасного характера, а потому весьма естественно, что милостивый посетитель, вышедши из нашей палаты. все-таки спросил Кононовича: «Почему они не в цепях? Разве им полагается быть без цепей?»

После от'езда Згарского мы были вновь выпущены, и уж больше нам не пришлось разыгрывать эту комедию.

Когда мы вышли в вольную команду, на Каре уже не было ни Кузнецова. ни Кати Брешковской: их обоих отправили на поселение — Кузнецова в г. Нерчинск, а Брешковскую—в г. Баргузин, Забайкальской области

. . . .

Попав на поселение в Баргузин, Брешковская по складу своей натуры не могла сидеть спокойно в этой мурье и ждать у моря погоды, ждать тихо-смирно того времени, когда представится ей легальная возможность вернуться в Россию и там снова начать борьбу против гнета проклятого произвола. Боевой человек, она заразила своей боевой энергией и встретившихся ей товарищей по судьбе. и вот они вчетвером (Брешковская. Шамарин, Тютчев и Линев [142]) из Баргузина бежали. Но убежать из Баргузинской тайги не так-то легко. Они заблудились. и их поймали. Брешковская. как поселянка, была приговорена судом вновь на каторгу, и в конце 1881 или в начале 1882 года она была препровождена обратно на Кару, когда меня и других по нашему процессу (кроме Квятковского) там уже не было.

Глава тридцать восьмая

„ПРЕСТУПНИКИ“ И „ПРЕСТУПНИЦЫ“

В этой главе я обрисую некоторых выдающихся членов той небольшой общины из политических каторжан, которая образовалась на Каре со времени выпуска нас в вольную команду. Кстати замечу, что на Каре нас, политических, казаки и обыватели называли в отличие от уголовных арестантов и для сокращения вместо «государственные преступники», как мы значились официально, просто «преступниками», а жен наших — «преступницами». Если приходилось кому-либо из нас притти к полковнику по делу, то вестовой докладывал: «ваше вско-благородие, преступник пришел» или «преступница пришла». Но надо сказать, что со словом «преступник» или «преступница» казаки и обыватели соединяли что-то более или менее почетное, что заставляло их относиться к нам совсем не так, как к уголовным арестантам.

На Нижней Каре из «преступников» и «преступниц» жили и имели свой дом, как я уже сказал, Петр Гаврилович Успенский с женой Александрой Ивановной и с сыном Витей, лет 9—10 *. Жили они на свои средства.

Александра Ивановна акушерствовала, исполняла обязанности фельдшерицы при женском отделении карийского лазарета и зарабатывала этим небольшую толику. Приветливая, добрая. отзывчивая, очень привлекательная по наружности, любимая и обывательской

---

* Витя—Виктор Петрович Успенский — впоследствии член второй Государственной Думы и помощник секретаря президиума Думы.

публикой, к которой она шла при первом зове на помощь в качестве акушерки и фельдшерицы, она была и в нашей ссыльной карийской семье одним из самых любимых членов. Чуждая житейской мелочности, всегда ровная и сдержанная, никогда не позволявшая себе дурно отозваться за глаза о ком бы то ни было из товарищей, не любившая распрей, она многое горькое переживала про себя, не отравляя жизни окружающих людей ни гневом, ни жалобой. Для больных она была прямо клад: такой внимательной, спокойной и терпеливой ухаживательницы за недугующим трудно было найти. И никогда болящим не было отказа с ее стороны: и днем, ночью, и в осеннюю дождливую, и в зимнюю холодную ночь. И не только на Каре, но и в располагавшихся поблизости Кары казачьих поселках.

Петр Гаврилович Успенский учительствовал. У него на дому было что-то в роде небольшой школки: человек пять—шесть мальчиков приходили к нему ежедневно по утрам обучаться, и это занятие доставляло ему не дурной заработок. Петр Гаврилович был большой любитель огородничества. При доме его был порядочный огород, который он и обрабатывал вместе с жившим у него Осипом Калиновским, польским крестьянином, сосланным в долгосрочную каторгу за участие в восстании 1863 г. Калиновский был тихий, честный, работящий человек, вполне сознательно принявший участие в восстании, чтобы добыть свободу своей родине от чужеземного ига.

Вместе с Петром Гавриловичем и Осипом всегда почти можно было видеть в огороде и Витю, у которого была неразрывная дружба с отцом. Розовый, живой, веселый, но не озорной ребенок, пользовавшийся симпатией всей нашей ссыльной общины, он был всегда

неразлучен с отцом—и в школе, и в огороде, и за охотой на грибы и ягоды. Действительно, у Петра Гавриловича было особенное уменье обходиться с ребятами. Серьезный и довольно замкнутый в себе и даже угрюмый человек, он тем не менее не отпугивал от себя детишек, а, напротив, располагал к себе и умел пользоваться этим расположением, как учитель и педагог. Сын же в нем, что называется, души не чаял.

Самый крупный из нечаевцев, Петр Гаврилович и в то время, когда я познакомился с ним, представлял, на мой взгляд, очень ценную боевую силу. Из всех нас, бывших в эти годы на Каре в вольной команде, он единственный не оставлял мысли об организации побегов политических каторжан. Когда прибыли на Кару и были посажены на опустевшую после нас гауптвахту Наташа Армфельд [143], Маруся Ковалевская [144], Мария Кутитонская [145] и Катя Сарандович [146] и когда между ними возникла мысль об устройстве их побега (в особенности мечтала об этом Ковалевская), то горячего и энергичного помощника они нашли только в Успенском. Он тотчас же взялся за серьезную подготовку к этому. Прежде всего он завел близкое знакомство кое с кем из казаков и с двумя из них, жителями ближайших к Каре казачьих поселков, очень коротко сошелся и нашел в них не только сочувствие затеваемому, но в одном из них и деятельнейшего помощника. Вместе с ним Петр Гаврилович устроил в горах, окружающих Кару и тянущихся во все стороны горизонта на неизмеримое пространство, особенное убежище в укромном месте, куда не заходила нога человека, — убежище, в котором мог бы прожить бежавший и переждать время самой горячей тревоги и горячих розысков. Насколько помнится мне, в это убежище была завезена и провизия

не менее, как на месяц, когда предполагалось, что Ковалевская убежит и переждет там время тревоги; а в это время должен был подойти из Забайкалья на Кару Дебагорий-Мокриевич [147], сменившийся в пути следования с уголовным, перебивавшийся, чтобы скрыться, в Забайкалье и задумавший выручить своего старого товарища Марусю Ковалевскую.

По своим убеждениям П. Г. Успенский был истый нечаевец, хотя и признававший известную цену за культурной работой в народе, но видевший единственный способ избавления от русского деспотизма и единственный надежный путь к свободе народа в народном бунте. Не особенно большого роста, здоровый, несколько даже тучный человек, с большим, открытым лбом, с синими глазами, с роскошной бородой, с свежим цветом лица, с редко появлявшейся и тем более приятной улыбкой, он сразу останавливал на себе внимание и производил всегда впечатление человека, которого игнорировать нельзя. Он был не только образованный и начитанный, но и с большим практическим умом человек и, как мне казалось, он, веря в лучшее будущее людей, не особенно верил в человека настоящего времени и едва ли с кем-либо мог быть в интимных дружеских отношениях.

Должен отметить еще одну черту Петра Гавриловича: он был поэт и иногда услаждал нас стихотворными экспромтами, в которых в шутливом тоне воспевал каждого из нас. У него были и серьезные стихотворения, и я помню хорошо, что они мне нравились как по форме, всегда безукоризненной, так и по содержанию. К сожалению, он сам не придавал никакого значения этой своей способности и едва ли сберегал свои произведения.

Я выше упомянул о женщинах, занявших наше место на гауптвахте; скажу, кстати, о постигшей их судьбе.

Наташа Армфельд, будучи выпущена в вольную команду уже тогда, когда мы уехали с Кары, вышла замуж за товарища по своему процессу — Алексея Комова [148], впоследствии вконец спившегося человека и совершенно утерявшего свой прежний необычайно симпатичный облик. Недолго она покрасовалась вне тюрьмы и года через полтора умерла на Каре от горловой чахотки, оставив сиротами Комова и маленького сынишку, вскоре без нее, впрочем, тоже умершего.

Маруся Ковалевская тоже погибла на Каре во время трагедии с Сигидой [149]: она вместе с Калюжной и со Смирницкой отравилась после смерти Сигиды.

Кутитонская, мстя читинскому губернатору Ильяшевичу за насилия над карийцами после побега с Кары Мышкина и других семи товарищей, будучи на поселении, стреляла в него, но не убила, а лишь ранила его поверхностно в жирный живот. За это покушение она была приговорена к смертной казни, но казнь, по ходатайству будто бы самого Ильяшевича, была заменена бессрочной каторгой; впрочем, на каторгу ее не вернули, и она вскоре скончалась в одной из иркутских тюрем...

. . . .

Чарушины, а с ними Шишко, поместились в одном незанятом, принадлежавшем карийскому управлению доме.

В силу своей почти слепоты Шишко не мог заниматься уроками, так как эти занятия требовали непременного и постоянного участия зрения при чтении с учениками и при поправках ученических диктовок и задач. Для жизни ему из России высылала небольшие средства мать. Жизнь его была бы мучительна и бессодержательна, если бы его положение хоть

несколько не смягчалось занятиями со мною по языкам и совместным чтением книг и журналов. а также и чтением по-французски с Чарушиной.

Когда же Союзов устроил летом во дворе дома Квятковских навес, поставил там верстак и стал заниматься столярством, то Шишко присоединился к нему и в тени навеса стал обучаться у него этому ремеслу. Это обучение не было простым препровождением времени. Нет. Шишко серьезно и методически занимался у Союзова столярством... По выходе на поселение в Читу, где поселился и Союзов. основавший там артельную мастерскую, состоявшую в первые годы существования исключительно из государственных ссыльных. Шишко был лучшим мастером в ней после Союзова и обеспечивал свое существование десятичасовым (минимум) рабочим днем столяра. Таким мастером он мог сделаться лишь благодаря болезни глаз, которая явилась для Шишко помехой в деле умственных занятий.

Эта помеха, при его непреодолимой склонности к работе ума, тяжко его удручала и, несомненно, была одной из причин. препятствовавших ему в долгие годы выработать из себя крупного литературного работника, каким он явился лишь после того, как бежал из Сибири за границу, где благодаря лучшим условиям жизни и правильному медицинскому уходу он восстановил свое зрение.

Среди нас на Каре Шишко и в это время был, после Семяновского, самый образованный. наиболее научно осведомленный человек. Он хорошо знал математику и естественные науки, историю и политическую экономию. свободно читал книги на французском и английском языках, был основательно знаком с русской научной и художественной литературой. Но до высшей степени скромный. органически неспособный высовы-

ваться, выскакивать вперед, чтобы блеснуть перед людьми своими знаниями и талантами, безгранично гуманный, любяще, бережно и уступчиво относящийся к людям, он мог проходить среди них совсем незаметно, не блестя и не выдаваясь. Только тот, кто, как говорится, с'едал с Шишко несколько пудов соли, постигал, что за крупную нравственную и умственную силу он являл собой. По крайней мере что касается меня, то с тех пор, как я его узнал, я всегда это чувствовал по отношению к нему. Даже и в физическом отношении он на поверхностный взгляд производил впечатление и не широкоплечего, и не сильного, и вообще и в этом отношении не выдающегося. Среднего роста, с красиво устроенной головой, с живыми бархатными карими глазами, с свежим небольшим румянцем на щеках, с хорошими усами и небольшой в то время бородкой, с мягким, добрым и, я бы сказал, нежным голосом, он как-то так странно держал свои плечи и всю свою фигуру, что казался и узкоплечим, и значительно меньше своего действительного роста. Но я был однажды, еще в Питере, неожиданно поражен, открыв, что Шишко и широкоплеч, и чрезвычайно силен, и что в этом отношении наружность его обманчива. И впоследствии неоднократно пришлось в этом убедиться.

Непоколебимо убежденный человек, безукоризненно чистый в нравственном отношении, с выдающимся ясным умом, даровитый и талантливый, с редкой глубокочеловечной терпимостью, он сам решительно не сознавал своей ценности...

. . . .

В кружке чайковцев это был дельный и чрезвычайно деятельный пропагандист среди рабочих. Когда начался разгром чайковцев, Шишко с одним из своих

учеников, рабочим Шиловым, покинул Петербург и пустился бродить по Уралу с целью ознакомления с народом и пропаганды.

В силу своей прямо-таки непозволительной недооценки себя он, будучи еще в России, не решался выступать на писательском поприще, хотя его единственное, кажется, произведение в молодости, — революционный листок, начинающийся словами: «Чтой-то, братцы», — приобрело в революционной среде того времени огромную популярность, сильно читалось рабочими и служило у всех последующих пропагандистов и агитаторов одним из постоянных орудий пропаганды.

Кто знаком с политическими процессами 70-х годов, тот хорошо знает, как часто фигурирует «Чтой-то, братцы» в той нелегальной литературе, которая отбиралась при обысках жандармами и служила затем обвинительным материалом для прокуроров.

Несмотря на непреодолимую скромность и чрезвычайную мягкость и уступчивость в обращении с людьми, он иногда поражал меня той смелостью, с какой он отпарировал наглецам. Кажется, наглость в людях была тем качеством, которого Шишко органически не выносил. Это счастливое обстоятельство не раз спасало нашу ссыльную общину, когда мы уже жили на поселении в Чите, от отравления нам жизни со стороны нагло втиравшихся к нам некоторых обывателей, от которых все мы просто не знали, как избавиться, куда деваться. Сплетники, празднолюбцы, нахальные лгуны затесывались иногда к нам в знакомство и начинали посещать каждый свободный день или мастерскую или когонибудь из живших отдельно товарищей во время наших общих собраний. Появление такой фигуры страшно стесняло нас, но, несмотря на все аллюры, которые мы

проделывали, чтобы дать понять наглецам всю нежелательность их присутствия, они, не обращая на них никакого внимания, продолжали заседать у нас, сколько влезет, и вести себя самым непринужденным образом. Мы, что называется, начинали волком выть от такого посетителя. Тогда выручал Шишко. Этот скромный и тихий человек подходил к наглецу и прямо и спокойно заявлял ему: «Вот что! Уходите, пожалуйста, от нас! Вы нас стесняете! Ваше присутствие нам неприятно. Ничего общего у нас с вами нет и незачем вам бывать у нас. Оставьте нас в покое!» Это говорилось так просто и так решительно, без всякого оскорбительного оттенка в тоне, и выраженное таким образом предложение казалось столь резонным и естественным, что даже наглецы не находили возражений и, забрав свою шапку, удалялись с тем, чтоб уж больше к нам не возвращаться.

Настойчивость была тоже одной из выдающихся черт в характере Шишко: то, что признано разумным и что положено сделать, то будет сделано неукоснительно. Благодаря только этому качеству характера Шишко не ослеп и спас свое зрение систематически неуклонным выполнением предписанного ему режима, а также благодаря этому же качеству он наверстал в умственном отношении все упущенное им за долгие годы состояния слепого.

Николай Аполлонович Чарушин был один из самых ранних и самых выдающихся членов кружка чайковцев. Стройный, высокий, с благородными движениями, с крупным, умным, упорным лбом, осененным в дни молодости эффектной, мягко-огненного цвета шевелюрой, с твердым и решительным взглядом голубых глаз, — такова была его внешность в то время.

2766—17

Он принадлежал к типу людей «молчальников», и. кроме того, я не знал в жизни человека, к которому более, чем к нему, подходил бы эпитет «корректный» и «муж совета». Всегда сдержанный, чуждый экспансивности, строго серьёзный человек, тем не менее он внушал о себе представление, как о человеке сердечном и нежном, но лишь не любящем «миндальничать».

Строго логичный и неподдающийся порыву, в особенности в «деле», он не одобрял экспансивности и «скоропалительности» и в других. Мир не должен был знать обо всем, что происходило в душе борца, и дело должно быть сделано и не испорчено, цель поставленная должна быть достигнута,—без этого борьба невозможна. Выдержка, стойкость, держание себя в руках, поменьше разговора, побольше думы и дела,—вот Чарушин.

При таких свойствах ума и характера вполне естественно, что Чарушин являлся одной из центральных фигур кружка чайковцев: Чайковский, Соня Перовская. Чарушин. Купреянов. а впоследствии Кравчинский, Клеменс, Кропоткин, а затем уже все остальные. И Чарушин, без всякого усилия с его стороны, был в небольшой революционной армии пионеров русского освободительного движения не простой «серый рядовой».

Глава тридцать девятая

КАРИЙСКАЯ ПРИРОДА

В вольной команде жизнь наша потекла довольно свободно, и после российского крепостного и тюремного режима мы почти совсем не чувствовали себя стесненными. Хотя официально мы числились каторж-

никами, но фактически мы каторжниками не были. Уголовные каторжники, выпущенные в вольную команду, обязывались известными, так сказать, повинностями. Они облагались «уроками» по доставке дров, бревен, леса, сена и т. п., которые они обязаны были, как каторжники, выполнить во что бы то ни стало, а мастеровые обязаны были работать ежедневно в цехах и мастерских.

Некоторая часть из выпущенных в вольную команду отдавалась в сторожа, в кучера, в лакеи к служащим по тюремному ведомству, а более интеллигентные служили писцами в управлении или вели канцелярщину при тюремных смотрителях, получая за это иногда даже постоянное, хотя и небольшое жалованье. Мы же, выпущенные в вольную команду, никакими работами не обязывались, никаких казенных повинностей не несли. Мы работали только для себя, и каждый из нас жил тем трудом, какой находил для себя наиболее подходящим.

Полковник Кононович не только не выдумывал для нас нарочитых мер стеснения, но, напротив, выказывая при всяком случае, что он ставит нас выше всех своих сослуживцев, к великой досаде последних, обставил наше существование так, что мы чувствовали себя больше «культурным» элементом карийского общества, чем каторжниками.

Мы жили почти бесконтрольно со стороны властей, стоявших над нами. Мы уходили, не спрашиваясь ни у кого, куда нам угодно: в горы, в тайгу, на соседние станы. Правда, переписка наша шла через управление, и отправляемые и получаемые нами письма должны были прочитываться комендантом или его помощником.

Правда, мы не имели права отлучаться за карийские пределы без разрешения коменданта или его помощ-

ника. Но этих двух обстоятельств Кононович официально устранить не мог, — на него и без того сыпались анонимные доносы за его либерализм по отношению к нам. В остальном мы ни в чем не были стеснены, и могли жить так, что по неделям и месяцам не видали начальства, а оно не видало нас.

И мы поэтому по общему уговору всех бывших в то время в вольной команде порешили, что, покуда будет существовать на Каре подобный режим по отношению к политическим, никто из нас не убежит, дабы не вызвать репрессий и не испортить условий существования будущим каторжанам, из которых большинству бежать не пришлось бы, а жить здесь они были бы принуждены.

На первых порах житья в вольной команде некоторые из нас попытались было якшаться с карийской публикой, установить общение. Стали бывать у доктора Кокосова, медицинской помощью которого приходилось пользоваться, у помощника коменданта Бутакова, у смотрителя золотопромывальной машины Зеленского, у купца Белокопытова, а Успенский бывал иногда у смотрителей тюрем—нижнекарийского Барина и среднекарийского Тараторина. Но в силу очень большой разницы в духовном строе ихнем и нашем эти общения не вытанцовывались и поддерживались крайне туго, а с некоторыми в конце концов и совсем оборвались. И жизнь наша протекала главным образом в кругу своих да в общении с чудной карийской природой.

А природа была действительно очаровательная!

Чудные кряжи Яблонового хребта

С их тайгами, всегда изумрудными,
С их отвесными скалами чудными,
Молчаливою армией грозною

Обступили Кару златоносную.
А Кара меж отвалами роется
И, ревя, день и ночь беспокоится.
Ропщет, злится струя ее мутная,
Что какая-то сила беспутная
Ее область свободную, горную,
Осквернила неволей позорною.

Лишь только нас выпустили из тюрьмы, как на другой же день Союзов, Квятковский и я не утерпели и пустились в горы. Правда, прогулка оказалась не особенно удобной. Был март, горы и горные долины были покрыты довольно глубоким снегом, и мы, одетые в арестантские короткие тулупы и обутые в неуклюжие бродни (особая сибирская обувь, в которую в первый раз мы оделись еще в Тюмени, где нам выдали арестантские тулупы и бродни), проваливаясь в снег, не могли совершить далекой прогулки, но все-таки с наслаждением добрались до вершины горного кряжа, расположенного за огородом Успенского, прошлись по нем до лазаретной сопки и победоносно спустились обратно.

Впрочем, больше уж мы не пытались до наступления весны пускаться в подобные прогулки.

Зато в этом же году с наступлением весны и до глубокой осени все мы, что называется, пропадали на чистом воздухе и главным образом в горах...

. . . .

В первый год воли эти горы влекли к себе неодолимо. Оторванный долгие годы тюрьмы от природы, я не мог досыта упиться общением с нею, как только получил к тому возможность.

Чудная, разнообразная по красоте видов горная местность Кары не уступала, по мнению Семяновского, Швейцарии, где он бывал во дни своей свободы,

Хвойные леса—вечно зеленые сосны, ели, пихты, осыпающиеся на зиму, но с нежной ароматной хвоей по весне, и лиственницы густо покрывали собой горные хребты.

На нижних склонах гор и в долинах высились белоствольные березы и вечно трепещущие осины. А в долинах вблизи речек и ручьев встречались густые заросли ольховника или превосходные рощи черемухи, наполнявшие майский воздух сладким ароматом своих белоснежных цветов.

На долгие зимние месяцы замиравшие горы и долины под снежным покровом долго не просыпались и до конца апреля, а то и до начала мая не оживали. Но с мая в несколько дней все преображалось, как по мановению волшебного жезла; природа вдруг и торопливо начинала жить во-всю.

То горы облекались в лилово-розовые мантии из расцветшего душистого богульника (рододендрона), кустами которого были густо покрыты многие сопки с подножия до вершины. То какая-то волшебница в продолжение одной ночи обсыпала горы и долины лиловым и белым ургуем (ветренник) до такой степени, что, казалось, не было пяди земли, где бы он не цвел. То внезапно зазеленевшая вокруг местность изобилием фиалок и мелкого ириса, крупных и мелких кукушкиных башмачков не менее поражала глаз. Открывались целые поля чудных ландышей. Но отходила весна. Подоспевало лето. Листва и обновленная хвоя на деревьях густели, лиственница давала темно-красные пахучие шишечки, на соснах появлялись «свечки». Богульник, ургуй, одуванчики, кукушкины башмачки, ландыши и черемуховые рощи, отбыв свою повинность цветения и украшения Кары, сменялись желтыми лилиями и ярко-красными саранками (царские кудри) по

горам, красными большими лилиями и темно-палевыми «жаркими» цветами (из породы лютиковых) по долинам и крупными синими ирисами на болотцах. Подходила пора аконитусам и дельфиниумам и различным другим цветам, названий которых мы не знали и которым давали иногда свои. Так, один с высоким стеблем цветок, с лиловыми, в роде плоских колокольчиков, чашечками цветов я назвал «леонилой» — в честь Леонида (Шишко), который первый его нашел и сорвал во время наших шатаний по горам за цветами.

С весны до осени мы были с чудными букетами цветов, которые дарила нам карийская природа. Признаюсь, что я лично в эту первую весну и первое лето после тюрьмы был охвачен, что называется, цвточной манией.

Я не только по целым часам пропадал в своем цветнике, где роскошно цвели разнородные цветы, посеянные мною и Ларисой на грядках, собственными руками унавоженных, вскопанных и политых, но и во всякую свободную минуту стремился в близлежащие горы, чтобы, пробежавшись по ним, нарвать чудный букет.

Прошла пора цветов, подошла пора грибов и ягод. И пошло новое увлечение охотою за грибами. Началось в этом отношении что-то в роде спорта; появилось в нашей общине соревнование между искателями грибов — кто больше и лучших грибов насобирает.

Для меня, для хохла-степняка, знавшего близко из грибов лишь одну единственную печерицу, Кара казалась чудодейственным грибным углом.

Тут я впервые узнал в действительности и с коричневыми головками подберезовики, и с красными шляпками на толстых корневищах подосиновики, и грузди сухие, и грузди мокрые, и рыжики, и белянки, и волнушки, и моховики, и масленники, и сыроежки.

Зачастую я поднимался часов в шесть утра с постели и еще до утреннего чая убегал с корзинкою в горы, высившиеся тотчас за нашим огородом, и, пробежав по ним в различных направлениях, вымокнув при этом в росе и в неуспевшем еще всплыть «выше темя гор» тумане, я возвращался к чаю домой с корзиной, полной разнообразных грибов.

В эту пору почти ежедневно я с Ларисой, а чаще с Леонидом Шишко отправлялись на грибные поиски. Бродя по тайге, распевая в горах дуэты с Шишко (у него был превосходный нежный тенор), мы набирали в свои корзинки груздей и рыжиков, в то время как Чарушин, Союзов и Успенский с Витей производили ту же охоту в других местах. Несмотря на чрезвычайную близорукость Ларисы, даже она, благодаря неимоверному обилию грибов, набирала их полные корзинки. Усталые, но оживленные, возвращались грибные охотники домой и при встрече хвастались своими находками, рассказывали друг другу об отдельных счастливых случаях нахождения тех или других грибов.

Что касается меня, то грибомания охватила меня еще сильнее, чем цветочная мания...

. . . .

Глава сороковая

НОВЫЕ ЛИЦА И НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ

Таким образом 1879 год прошел для нас со дня выпуска в вольную команду довольно гладко. Никаких неприятных треволнений не было в нашей жизни. Мы

в свободное от занятий время наслаждались природой, ходили друг к другу в гости с Нижней Кары на Среднюю — к добрейшей Александре Александровне Бибергаль, или на Верхнюю Кару к Степану Петровичу Богданову [150], Терентьеву и Тевтулу, которые жили втроем в своем общем доме, купленном ими за 40 руб. Они все с своей стороны приходили к нам на Нижнюю Кару.

Чаще всего мы собирались в доме Успенского. Здесь мы обсуждали волновавшие нас вопросы, спорили, просто беседовали за чаепитием; здесь Шишко, Терентьев, Союзов и я распевали песни—к услаждению товарищей.

К нашему хору присоединялся иногда Квятковский со своим басом, а когда мы начинали петь по-хохлацки, то к песне присоединялся почти всегда и Евгений Степанович. Нельзя сказать, чтоб от их присоединения наше пение выигрывало в стройности, — что греха таить, оба они особой музыкальностью и слухом не отличались, — но если тут слышался некоторый диссонанс, то он во всяком случае выкупался тем искренним чувством, которое вливалось присоединившимися певцами в общий хор голосов.

С конца 1879 года стали подвозить на Кару новых ссыльных. Еще больше привезли их в 1880 г. В числе привезенных были и те женщины, о которых я уже упомянул выше и к которым в 1880 г. была присоединена еще и Лишерн фон-Герцфельд [151]. Привезли в это время больше всего участников в процессах, бывших на юге России: в Одессе, Херсоне и Киеве...

Надо заметить, что в это время началась в России террористическая борьба с правительством, вызванная у мирных дотоле «революционеров» правительственным белым террором, беспощадно душившим молодежь за ее поход в народную среду.

Эта борьба наиболее яро отстаивалась принципиально в южных кружках революционных деятелей, и они же первые стали ее практиковать.

Там был совершен первый акт этой борьбы — убийство жандармского капитана Гейкинга и совершено покушение на тов. прокурора Котляревского [152]; там начались первые расправы со шпионами и предателями (история с Гориновичем [153] по процессу 193-х); там впервые стали оказывать вооруженное сопротивление при обысках и арестах, открывая пальбу по прибывшим жандармам и полицейским; там же была и первая вооруженная демонстрация на улице во время суда над Ковальским; там же оказалась и первая жертва расстрела — Ковальский [154].

Террористическое течение на юге, разрастаясь, привело к очень крупным жертвам и потерям со стороны революционной партии. Стоит только вспомнить, что в Киеве были казнены такие величины революционного мира, как Осинский, Брандтнер и назвавшийся Антоновым [155].

С ними была приговорена к смертной казни и София Лишерн, к величайшему ее горю в то время не казненная и сосланная в бессрочную каторгу. На Каре она тяжко тосковала и покушалась на самоубийство, но ее выручили из лап смерти после отравления.

В Одессе в эти же годы были казнены Лизогуб [156], Чубаров, Малинка, Дробязгин, Давиденко, Логовенко, Виттенберг [157] и Майданский.

Террористическое движение на юге росло и кроме главного дела дало еще и боковые, так сказать, течения. В Киеве, например, явилась особая фракция, носившая курьезное и не совсем понятное название «ушкуйников-уестествителей». В число функций своих эта фрак-

ция включала между прочим ограбление почт, казначейств и банков.

И, если не ошибаюсь, этой фракцией было совершено при участии «инженера Сашки» (Юрковского) ограбление херсонского казначейства [158] путем устроенного под казначейство подкопа, а где-то на юге было устроено с революционной целью [159] первое ограбление почты неким Крыжановским.

В нашей карийской общине, конечно, должны были неизбежно подняться обсуждения по поводу нового революционного движения в России, и у нас неоднократно поднимались обсуждения того, как должно отнестись к этому движению. И среди нас почти все, за исключением разве только Петра Гавриловича, не признали террора, как программу для деятельности революционной партии. Террористический акт, как отдельный акт мщения по отношению к партии или народу, мы признавали за жестокости определенного лица. Вера Засулич с ее покушением на Трепова. Кравчинский, отомстивший Мезенцеву за его палачество над многими членами Народной партии, внушали нам глубокое уважение, и их образы были окружены в нашем представлении ореолом геройства. Но террористические акты, как систематическая программа деятельности, казались нам и недостигающими цели, и такими, которые должны были очень быстро иссякнуть за малолюдством партии и за полным индиферентизмом народа к политической жизни. При таких условиях это был неравный бой огнем и мечом незначительной партии с организованной силой правительства, у которого огня и меча куда больше. И мы считали такую борьбу напрасной тратой сил, отрываемых от более существенной задачи — непосредственного воздействия на рабочие

и крестьянские слои населения в смысле пробуждения в них сознательной политической и общественной мысли. И мы, повторяю, отрицали террор, как программу деятельности.

Еще более отрицательно относились мы к тем боковым течениям террора, о которых я сказал выше. Мы были решительными противниками ограблений почт, казначейств, банков.

Нам казалось тогда, что этими деяниями привносился в глазах народа и общества элемент уголовщины в деятельность еще не окрепшей, недавно народившейся и едва-едва начавшей проникать в рабочую среду народной партии; а этим элементом можно было и оттолкнуть от партии народ, который мог по темноте своей смешивать революционных деятелей с обыкновенными грабителями и дать правительству лишний удобный щит и оправдание для своих репрессий по отношению к партии перед общественным мнением...

Весьма естественно, что, как только прибыли на Кару участники в начавшемся террористическом движении, между нами, жившими вне тюрьмы, и жившими в тюрьме, завязалась переписка довольно ярого полемического свойства по вопросу о терроре...

. . . .

Жизнь наша протекала довольно ровно и, по правде сказать, иногда начинала надоедать своим однообразием и каким-то вечно выжидательным характером. Словно жили на дорожном положении на почтовой станции. Летом огород, цветник, шлянье по горам и долинам Кары уже не так увлекали, как то было тотчас по выходе из тюрьмы в предыдущем году.

Известия из России запаздывали, да и наиболее из них интересные для нас или вовсе до нас не доходили

или доходили в искаженном или отрывочном виде. В конце концов чувствовались оторванность от интересов родного мира и значительная пустота в жизни...

. . . .

Глава сорок первая

САМОУБИЙСТВО СЕМЯНОВСКОГО

В конце 1880 года стала надвигаться на нас тяжелая туча. В России водворилась «диктатура сердца», которая принесла политической Каре первые скорпионы.

Забайкальский военный губернатор Ильяшевич, который сменил Педашенка, получил из министерства внутренних дел, во главе которого стоял Лорис-Меликов [100], предписание: запретить всем ссыльно-каторжным государственным преступникам переписку с родными: с отцами, матерями, братьями, сестрами и пр. На Каре распоряжение это было получено Кононовичем в начале ноября. Получать письма от родных допускалось, но писать им было запрещено; только карийское начальство могло от себя уведомлять близких родных кратко о том, что-де такой-то жив и здоров.

Такое распоряжение тяжелее всего отозвалось в нашей общине на Семяновском: оно лишило его возможности переписываться с отцом. Правда, пока жены и матери сосланных были на Каре, можно было через них устраивать переписку с родными: жены и матери якобы от своего имени могли пересылать письма ссыльных, переписывая эти письма. Но прилетевшая из Питера мера ясно показывала нам, что на Каре будут водворены другие порядки и что надо ждать дальнейших

репрессий не только относительно самих каторжников, но и в отношении их жен и матерей. Семяновский затревожился. Начал он подумывать о побеге, но ноябрь и декабрь — суровые зимние месяцы в том крае: морозы достигают 40° R, а морозы в 30, 32 и даже 36° иногда стоят по целой неделе. При таких условиях без основательной подготовки не побежишь. Стали думать Семяновский, Успенский и др. о необходимости подготовления побега хоть к весне. Но судьбе не угодно было, чтоб эти подготовления окончились каким-нибудь результатом. «Диктатура сердца» дала себя знать карийским государственным каторжанам новым циркуляром. В ноябре же на Кару прилетело от забайкальского военного губернатора Ильяшевича новое распоряжение Кононовичу: на основании приказания министра внутренних дел, держать государственных преступников весь срок каторги в тюрьме и в кандалах.

Кононович запросил Ильяшевича, как же ему быть с теми государственными преступниками, которые уже выпущены им на основании закона из тюрьмы в вольную команду и уже около двух лет пользуются свободой, находя с своей стороны применение к ним нового распоряжения незаконным и жестоким, так как оно является для них совершенно беспричинным, ничем ими не вызванным наказанием. Военный губернатор ответил Кононовичу, что и выпущенных ранее в вольную команду следует заковать в кандалы и держать весь срок каторги в тюрьме. Ответ этот пришел на Кару за несколько дней до Рождества и страшно взволновал... Кононовича.

Он пригласил всех государственных Нижней Кары не в управление, а к себе на квартиру, и когда явились к нему Семяновский, Успенский, Чарушин, Шишко,

Союзов и Квятковский (я не был вызван к нему, о чем ниже), то Кононович об'явил им приказ Ильяшевича и разразился припадком истерики! Полковника пришлось успокаивать, принесли ему воды, усадили в кресло...

Успокоившись, он об'явил, что сразу они не будут препровождены в тюрьму, а что он дает им всем время устроить свои личные и семейные дела, разрешает им провести наступающие праздники и встретить новый год на воле; затем 1 января они должны сами явиться к смотрителю тюрьмы, который и выполнит присланную инструкцию — закует в цепи и отправит в тюрьму на Среднюю Кару.

Я в это время помогал жене в заведывании детским приютом, который был препоручен моей жене и в котором было более шестидесяти детишек, обуть, одеть, накормить и обучить которых лежало на нашей обязанности. Кононович об'явил товарищам, что так как Синегубу остается быть в состоянии ссыльно-каторжного только до 14 января 1881 г., то он берет на себя ответственность за то, что не закует меня и не посадит в тюрьму на эти две недели, тем более, что и судьбу более 60 ребят в приюте ему сейчас решительно некому поручить, а одной г-же Синегуб не справиться. Мы нашли, что Кононович прав, и я остался на свободе, получив право свидания со своими товарищами и право заботиться о них, выполнять их поручения и просьбы.

Но тут одно за другим последовали трагические события.

Видя полную невозможность в такое время года устроить побег и что новое распоряжение убивает всякую надежду на скорое осуществление побега, Семяновский загрустил: ему предстояло пробыть в тюрьме года три еще!..

Создалось положение, из которого у него не было выхода, кроме смерти. И он решил покончить с собой. Об этом своем решении он заявил товарищам, к тяжкому их горю и в особенности горю его сотоварища по делу Степана Богданова.

Прошло Рождество грустно и печально. Приближалось время для товарищей уходить в тюрьму, для меня — расставаться с ними. Так мы сжились друг с другом, все время чувствовали мы себя одной семьей, дружной, родственной и любящей. Столько было доброго, ласкового и согревающего в этой нашей семье, и было страшно больно и жутко подумать, что вся эта добрая, дружная жизнь разлетается прахом.

Настало 31 декабря. В этот день мы порешали встретить новый год в доме Успенского. Накануне 30 декабря некоторые товарищи сошлись у меня. Вечер прошел тягостно, так как решение Семяновского покончить с собой им отменено не было, несмотря на убеждения товарищей...

. . . .

На другой день, когда Семяновский со мной, Ларисой и некоторыми другими товарищами шел в дом Успенского, где мы намеревались встретить новый год, я спросил Семяновского, пойдет ли он завтра с товарищами в тюрьму. Он, как-то растягивая слова, ответил: «пой-ду». Этот ответ меня совершенно успокоил. Слыхали этот ответ, вероятно, и другие шедшие с нами товарищи.

И когда мы пришли к Успенскому, то чувствовалось, что с души свалилась та тяжесть, которая лежала на нас всех в эти дни. Вечер прошел хотя и не торжественно весело, но все-таки с значительным облегчением. Мы спели все свои любимые песни. Евгений Степанович

выпил с Богдановым, Шишко и со мною брудершафт. Во время вечера Евгений Степанович вызвал меня в комнатушку Успенского и сообщил мне, что он «злоупотребил» моим именем и попросил якобы для меня, как для смотрителя детского приюта, у купца Белокопытова револьвер; просил меня за это на него не сердиться и возвратить завтра этот револьвер Белокопытову. Я понял этот разговор так, что Семяновский, раздумав застрелиться, оставит завтра по уходе в тюрьму револьвер Чарушиной, от которой я и возьму его для возврата Белокопытову.

Довольно поздно мы разошлись по квартирам.

Я и Лариса ушли домой хотя и расстроенные разлукой с друзьями, но относительно Семяновского мы были совершенно спокойны. И какое же тяжкое горе нас охватило на другой день, когда ранним утром к нам в приют прибежал Шишко и, задыхаясь от слез, вымолвил только: «Евгений Степанович!» и рукой указал на свой правый висок.

Я немедленно отправился на квартиру Чарушиных. Когда я переступил порог их квартиры, в первой комнате, где жил Семяновский, я увидел его лежащим на койке, со спокойным мертвенно-бледным лицом и с закрытыми глазами. Из правого виска тянулась загустевшая полоса крови. Он с сильным хрипением неправильно дышал, с очень затяжными вдыханиями и выдыханиями.

Оказалось, что после возвращения домой Семяновский долго не спал, рвал какие-то бумаги и письма и жег в голландке, затем сидел и писал письма. На рассвете он застрелился. На его столе лежало письмо на имя отца, записочка, адресованная моей жене, и записочка для начальства. В записке к моей жене он просил отослать письмо отцу и указывал, как поступить с его

имуществом; кроме того, некоторые книги и вещи он распределял на память остающимся друзьям на Каре...

. . . .

Прибыло начальство в лице полицеймейстера, доктора и фельдшера. Был составлен акт о случившемся...

На другой день доктор анатомировал Семяновского.

По вскрытии оказалось, что очень маленькая пулька пробила сверху вниз правое большое полушарие мозга и низ левого и остановилась в дне близ левого виска; твердая оболочка мозга оказалась приросшей к черепным костям. В сердце его оказались сморщенными выход аорты и один из клапанов в перегородке между предсердием и желудочком.

На третий день мы схоронили своего друга на кладбище под лазаретной сопкой.

Глава сорок вторая

НОВЫЕ ПОТЕРИ

Письмо Семяновского к отцу, с общего решения товарищей, я вскрыл и снял с него копию. Это было сделано на случай, если бы подлинное письмо было перехвачено на почте и не дошло по адресу.

Я, впрочем, сохранил копию этого письма и для себя, как замечательный документ, в котором ярко отразилась чудная душа погибшего [161].

Эту же копию, с краткой характеристикой покойного, я вручил известному путешественнику Кеннану [162], когда он в свой путь на Кару прогостил несколько дней в Чите, где в то время я жил уже на поселении. Кеннан и его компаньон живописец Фрост были напра-

влены ко мне Волховским, при проезде их через Томск, где в то время жил Волховский, и мною они были введены во всю нашу тогдашнюю компанию в Чите...

. . . .

Не успели мы пережить трагическую кончину Семяновского, как вскоре в тюрьме отравился фосфорными спичками Родин [163].

Родин был осужден на 20-летнюю каторгу. Дорогой, идя на каторгу длительным этапным порядком, он заболел сыпным тифом. Плохо оправившись, он прибыл на Кару с последствиями тифа, отразившимися и на состоянии его духа. Одной из ближайших причин, побудивших Родина покончить с собой, несомненно явился циркуляр, приказывающий держать государственных преступников весь срок в тюрьме и кандалах. Он убивал в Родине всякую надежду выйти хоть в вольную команду и быть поставленным в более благоприятные условия для восстановления своего здоровья, чем тюремное заключение...

И еще одного товарища по судьбе пришлось схоронить нам там же, под лазаретной сопкой.

В промежуток между этими событиями Маруся Ковалевская впала в помешательство, и с гауптвахты была переведена в лазарет, в женское отделение. Впрочем, помешательство оказалось временным.

На Кононовича все эти события оказали подавляющее впечатление, и под влиянием этого впечатления он написал иркутскому генерал-губернатору, под властью которого в то время находилась и Забайкальская область, письмо с настоятельной просьбой снять с него обязанность заведывающего нерчинскими ссыльнокаторжными, так как он не чувствует себя способным применять к государственным преступникам новые

инструкции. Он просил генерал-губернатора Анучина не удивляться его письму, так как он пишет под впечатлением двух самоубийств (Семяновского и Родина) и одного помешательства (Ковалевской), вызванных появившимися инструкциями; «бывают минуты, ваше превосходительство, когда даже палачи плачут». Кононович писал, что такие инструкции, какие приказано применять, по его мнению, и несправедливы и ненужно-жестоки; что нельзя третировать политических так же, как уголовных; что для политических в силу их большей нервности и того развития и воспитания, которое большинство из них получило, уже одно сознание своей горькой бесправности есть такое тяжкое наказание, с которым не может сравниться никакое другое, и усугублять это наказание еще и физическими страданиями, без всякого вызывающего с их стороны повода, и жестоко, и несправедливо, и бесцельно. И во всяком случае он не способен быть исполнителем таких приказаний...

В мае месяце, когда Шишко и Терентьев, как окончившие срок каторги, были выпущены из тюрьмы, и их должны были отправить на поселение в Читу, мы с Ларисой решили тоже оставить Кару, где мы жили незаконно (вышедшие на поселение жить на Каре не могли). И нас в середине или в конце мая под казацким конвоем отправили всех вместе в Читу и там оставили. На полмесяца раньше нас выехали туда же Чарушин и Анна Дмитриевна.

ПРИМЕЧАНИЯ.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

[1] Сердюков Анат. Ив. — Старейший член кружка чайковцев. Вступил в него, будучи студентом Военно-медицинской Академии. Деятельно участвовал в доставке из-за границы нелегальной литературы и в социалистической пропаганде среди петербургских рабочих в первой половине 70-х годов. Привлечен был по „большому процессу" (дело 193-х). Сослан в административном порядке в Тверь. В 1878 году он, не выдержав условий жизни в ссылке, покончил с собой.

[2] Чарушин Ник. Аполлон. (родился в 1851 г.) — В 1871 г., будучи студентом Петербургского Технологического Института, вступает в кружок чайковцев и всецело отдается работе кружка, вплоть до своего ареста (январь 1874 года). После 4 лет заключения в Литовском замке и Петропавловской крепости он в числе прочих чайковцев привлекается по делу 193-х и приговаривается к 9 годам каторги. В 1926 г. Н. А. Чарушин опубликовал ценные воспоминания — „О далеком прошлом".

[3] Попов Леон. Влад. — Студентом Петербургского Технологического Института примкнул в 1871 г. к кружку чайковцев. Деятельно участвовал в его работе. Летом 1873 года выехал в Торжок, Тверской губ., учительствовать, но осенью он снова в Петербурге и ведет рабочий кружок за Московской заставой. В декабре 1873 года его арестовывают в Торжке и привлекают по делу 193-х, но весной 1877 г. его до суда выпускают под надзор полиции, и он бежит за границу.

[4] Стаховский Вас. Аполлон. (1851—1917).—Товарищ С. Синегуба по минской гимназии и по Петербургскому Технологическому Институту. Не будучи членом кружка чайковцев, он из дружбы к Синегубу оказывал активное содействие работе кружка, в частности и делу пропаганды среди рабочих. По делу 193-х он был приговорен, как и Синегуб, к 9 годам каторги, но это наказание, по ходатайству суда, было заменено ссылкой в Сибирь на поселение.

[5] Купреянова Над. Вас. — Студентка-медичка, принимавшая в 1871 — 1873 гг. деятельное участие в работе кружка чайковцев. О брате ее — Мих. Вас. см. примечание 70-е.

[6] Нагорская Мар. Федос. — Студентка-медичка, подруга Купреяновой, участвовавшая в работе кружка чайковцев.

[7] „Коммунами“ в 70-х годах назывались общие квартиры, где поселялись студенты или курсистки. Материальное положение членов коммун было, конечно, неодинаково, но все получаемые средства поступали в общее пользование; делились также и всяким имуществом: так, например, платье, пальто или сапоги переходили от одного к другому, смотря по надобности итти на урок, на лекции. Основным принципом жизни в коммунах была взаимопомощь. Значительно удешевляя жизнь, такие коммуны играли роль центров сближения молодежи между собой, давали возможность более зрелым и развитым влиять на более молодых и способствовали пропаганде социалистических идей среди молодежи. Вместе с тем коммуны представляли собой поприще для применения принципов социализма на практике, в своей личной жизни. Коммуны приучали учащуюся молодежь того времени — преимущественно выходцев из зажиточных семейств — не на словах, а на деле отрекаться от благ „старого мира“, живя в обстановке не лучшей, а подчас даже худшей, нежели у заводских рабочих. Очень яркое изображение студенческой коммуны семидесятых годов дал В. Г. Короленко в своей „Истории моего современника“.

[8] Лассаль Фердинанд (1825 — 1864). — Знаменитый немецкий социалист, писатель и агитатор, основатель первого общегерманского рабочего союза. Представитель более умеренного течения в немецком социализме.

[9] Фалецкий Аркадий Никол.—Полковник, читал в Петербурге в 1873 — 74 гг. лекции о немецкой социал-демократии.

[10] Добролюбов Ник. Александр. (1836 - 1861).—Знаменитый, рано умерший критик 60-х гг., революционно настроенный, участник журнала „Современник“, друг Н. Г. Чернышевского.

[11] Чиков Александр Сергеевич.—Студент Технологического Института. По делу долгушинцев, за революционную пропаганду приговорен в 1874 г. к двум месяцам ареста.

[12] Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899).—Известный писатель-дворянин, принадлежавший к поколению 40-х гг. Из произведений его особенной популярностью пользовались повести „Антон Горемыка" и „Деревня", проникнутые сентиментальным сочувствием к крепостному крестьянству.

[13] Очерк „Анчутка Беспятный", первоначально напечатанный в „Неделе" (1870, № 6 — 12), принадлежал Владимиру Ник. Майнову (1845 — 1888), известному впоследствии писателю-этнографу.

[14] „Очерки фабричной жизни" А. Галицинского впервые напечатаны в 1861 г., переизданы в 1874 г. Пропагандисты 70-х годов очень часто пользовались этой книгой.

[15] Щедрин — литературный псевдоним Мих. Евграф. Салтыкова (1826—1889), великого писателя-сатирика, талантливого и злого обличителя „устоев" русской жизни. „История одного города"—одно из замечательнейших его произведений — появилась в 1870 г.

[16] Кувшинская Анна Дмитриевна (1851—1909).—Переехав из Вятки в Петербург, она приняла деятельное участие в пропаганде чайковцев среди рабочих. По делу 193-х была приговорена к ссылке в Тобольскую губ.; суд ходатайствовал о зачете ей предварительного заключения.

[17] „Фиктивные браки" были в большом ходу среди молодежи в 60-х и 70-х гг., когда нужно было вырвать какую-нибудь девушку, стремившуюся к осмысленной жизни, к учению и к общественной работе, из невыносимых условий семейного гнета. Вступившие в фиктивный брак являлись супругами только по паспорту. Лишь иногда, как у Синегубов, фиктивный брак с течением времени переходил в подлинный.

[18] Польское восстание началось в январе 1863 г. Обе существовавшие тогда польские партии—и белая (дворянская) и красная (мелко-буржуазная)—ставили целью независимость Польши от России

и восстановление ее в границах до разделов XVIII века. Восстание велось исключительно мелкими отрядами, действовавшими в лесах. На время движение перекинулось из Польши в соседние области Литвы, Белоруссии и Украины. Многие поляки, особенно из белой партии, рассчитывали на вооруженное вмешательство Европы, которого не последовало. Только к лету 1864 г. восстание было окончательно подавлено войсками русского правительства. Муравьев на Литве и Берг в самой Польше жестокими мерами расправились с населением.

[19] В 1863 г. были арестованы вместе с Владимиром Синегубом два брата Потоцких (землевладельцы Переяславского уезда) Виктор и Леонид Андреевичи. По обвинению в возбуждении крестьян к восстанию они просидели некоторое время в крепости и затем состояли под строгим секретным надзором. В 1866 г. дело о них было прекращено.

[20] Чубинский Павел Платонович (1839 – 1884). – В 1862 г. за попытку возбудить крестьян к восстанию и за украинофильскую пропаганду в Киевской губ. выслан в Архангельскую губ. Впоследствии видный исследователь-этнограф.

[21] Разин Степан Тимоф. („Стенька Разин").—Знаменитый вождь народного восстания, потрясшего Московское государство XVII века. Движение Разина началось в 1667 г. 6 июня 1671 г. Разин, выданный некоторыми из своих сообщников московскому правительству, был казнен в Москве.

[22] Бердников Леонтий Федорович (Род. в 1852 г.) — Окончил курс Технологического Института. Член общества „Земля и Воля". В 1878 г. арестован по делу Адриана Михайлова, д-ра Веймара и др. В 1880 г. приговорен к 8 годам каторжных работ. Каторгу отбывал на Каре.

[23] Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882). — Революционер несокрушимой энергии. Сын мещанина-ремесленника из с. Иванова. Подготовившись самоучкой, выдержал экзамен на учителя приходского училища и получил место в училище в Петербурге. Играл руководящую роль в студенческом движении 1868—69 гг. в Петербурге.

Побывав потом за границей, сошелся с Бакуниным. Вернувшись в Россию, выдавал себя за уполномоченного несуществующего комитета „Народной Расправы". Организовал в Москве первые кружки общества „Народной Расправы".

Указывая на неминуемую близость народной революции, которая сокрушит все, С. Нечаев призывал молодежь расчистить ей путь посредством широкого применения террора к представителям власти и к отдельным представителям командующих классов. „Катехизис революционера" Нечаева (напечатан полностью в журнале „Борьба классов" № 1—2 за 1924 г.) рассчитан был на профессиональных революционеров, всецело посвятивших себя делу народного бунта. В основу заговорщической организации положен был принцип железной дисциплины. Когда один из членов нечаевского кружка — студент Петровской сельско-хозяйственной академии Ив. Иванов — сделал попытку уклониться от подчинения руководству С. Нечаева, он был убит по инициативе последнего остальными членами кружка. Это убийство повело к раскрытию организации и к аресту ее членов.

Сам Нечаев бежал за границу, издавал там „Народную Расправу", „Колокол", выпустил ряд прокламаций. За ним усиленно гонялись агенты царского правительства. Наконец в 1872 г. его арестовывают в Швейцарии и выдают России как уголовного преступника. В 1873 г. его приговаривают к 20-летней каторге, но вместо того заключают в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Но и здесь огромной революционной энергии великого бунтаря удается победить препятствия баснословно тяжелого режима — часть охраны поддается его пропаганде и содействует его связи с волей и даже с Исполнительным Комитетом „Народной Воли". Вскоре после 1 марта 1881 г. связь Нечаева с волей была раскрыта. Нечаев после этого содержался в условиях абсолютной изоляции, и умер 21 ноября 1882 г.

[24] Чернышевский Ник. Гавр. (1828 — 1889).—Виднейший публицист и идеолог 60-х гг., основоположник революционного социализма, руководитель журнала „Современник". Боясь его исключительного революционизирующего влияния на молодежь, правительство при посредстве подлогов и лжесвидетельств отправило его в 1864 г. на каторжные работы, по окончании срока которых он был на долгие годы поселен в отдаленном и гиблом Вилюйске.

[25] Элпидин Мих. Конст. (1835—1908).—Осужденный на каторгу по казанскому делу, он, не дождавшись окончательного разрешения,

бежал из казанской тюрьмы и скрылся за границу. В эмиграции он занимался издательством на русском языке литературы, запрещенной в России. — Попытка вызвать революционное движение в Казанской губ. имела целью создать русскому правительству затруднение в борьбе с польским восстанием. По этому делу были расстреляны Черняк, Иваницкий, Мрочек, Станкевич и Клочевич. Упоминаемые Синегубом Николай Гавр. Орлов и Иван Марк. Красноперов * были приговорены к 8-и годам каторги, но затем освобождены от этого наказания.

[26] Писарев Дм. Ив. (1840—1868).—Знаменитый критик 60-х гг., участник журнала „Русское Слово". Своими статьями в материалистическом и радикальном духе очень влиял на молодежь. Просидел несколько лет в Петропавловской крепости по политическому делу.

[27] „Кот Мурлыка"—литературный псевдоним Ник. Петр. Вагнера (1829 — 1907), известного профессора зоологии, выступавшего и в качестве беллетриста. По общественным своим взглядам Вагнер, начав с либерализма, к концу своей жизни пришел к реакционности и мистицизму.

[28] При поездках на почтовых в подорожной, написанной на определенное лицо, иногда вписывали, если была в том надобность, безымянного спутника, обыкновенного слугу, под обозначением „с будущим".

[29] III отделение собственной его императорского величества канцелярии—высшее учреждение при Николае I и Александре II по делам политической полиции. В 1880 г. III отделение было уничтожено. Его функции перешли к департаменту полиции министерства внутренних дел.

[30] Абакумов Кирилл Мих.—Рабочий, распропагандированный чайковцами. В 1879 г. за участие в стачке выслан в Минусинск.

[31] О Григ. Фед. Крылове чайковец Н. А. Чарушин пишет в своих воспоминаниях: „Наши лучшие рабочие из крестьян, как, например, Крылов, Абакумов и некоторые другие, рвались к более

* Воспоминания Красноперова „Казанский заговор" печатаются в Изд-ве „Молодая Гвардия".

живому делу, чем то, что им давала фабричная среда. Натуры страстные и глубоко уверовавшие в освободительные идеи, они, видимо, не находили достаточного отклика на их призывы в рабочей среде и в то же время верили, что они гораздо большую отзывчивость найдут в среде крестьянства. Первым из этих рабочих двинулся Крылов. Польщенный ролью Шовеля, героя „Истории одного крестьянина", Крылов в качестве офени, с коробом за плечами, наполненным книжками для народа, отправился странствовать сначала по ближайшим к Петербургу селениям, а затем перебрался в свою родную Тверскую губернию, где продолжал начатое дело. Но не долга была жизнь этого выдающегося, симпатичного и искренне преданного делу человека, верившего, что народ, веками угнетаемый, познав правду, подымется на своих угнетателей. Арестованный в 1875 году в одной из приволжских губерний, он в 1876 году погиб в Тверской тюрьме".

[31] Вот полный текст этого стихотворения С. Синегуба:

ДУМА ТКАЧА

Мучит, терзает головушку буйную
Грохот машин и колес,
Свет застилается в оченьках крупными
Каплями пота и слез.

Грохот машин, духота нестерпимая,
В воздухе клочья хлопка;
Маслом прогорклым воняет удушливо...
Да, жизнь ткача не легка...

Кашель проклятый измучил всю грудь мою,
Также болят и бока,
Рученьки, ноженьки ноют, сердечные...
Стой целый день у станка.

Нитка порвалась в основе канальская.
Эх! Распроклятая снасть!
Сколько греха-то ты примешь здесь на душу
Господи боже, так страсть.

Ах, да зачем, да зачем же вы льетеся,
Горькие слезы, из глаз;
Делу помеха, основу попортите
Быть мне в ответе за вас.

Как не завидовать главному мастеру,
Что у окошка сидит,
Чай попивает, да гладит бородушку—
Видно, душа не болит.

Ласков на взгляд, а пойди к нему вечером,
Станешь работу сдавать—
Он ту работу корит да ругается,
Все норовит браковать.

Все норовит, как бы меньше досталося
Нашему брату, ткачу.
Эх! Главный мастер, хозяин, надсмотрщики,
Жить ведь я тоже хочу!

[33] Милль Джон-Стюарт (1806 — 1873). — Английский ученый. Буржуазный экономист. Его работа „Основания политической экономии" с примечаниями Н. Г. Чернышевского была настольной книгой в кружках саморазвития 60 — 70-х гг.

[34] Берви Вас. Вас. (1829 — 1918). — Литературный псевдоним — „Флеровский". Плодовитый писатель, публицист и социолог. Начиная с 60-х гг. много раз арестовывался и ссылался в разные места. Книги его преследовались цензурой и уничтожались. В начале 70-х гг. имел сношения с долгушинцами и чайковцами. Его книги: „Положение рабочего класса в России" и „Азбука социальных наук" оказали в 70-е годы громадное влияние на молодежь *.

[35] Тихомиров Лев Александрович (1852—1923). — Студентом Московского Университета, был в 1871 — 72 гг. активным членом московского кружка чайковцев. В 1873 г. перебирается в Петербург, где деятельно участвует в работах центрального кружка, в частности в его пропаганде среди рабочих.

* Воспоминания В. Берви печатаются в Изд-ве „Молодая Гвардия".

После ареста на квартире Синегуба (см гл. XVI) Тихомиров привлечен был вместе с прочими захваченными чайковцами по делу 193-х, но отделался легким наказанием. Будучи отдан на поруки своему отцу, старшему врачу крымского военного госпиталя, он скрылся и перешел на нелегальное положение. С конца 1878 года он активно участвует в создании новой революционной организации — партии „Земля и Воля". Вместе с Кравчинским, Клеменцом, Плехановым и и Н. А. Морозовым он входит в редакцию ее органа—„Земля и Воля". В качестве ярого сторонника политической борьбы и террористических методов Тихомиров участвует на Липецком съезде и играет роль одного из застрельщиков в расколе „Земли и Воли". Член Исполнительного Комитета „Народной Воли" со дня его основания, Тихомиров играет руководящую роль в этой организации. Не принимая непосредственного участия в террористической борьбе, он уцелевает при разгроме „Народной Воли", последовавшем вслед за удачным покушением на Александра II (1 марта 1881 года). Вместе с В. Фигнер, Н. А. Морозовым, М. Н. Ошаниной и др. он делает попытку восстановить организацию и продолжает редактировать ее орган— „Народную Волю". Эмигрировав в 1883 году за границу, он создает там при участии П. Л. Лаврова „Вестник Народной Воли". Разочаровавшись в террористических методах борьбы, он под влиянием глубокого кризиса и разложения народовольчества разочаровывается в революции вообще и из вождя Исполнительного Комитета „Народной Воли" вскоре превращается в ярого защитника самодержавия. После опубликования им в 1888 году брошюры „Почему я перестал быть революционером" и подачи им верноподданнического прошения Александру III он возвращается в Россию и становится сначала сотрудником, а затем и редактором реакционных „Московских Ведомостей". На страницах этой газеты он усиленно защищал самодержавие и православие, и за свое усердие награжден был царем золотой чернильницей. Умер Тихомиров уже после Октябрьской революции, в 1923 г. (в Москве).

Ренегатство Тихомирова вызвало в 1888 — 89 гг. богатую литературу, среди которой наиболее выдающимся произведением является памфлет Г. В. Плеханова—„Новый защитник самодержавия или горе г. Л. Тихомирова", в котором дается не столько моральная оценка этого ренегатства, сколько анализ тех теоретических ошибок народничества, которые повели к его кризису и неизбежно привели Л. Тихомирова к ренегатству.

Блестящим материалом для характеристики Тихомирова является изданный Центроархивом в 1927 г. том — „Воспоминания Льва Тихомирова", где напечатаны его воспоминания и дневники *.

[36] Трощанский Вас. Филиппович. — Студентом Петербургского Технологического Института принял участие в революционном движении и в 1870 г. выслан был в Вятку, затем в Курск, позднее в Пинегу и Холмогоры. В 1878 г. бежал и участвовал в работе общества „Земля и Воля". Арестовывается в том же году в Сибири и приговаривается в 1880 г. к 10 годам каторги. Умер в 1898 г. в Якутской области.

[37] „Искандер" — псевдоним А. И. Герцена.

[38] Шпильгаген, Фридрих (1829—1911).—Немецкий романист, произведениями которого очень увлекались в России 60-х и 70-х гг. Из его героев особенно популярен был Лео Гутман (роман „Один в поле не воин"). Современники находили в нем некоторое сходство с Лассалем.

[39] Кропоткин Петр Алексеевич (1842 — 1921). — Происходя из княжеской фамилии, ведущей свою родословную от Рюриковичей, он получил воспитание в пажеском корпусе и был вполне подготовлен к блестящей придворной карьере. От этого он уклонился, предпочтя по окончании корпуса военную службу в Сибири и на Дальнем Востоке, где и пробыл пять лет. Здесь он усиленно занимался научной работой, увлекаясь геологией и этнографией этих мало обследованных еще тогда мест Будучи радикально настроен, он после восстания ссыльных поляков на Кругобайкальской дороге, опасаясь, что его пошлют на усмирение повстанцев, подает в отставку и возвращается в Петербург. Здесь он усиленно занимается наукой в русском географическом обществе. Но научные занятия не заглушили в Кропоткине общественных интересов, и в 1871 г. он едет за границу, где знакомится с западно-европейским рабочим движением и попадает в сферу влияния Мих. Бакунина. По возвращении в 1872 г. в Россию он вскоре вступает в кружок чайковцев, работе в котором отдает все свои силы. Он занимался преимущественно пропагандой среди рабочих, которым читал лекции по истории Интернационала и рабочего движения в Западной Европе. В 1874 г. П. А. был аре-

* В Издательстве „Молодая Гвардия" вышла его яркая книга, написанная в начале 80-х годов: „Заговорщики и полиция".

стован и посажен в Петропавловскую крепость. Будучи переведен в 1876 г. в госпиталь, П. А. бежал при содействии С. М. Кравчинского за границу. Виднейший теоретик анархизма и крупный ученый. Во время мировой войны занял патриотически-оборонческую позицию. Вернулся в Россию в 1917 г. Чрезвычайно живо написанные воспоминания П. А. Кропоткина — „Записки революционера" — дают прекрасное представление о жизни этого выдающегося человека и очень живо рисуют быт революционеров 70-х годов.

[40] Корнилова Александра Иван. (по мужу—Мороз).—Одна из основательниц (в 1869 г.) того студенческого кружка самообразования, из которого вырос в дальнейшем кружок чайковцев. Будучи активным членом кружка чайковцев, А. И. была арестована при разгроме этой организации в 1874 г. и привлечена по делу 193-х. Несмотря на ходатайство суда об освобождении ее от наказания, она сослана была в Пермскую губернию. Воспоминания А. И. („Перовская и основание кружка чайковцев"—в журнале „Каторга и ссылка" № 1 (26) за 1926 г.) являются ценнейшим документом по истории этой организации.

Сестры А. И. — Любовь и Вера — тоже участвовали в кружке чайковцев.

Любовь Ивановна была женой А. И. Сердюкова (см. прим. 1-е) и привлекалась в 1872 г. по делу о московских кружках. В 1880 г. она подверглась административной высылке и умерла в 1892 г.

Вера Ивановна, состояла в фиктивном браке с чайковцем Грибоедовым, при чем этот „фиктив" был заключен не с целью освобождения от домашнего гнета (в семье отца, известного фарфорового фабриканта Корнилова, дочери пользовались полной свободой), а для получения значительной суммы приданого на цели организации. В. И. Корнилова тяжело заболела как-раз тогда, когда кружок чайковцев только еще начал разворачивать свою работу среди рабочих, и умерла в 1873 г.

[41] Клеменц Дмитрий Александрович (1848 — 1914). — Выдающийся революционер 70-х годов, впоследствии видный ученый, этнограф. Примкнул к кружку чайковцев в 1871 г. и активно участвовал в пропаганде среди рабочих и при хождении в народ. При разгроме кружка чайковцев в 1874 г. скрылся за границу, но приезжал оттуда неоднократно (один раз — с целью освобождения Чернышевского). Примыкая по своим взглядам к бунтарям-бакунистам, Д. А. участвовал в редактировании выходившего в Женеве в 1878 г.

журнала „Община“. При возникновении в России подпольного органа „Земля и Воля“ он вошел в его редакцию. Будучи арестован в начале 1879 г., Д. А. после двух лет заключения в Петропавловской крепости был выслан административно в Сибирь (в Минусинск). Затем он отошел от политики и целиком ушел в научную работу. Умер в 1914 г.

[42] Покровский Вас. Ив. (1838—1915).—В 60-е гг. имел некоторое отношение к революционному движению. В начале 70-х гг. жил в Твери. Впоследствии очень известный статистик-экономист.

[43] „Отечественные записки“. Ежемесячный журнал, выходивший с 1868 г. под редакцией Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова и Г. З. Елисеева. По смерти Некрасова в 1877 г. его заменил Н. К. Михайловский. В 1884 г. журнал, бывший выразителем передовой народнической мысли, был закрыт правительством.

[44] Великий князь Николай Николаевич старший (1831 — 1891). — Отец того Николая Николаевича, который был главнокомандующим в войне 1914 — 1917 гг. и который теперь в эмиграции разыгрывает из себя претендента на царский престол. Великий князь Николай Николаевич старший был главнокомандующим в русско-турецкой войне 1877 — 78 гг.

[45] Наследником был тогда великий князь Александр Александрович, известный в истории как Александр III, после того как старший сын Александра II—цесаревич Николай Александрович—умер в Ницце (в 1865 году).

[46] Цебрикова [Марья] Конст. (1832 — 1917).—Писательница. В 1890 г., будучи уже 56 лет, она за написанное и распространяемое ею „Письмо к Александру III“, либерального характера, была выслана в Вологодскую губ. Ее рассказ „Дедушка Егор“, первоначально напечатанный в „Неделе“ 1870 г., № 30 — 31, был одной из самых ходких книжек, распространявшихся пропагандистами 70-х гг. в народе.

[47] „Коробейники“ —стихотворное произведение из народной жизни, написанное Н. А. Некрасовым. Историческая поэма „Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“—М. Ю. Лермонтова.

[48] Ушинский Конст. Дмитриев. (1824 — 1870).—Знаменитый педагог-шестидесятник. Им было составлено между прочим „Родное Слово“ (см. выше)—талантливая книжка для первоначального учения, очень долго бывшая в ходу в народной школе. — Евтушевский Вас. Адриан. (1836—1880).—Известный педагог, составитель методики арифметики и сборника арифметических задач.

[49] Зарубаев Степан Иван. — По делу 193-х был приговорен к 9 годам каторги, которая, по ходатайству суда, была заменена ссылкой в Тобольскую губернию.

[50] Щеглов Григорий Алексеевич.—По делу 193-х ему было вменено в наказание предварительное заключение.

[51] Орлов Михаил Андреевич.—По отзыву чайковца Л. Э. Шишко один из лучших рабочих в Василеостровских кружках чайковцев Вскоре он бросил завод и стал готовиться к экзамену на сельского учителя. Был арестован в конце 1873 г. и, будучи привлечен по делу 193-х, был приговорен к 1 г. 3 мес. исправительных арестантских рот. По ходатайству суда, он был от этого наказания освобожден и административно выслан под надзор полиции на 3 года.

[52] Обнорский Виктор Павлович (1854—1920).—Рабочий—слесарь, один из наиболее выдающихся деятелей русского рабочего движения 70-х гг. Разыскиваемый в Петербурге полицией с конца 1873 г., как участник рабочих кружков чайковцев, он направился на юг. В Одессе он попал в кружок Е. О. Заславского, который составил ядро возникшего несколько позднее „Южно-Русского Союза Рабочих“. Летом 1878 г. В. Обнорский направляется за границу и там знакомится с практикой западно-европейского рабочего движения, о котором он до того имел только теоретические сведения из печати, особенно подпольной. В конце 1878 г. В. Обнорский снова в Петербурге. Он привозит принадлежности и шрифт для подпольной типографии, а в голове у него к этому времени готова программа новой рабочей организации. Вместе с другим выдающимся русским рабочим — Степаном Халтуриным—он кладет основание „Северному Союзу Русских Рабочих“. В начале 1879 г. арестован и в следующем году военным судом приговорен к 10 годам каторги. Отбывал ее на Каре.

[53] Лавров Алексей Вас.—Рабочий—столяр. Деятельный участник рабочего движения 70-х гг.

[54] Петерсон Алексей Николаевич (1851—1919).—Рабочий — слесарь, в течение нескольких десятилетий принимавший участие в революционном движении. Был распропагандирован еще чайковцами. Долго сидел в заключении по делу 193-х; выпущенный на свободу до суда, не явился на суд и стал жить под чужим именем. Один из основателей Северного Рабочего Союза. В 1878 г. сослан в Архангельскую губ.; бежал; пойманный, отправлен в 1879 г. в Якутскую область. По возвращении в Россию энергично участвовал в рабочем движении. Был сослан в Новгород. Принимал участие в деятельности партии эс-эров, сидел опять в Петропавловской крепости, был выслан в Вологду. За свою жизнь он перенес 7 арестов, 7 с половиной лет одиночного заключения и 10 лет ссылки. О нем см. „Каторга и ссылка", 1924, № 3, стр. 224—228.

[55] Бачин Игнатий Антон.—Рабочий — революционер. Участник рабочих кружков начала 70-х гг. Один из основателей Северно-Русского Рабочего Союза. Будучи в ссылке в Сибири, сошелся с сосланной Е. Н. Южаковой и на почве тяжелых взаимных отношений убил ее в 1883 г. и потом отравился сам.

[56] Митрофанов Степан Вас. — рабочий-народник, хорошо известный в среде активных участников революционного движения 70-х гг. Митрофанов играл видную роль в демонстрации 6/XII—1876 г. у Казанского собора, где получил свое боевое крещение Г. В. Плеханов. После революции архивными материалами установлено, что М. играл предательскую роль. См., например: В. Невский—„К истории рабочего движения 70-х гг." („Историк-марксист", т. IV, стр. 153).

[57] Перовская Софья Львовна (1853—1881).—Одна из наиболее выдающихся деятельниц „Земли и Воли" и „Народной Воли". Будучи родом из сановной, аристократической семьи, она очень рано начинает борьбу со старым укладом, прежде всего в форме борьбы за знание, за право учиться. Совсем молодой девушкой (16 лет) она в 1869 г. приезжает в Петербург, близко сходится с сестрами Корниловыми (см. прим. 40) и участвует в их кружках самообразования.

Когда в 1871 г. кружок Корниловых слился со студенческим кружком М. А. Натансона и Н. В. Чайковского в кружок чайковцев, С. Л. Перовская стала активным его членом.

Еще до начала периода „хождения в народ" С. Л. Перовская работает некоторое время оспопрививательницей в Ставропольской губернии и таким образом знакомится с бытом и психологией крестьян. Вернувшись в Петербург, она деятельно участвует в пропаганде чайковцев среди рабочих. Арестованная при разгроме кружка чайковцев в 1874 г., после заключения в Петропавловской крепости выпускается на поруки к отцу. Он отправляет ее в Крым, где находилось их имение. Свыше 3 лет С. Перовская, привлеченная к „большому процессу" (193-х), ожидала разбора дела, живя под строгим домашним надзором. Несмотря на ее мужественное поведение на суде, она была оправдана. Все же ее административно выслали в Олонецкую губернию. Бежала с пути. Перейдя на нелегальное положение, С. Л. развивает лихорадочную работу. Она руководит рядом попыток освобождения пересылаемых или сидящих в тюрьмах революционеров. Пыталась вместе с некоторыми другими товарищами восстановить кружок чайковцев. При возникновении в 1878 г. общества „Земля и Воля" С. Перовская—деятельнейший и преданнейший член этого общества. После раскола „Земли и Воли" С. Перовская некоторое время колеблется, присоединиться ли ей к „деревенщикам" из „Черного Передела" или вступить ей в „Народную Волю". Лишь после долгих споров и большой внутренней борьбы она примкнула к направлению „Народной Воли" и, как пишет Степняк-Кравчинский, „раз примкнувши, она отдалась ему всецело, без оглядки, как все цельные натуры, и... обнаружила во всем блеске свои дарования и энергию". С. Перовская становится одним из основных членов „Исполнительного Комитета Народной Воли", а после ареста Желябова, 27 февраля 1881 г., она руководила последними решающими действиями террористов при организации покушения 1 марта 1881 г. Арестованная 10 марта и приговоренная судом к повешению, она на суде и во время казни проявила ту же героическую силу духа, что и в продолжение 10 с лишним лет революционной борьбы.

[18] Рогачев Д. М. (1851—1884).—Бывший артиллерийский офицер. Один из главных участников движения в народ. Арестован в 1876 г. По делу 193-х приговорен к 10 годам каторги. Сначала был заключен в Новоборисоглебской центральной тюрьме, потом переведен на Кару, где и умер.

[59] Карпов Евтихий Павл. (Род. в 1857 г.) — Участвовал в кружке бр. Богдановичей. Арестован в 1879 г. в связи с укрывательством Веры Засулич. В 1881 г. административно выслан в Красноярск, потом переведен в Вологду. Впоследствии — драматург и режиссер. Написал несколько драм из народной жизни, проникнутых народническими взглядами, довольно слабых с художественной стороны.

[60] Алексеев Петр Алексеевич (1849—1891). — Рабочий, ткач, втянутый в сферу социалистических и революционных воззрений пропагандой чайковцев. Впоследствии сам развил усиленную пропагандистскую деятельность среди рабочих в Москве, где и арестован в 1875 г. В числе прочих обвиняемых по так называемому „делу 50-и", он предстал перед судом сената в марте 1877 г. Здесь П. Алексеев произнес свою знаменитую речь, служившую в течение десятков лет прекрасным агитационным материалом среди рабочих и остающуюся и сейчас замечательным памятником в истории русской революции. В речи этой впервые прозвучал голос сознательного русского рабочего-революционера, но и в ней еще очень большие надежды возлагались на помощь интеллигентной молодежи.

Приводим отрывок из конца речи П. Алексеева:

„Русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя, и не от кого ждать помощи, кроме как от нашей интеллигентной молодежи... Она одна, как добрый друг, братски протянула нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь... И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда... и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах..."

Впечатление речи на особое присутствие Сената было потрясающее.

П. Алексеев приговорен был к 10 годам каторжных работ. Заключение отбывал в Печенежской и Новобелгородской центр. тюрьме, а в 1881 г. переведен на Кару; по выходе на поселение он погиб в 1891 г. в Якутской области, пав жертвою ограбления.

[61] Ярцев Александр Викторович. — Был приговорен по делу 193-х к ссылке в Тобольскую губ.; суд ходатайствовал о зачете ему предварительного заключения,

[62] Кравчинский Сергей Михайлович (Степняк) (1852—1895).— Выдающийся участник революционного движения 70-х гг. Вел как чайковец пропаганду среди рабочих в 1872 г., а через год был одним из пионеров народнического „хождения в народ". При массовых провалах чайковцев в 1874 г. Кравчинский бежал за границу и там участвовал в герцоговинском восстании против турок (в 1875 г.) и в попытке группы анархистов поднять восстание бедноты в провинции Беневенто в Италии (в 1877 г.) В период между этими восстаниями Кравчинский приезжал в Россию, принимал деятельное участие в организации ряда дерзких побегов из тюрем заключенных революционеров. В 1878 г. Кравчинский участвует в создании нового подпольного издания „Земля и Воля"—органа вновь возникшей организации того же имени. 4 августа 1878 г. Кравчинский ударом кинжала убивает посреди бела дня на улице лютого врага революционеров—шефа корпуса жандармов Мезенцева. После того Кравчинский снова уезжает за границу и более не возвращается в Россию вплоть до самой трагической своей смерти (в 1895 г.), когда он погиб от несчастного случая, попав под поезд.

Кравчинский сыграл видную роль в революционном движении не только непосредственным героическим своим участием в событиях, но и как писатель. Во второй половине 70-х гг. большой популярностью пользовались пропагандистские сказки Кравчинского—„Сказка о копейке" и „Сказка-говоруха" („Мудрица Наумовна"). Очутившись в конце 1878 г. за границей, Кравчинский принялся за дело популяризации русской революции и ее деятелей за границей. В России некоторые произведения Кравчинского тоже сыграли немалую пропагандистскую роль, особенно среди интеллигентной молодежи (его очерки „Подпольная Россия", его романы „Андрей Кожухов" и „Штундист Павел Руденко").

В последние годы своей жизни Кравчинский принимал деятельное участие в создании и развитии в Лондоне „Фонда Вольной Русской Прессы". Подобно большинству членов этой организации он проявил сильный уклон в сторону либерализма.

[63] Шишко Леонид Эммануилович (1854—1910).—Вступил в кружок чайковцев в 1873 г. по окончании Михайловского артиллерийского училища и принимал деятельное участие в пропаганде кружка среди рабочих Выборгской стороны. Арестован в 1874 г. при разгроме кружка чайковцев и привлечен по делу 193-х. Приговорен

к 9 годам каторги и отбывал свое наказание на Каре. По выходе на поселение переехал в Томск и бежал в 1889 г. за границу. Здесь принял вместе с Ф. Волховским и С. Степняком-Кравчинским активное участие в создании в Лондоне издательства „Фонда Вольной Русской Прессы". При создании в 1902 г. эпигонами народничества партии социалистов-революционеров Шишко активно участвовал в ней. Умер в Париже в 1910 г.

[64] Бардина Софья Иларионовна (1853—1883). — По окончании Института благородных девиц поехала учиться за границу. В 1874 году вернулась из Швейцарии, где училась в университете, в Москву и организовала в Москве кружок, члены которого участвовали в „хождении в народ". Сама Бардина, чтобы получить доступ в рабочую среду для пропаганды, работала работницей на фабриках. Арестованная в 1875 году, она была одной из обвиняемых в процессе „50". Подобно другому участнику того же процесса—П. Алексееву – она произнесла большую речь в защиту своих взглядов. Речь эта долго пользовалась большой популярностью в рабочей среде. Бардина осуждена была на 10 лет каторги, но приговор был смягчен и заменен ссылкой на поселение в Сибирь. Оттуда она бежала в 1880 году. Проработав еще некоторое время нелегально в России, она в период разгрома „Народной Воли" (после 1 марта 1881 года) эмигрировала за границу, где и покончила с собой вследствие тяжелой болезни в 1883 году.

[65] Любавский Федор Михайлович (родился в 1854 г.)—По делу 193-х ему было зачтено продолжительное предварительное заключение.

[66] Худяков Иван Александрович (1842—1876).—Революционер 60-х гг. и ученый исследователь. Писал кроме того популярные книжки для народа, к числу которых принадлежит и „Древняя Русь".

[67] Чайковский Ник. Вас. (1850—1926).—Выдающийся деятель первой половины 70-х гг. Играл в Петербурге в начале 70-х гг. большую роль в революционной организации, получившей от него свое имя. В 1874 г., увлекшись учением Маликова о „богочеловечестве", уехал в Америку, где несколько лет жил в разных общинах сектантского характера. В 1879 г. вернулся в Европу; поселился в Англии. В 1907 г. приехал в Россию, был арестован, в 1910 г.

судился, но был оправдан. После Октябрьской революции играл активную контр-революционную роль и возглавлял Архангельское правительство. По ликвидации этого правительства уехал за границу, где и умер.

[68] Долгушинское дело возникло в связи с попыткой петербургского студента-технолога А. В. Долгушина (1848—1885) создать в 1873—74 гг. в Москве кружок пропаганды среди рабочих. Дело это разбиралось в сенате в июле 1874 г. Александр Васильевич Долгушин привлекался еще в 1869 г. по нечаевскому делу (см. примечание 23). Выпущенный в 1871 г. на свободу, Долгушин принимается за организацию кружков среди петербургских рабочих. В 1873 г. он совместно с некоторыми своими друзьями (Дмоховским, Паниным, Плотниковым переезжает в Москву и основывает здесь первую революционную народническую организацию, поставившую себе целью „хождение в народ" для пропаганды. В устроенной Долгушиным в деревне под Москвой тайной типографии отпечатаны были прокламации для распространения в народе, а также и призыв к интеллигенции итти в народ. Но вскоре по отпечатании первых же листков типография провалилась, а Долгушин и все почти члены его кружка были арестованы и преданы суду. Из 13 подсудимых пятеро, в том числе и сам Долгушин, приговорены были к каторге. По отбытии 7 лет каторги в строгом одиночном заключении в каторжном централе в Новобелгороде (Харьк. губ.) Долгушин был отправлен для отбывания остального срока на Кару. В красноярской тюрьме у Долгушина происходит столкновение с смотрителем тюрьмы, которому Долгушин наносит публичное оскорбление. В результате—осуждение Долгушина на дополнительных 10 лет каторги. По прибытии на Кару Долгушин деятельно участвует в организации побега в 1883 г. знаменитого революционера Ипполита Мышкина. За это Долгушин препровожден был в Шлиссельбургскую крепость, где и скончался в 1885 г.

[69] Манасеин В. А. (1841—1901). Известный в Петербурге врач-терапевт, профессор Военно-Медицинской Академии.

[70] Купреянов Мих. Вас.—Один из активнейших членов кружка чайковцев, участвовавший в нем со дня его основания. По поручению кружка он ездил за границу, закупил там принадлежности для подпольной типографии и переправил их в Россию. Он же наладил

регулярное получение нелегальной литературы из-за границы. Конспиративная деятельность не мешала Купреянову принимать деятельное участие в пропагандистских работах чайковцев среди петербургских рабочих. Арестованный в 1874 г. при всеобщем разгроме кружка чайковцев, Купреянов привлекается к делу 193-х и приговаривается судом к 10 годам каторги. Он умирает в Петропавловской крепости вскоре после суда (в 1878 г.).

[71] Аронзон Соломон Львович.—Член Оренбургского кружка Голоушаева. По делу 193-х был приговорен к заключению в рабочем доме на 3 месяца, при чем суд ходатайствовал о зачете ему предварительного заключения.

[72] „Хитрая механика"—революционная книжка для народа, пользовавшаяся большим успехом в 70-х гг. Автором ее был Вас. Егор. Варзар (родился в 1851 г.), впоследствии известный статистик.

[73] Наумов Ник. Ив. (1838—1891). — Известный беллетрист-народник. Его рассказы охотно распространялись пропагандистами среди народа.

[74] Рабинович Моисей Абрамович.—Член кружка Лермонтова. В революционное движение вступил совсем юным—17 лет. Проявил большую энергию. Во время производства дознания вел себя очень двусмысленно: подал заявление правительству, что, если его выпустят, он будет выдавать все планы революционеров. Повидимому, он хотел, обманув жандармов, на воле опять служить революции. Потом он покаялся товарищам и получил от них прощение. В Иркутской губ., куда он был сослан, вскоре сошел с ума и умер.

[75] Золя Эмиль (1840—1902).—Знаменитый французский романист. В своих реалистических произведениях, богатых социальным содержанием, он ярко изображал нравы французской буржуазии второй половины XIX века.

[76] Брем Альфред (1829—1884).— Немецкий естествоиспытатель. Его капитальный труд — „Жизнь животных".

[77] „Вестник Европы“ — журнал, существовавший с 1816 по 1917 гг. Главным его руководителем был до своей смерти (в 1908 г.) М. М. Стасюлевич. Журнал выражал воззрения умеренно-либеральной буржуазии.

[78] „Дело“—журнал, существовавший с 1866 по 1888 г. Главным его руководителем был до своей смерти (в 1880 г.) Г. Е. Благосветлов. „Дело“ продолжало традиции „Русского Слова“ и выражало радикальные воззрения мелкой буржуазии. В нем участвовали также некоторые социалисты.

[79] Ковалик Серг. Филипп. (1846—1926).—Активный революционер 70-х гг., примкнувший к революции уже вполне сложившимся и зрелым человеком. Бывший земец и мировой судья по выборам в Черниг. губ. Ковалик энергично вел бакунинскую агитацию среди молодежи и пользовался среди нее успехом. Будучи привлечен по делу 193-х, Ковалик приговорен был судом к 10 годам каторги. Вместе с Войнаральским Ковалик несколько раз пытался бежать, но все попытки в конечном счете не удавались. О двух подобных попытках рассказывает здесь Синегуб.

[80] Войнаральский Порфирий Иван. (1840—1898).—Один из немногих революционеров, вступивших в движение начала 70-х гг. не юношами, а зрелыми людьми. Пользовался среди активных деятелей того времени большой популярностью. Уже в 1861 г. Войнаральский был административно выслан в Архангельскую губ. и долго пересылался из одного северного городка в другой. В начале 70-х гг. он был мировым судьей в Пензенской губ. Будучи осужден по делу 193-х на 9 лет каторги, он делал несколько безрезультатных попыток к бегству. Заключение отбывал в Новобелгородской централке и на Каре; на поселении жил в Якутской области.

[81] Волховский Феликс Вадимович (1846—1914).—Будучи студентом Московского университета, он в 1867 – 68 гг. организует вместе с Г. Лопатиным организацию по закупке и распространению дешевых книг среди народа (так называемое „рублевое общество“). За это его арестовывают и, продержав без предъявления обвинения 7 месяцев, выпускают на свободу. В 1869 г. его снова арестовывают и привлекают по нечаевскому делу (см. прим. 23). Просидев более двух лет в московских

тюрьмах, а затем в Петропавловской крепости, он выходит по этому делу по суду оправданным. Живя после того некоторое время в Петербурге, он присоединяется к кружку чайковцев и в 1872 г. едет в Одессу, где организует революционный кружок, бывший отделением кружка чайковцев и давший столь выдающихся революционеров, как Андрей Желябов. Будучи привлечен по делу 193-х, Волховский отделался ссылкой на поселение в Тобольскую губ. В 1881 г. получил разрешение поселиться в Томске, откуда бежал в 1889 г. за границу. Поселившись в Лондоне, он участвовал в создании издательства „Фонда Вольной Русской Прессы". После образования партии социалистов-революционеров (в 1902 г.) вступил в ее ряды, что отнюдь не мешало ему, подобно С. Кравчинскому и др., проявлять определенно либеральный уклон.

[82] Муравский Митрофан Данилович (1837—1879). — Еще с 1855 г. участвовал в тайном студенческом обществе в Харькове, за что и был исключен из университета. Участвовал в революционных кружках начала 60-х годов и в 1863 г. приговорен был к 8 годам каторги. О дальнейшей судьбе „деда", как звали его сопроцессники его по делу 193-х, сообщает Синегуб в своих воспоминаниях.

[83] Н. А. Чарушин несколько иначе рассказывает об этой попытке побега. Между прочим он категорически утверждает, что бежать должны были только трое: Ковалик, Войнаральский и Чарушин, а из остальных никто участия не принимал и из камеры не выводился. (Н. А. Чарушин.—„О далеком прошлом". Ч. I и II. Кружок чайковцев. М., 1926. Стр. 190). Однако другой участник побега, Ковалик, тоже говорит, что бежать собирались семь человек, в том числе Кропоткин и Тихомиров, и что все семь уже вышли из камер. (С. Ф. Ковалик.— „Революционное движение 70-х год. и процесс 193-х". М., 1928. Стр. 22)

[84] 7 апреля 1876 года.

[85] Боголюбов Архип Петрович (настоящая фамилия Емельянов).—Родился в 1852 г. Землеволец. Осужденный на 15 лет каторги, был заключен в Новобелгородской центральной тюрьме, где сошел с ума и был увезен сначала во Мценск, а оттуда—в Казанскую больницу для душевнобольных, где и умер.

[86] Засулич Вера Ивановна (1851—1919).—Выдающаяся революционная деятельница. В 1869 г. арестована в связи с делом Нечаева. В 1871 г. выслана в Тверь, оттуда переведена сначала в Солигалич, потом в Харьков. Вступила в кружок южных бунтарей. 24 января 1878 г. стреляла в Трепова. 31 марта оправдана судом присяжных. Администрация хотела арестовать ее немедленно, но ее успели отправить за границу. После раскола „Земли и Воли" была одной из учредительниц „Черного Передела". В начале 80-х гг. эмигрировала. В 1883 г. была в числе учредителей марксистской „Группы Освобождения Труда". С 1900 г. была членом редакции „Искры". Со времени раскола социалдемократической партии была среди лидеров меньшевизма, а затем ликвидаторства. В 1905 г. вернулась в Россию. Во время мировой войны заняла подобно Плеханову и Дейчу оборонческую позицию. А в Октябрьскую революцию подобно всем меньшевикам была противницей диктатуры пролетариата. Умерла в 1919 г. в Петрограде.

[87] Дическуло Леонид Аполлонович (род. в 1847 г.)—Деятельный участник „хождения в народ". В конце 1874 г. его арестовывают в небольшом селе на границе Полтавской и Екатеринославской губ., где он, поселившись по фальшивому паспорту, устроил для вида бондарную мастерскую и широко поставил пропаганду среди крестьян. Привлеченный по делу 193-х, он был однако судом оправдан, а от ареста и административной ссылки он уклонился, перейдя на нелегальное положение. Проработав еще свыше года в рядах народников, Дическуло в 1880 г. эмигрирует в Румынию.

[88] Жебунев Серг. Ал-дрович (1850—1924). — Брат известного народовольца Владимира Жебунева. Под влиянием общего настроения русской интеллигентной молодежи того времени бросил в 1873 г. свое учение в Швейцарии и вернулся в Россию, чтобы принять участие в „хождении в народ". Работал на юге—в Киеве, Одессе. В 1874 г. был арестован в Черниговской губ. По делу 193-х приговорен к ссылке на житье в Тобольскую губ.

[89] Мышкин Ипполит Никитич (1848 — 1885).—Один из крупнеших революционеров-семидесятников. Солдатский сын, по профессии стенограф. В 1874 г. организовал в Москве печатание нелегальной литературы. Когда его типография провалилась, бежал за границу.

Вернувшись, в 1875 г. сделал попытку освободить Чернышевского из Вилюйска и при этом был арестован. В деле 193-х являлся главным обвиняемым. Во время суда произнес свою знаменитую ярко-революционную речь. Приговорен к 10 годам каторги. Был заключен в Новобелгородской, затем в Новоборисоглебской центральной тюрьме, наконец переведен был на Кару. В Иркутске на похоронах долгушинца Дмоховского произнес речь, за которую ему увеличили срок каторги до 15 лет. В 1882 г. бежал с Кары, добрался до Владивостока, но там был арестован. В следующем году отправлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость, а в 1884 году переведен в Шлиссельбург. В январе 1885 г. в виде протеста швырнул тарелкой в ротмистра Соколова, за что и был расстрелян.

[90] 13 июля 1877 года.

[91] Кадьян Александр Александрович.—Студент Медико-Хирургической Академии. Арестован летом 1874 г. в Самарской губ., где он работал в качестве врача. Судился по процессу 193-х и был оправдан. Впоследствии был профессором

[92] Петропавловский Ник. Елпидифорович (1857 — 1892).— Известный беллетрист-народник 80-х гг. (литературный псевдоним — „Каронин"). Принимал участие в революционном движении. По делу 193-х судом был оправдан. Вновь арестован в феврале 1879 г. по делу тайной типографии. В 1881 году выслан в Курган, Тобольской губ., на 5 лет, а потом переведен в Ишим.

[93] Говоруха-Отрок Юрий Никол. — Участник революционного движения 70-х гг., привлекавшийся по делу 193-х. На самом суде он проявил уже зачатки будущего своего ренегатства; впоследствии был постоянным сотрудником реакционной харьковской газеты „Южный Край", а с 1889 г. состоял ближайшим сотрудником черносотенных „Московских Ведомостей". Умер в 1896 г.

[94] Михайловский Ник. Конст. (1842—1904).—Критик, публицист и социолог. Один из руководителей журнала „Отечественные Записки". Виднейший идеолог народничества 80-х и 90-х гг. Имел связь с партией „Народная Воля", участвуя иногда в ее изданиях. В 90-х гг. вел ожесточенную, хотя и неуспешную борьбу с марксистской идеологией.

[95] Цицианов Александр Конст. (1850—1885).—Князь, грузин, студент Московского Университета. Арестован в 1875 г., при чем первый в России оказал при аресте вооруженное сопротивление. По процессу 50-и приговорен к 10 годам каторги. До 1880 г. содержался в Новобелгородской центральной тюрьме, потом переведен на Кару.

[96] Голоушев Сергей Сергеевич.—Деятельный член оренбургского кружка. Обвинялся по процессу 193-х. Впоследствии врач-писатель. (Псевдоним „Сергей Глаголь").

[97] Грачевский Михаил Федорович (1849—1887).—Выдающийся революционер 70-х гг., железнодорожный машинист по профессии. По делу 193-х был приговорен к заключению в тюрьме на 3 месяца, но по ходатайству суда освобожден от этого наказания. Административно выслан в том же 1878 г. в Архангельскую губ. В 1879 г. бежал из ссылки и вступил в „Народную Волю". Был членом Исполнительного Комитета этой партии. Добывал денежные средства для партии, был хозяином квартиры, где помещалась партийная типография. Арестован летом 1882 г. Судился по процессу 17-и в 1883 г. и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В октябре 1887 г. Грачевский сжег себя в Шлиссельбурге.

[98] Костюрин Виктор Федорович (1853—1919).—В начале 70-х гг., будучи студентом, входил в одесский кружок чайковцев, в 1875—76 г. был членом кружка киевских бунтарей. В 1877 г. арестован, бежал из одесской тюрьмы, но через некоторое время вновь арестован. По делу 193-х приговорен к поселению в Тобольской губ. В 1879 г. по делу об убийстве предателя Гориновича приговорен к 10 годам каторги, которую отбыл на Каре.

[99] Квятковский Тимофей Александрович.—Привлекался по делу 193-х и был осужден на 8 лет каторги.

[100] Сажин Михаил Петрович. (Род. в 1846 г.)—В 1865 г. судился за нелегальное издание русского перевода книги известного немецкого материалиста Бюхнера „Сила и материя". В 1867 г. он активный участник волнений в Петербургском Технологическом Институте. В результате ссылка в Кадников (Вологодской губ.) Оттуда он

бежит в Америку. По вызову С. Нечаева Сажин возвращается в Европу и в Швейцарии знакомится с Бакуниным, учеником и последователем которого становится на всю жизнь. Здесь он живет под псевдонимом Арман Росс.

Активный участник Парижской Коммуны 1871 г., он после ее подавления возвращается в Швейцарию и становится вождем русской колонии в Цюрихе. В 1874 г. он вместе с Кравчинским и Клеменцом участвует в восстании славян против турецкого ига в Герцоговине. В 1875 г. он вместе с другими бунтарями направляется в Россию, где предполагал сделать попытку поднять восстание на Урале. В 1876 г. попадает в руки царских жандармов. Его привлекают по делу 193-х и приговаривают к 5 годам каторжных работ. Каторгу он отбывает в Харьковском централе. Затем он живет ссыльно-поселенцем в Сибири. Ныне живет в Москве.

[101] Очевидно, описка автора: Максимович по делу 193-х не привлекался. По всей вероятности, здесь имеется в виду Петр Маркович Макаревич (см. прим. 116).

[102] Фаресов Анатолий Иванович. — Был приговорен к ссылке в отдаленные губернии, кроме сибирских, при чем суд ходатайствовал о зачете ему предварительного ареста. Впоследствии он совершенно отошел от революционного движения и участвовал в реакционных изданиях.

[103] „Русский Вестник" — журнал, во главе которого долгое время стоял известный реакционер Михаил Никифорович Катков (1818 — 1887).

[104] Добровольский Ив. Ив. (Родился в 1849 г.) — Врач. Привлекался по делу 193-х, был освобожден на поруки. Будучи приговорен к 9 годам каторги, скрылся за границу. Вернулся в Россию в 1905 году. Литератор.

[105] Союзов Иван Осипович. — Родился в 1852 г. Рабочий — столяр. Арестован в 1876 г. и по делу 193-х приговорен к 9 годам каорги, которую отбывал на Каре. В 1904 г. убит в Чите с целью рабежа.

[106] Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна. — Родилась в 1844 г., дочь богатого украинского помещика Вериго. В 1868 г. вышла замуж за помещика и мирового судью Брешковского. В это же время занялась просветительной работой среди крестьян. За эту легальную деятельность подверглась полицейским репрессиям. В 1873—74 гг. принадлежала к киевской „коммуне" бунтарей, вместе с которыми она пошла в народ. В 1874 г. была арестована, привлечена по делу 193-х и осуждена к 5 годам каторги. По выходе на поселение в 1879 г. пыталась бежать и за это снова получила 4 года каторги. Лишь в 1896 г. ей было разрешено вернуться в Европейскую Россию. Столкнувшись здесь с развившимся социал-демократическим рабочим движением, Брешко-Брешковская сразу отнеслась к нему резко отрицательно и при возникновении в 1902 г. партии социалистов-революционеров приняла деятельнейшее участие в ее работе. В этот период, а также в период между двумя революциями Брешко-Брешковская была активной сторонницей тесного союза народников с либералами. Особенно реакционную роль эта тогда уже почти 75-летняя старуха („бабушка русской революции") сыграла в период 1917 г. и после Октября, когда она представляла собою проводник реакционных буржуазных влияний в революционную среду под прикрытием славных традиций революционного народничества 70-х годов. Сейчас Брешко-Брешковская живет в Париже и принадлежит в лагере белой эмиграции к числу особо яростных врагов советской власти.

[107] Лермонтов Феофан Никандрович. — Сначала участвовал в кружке чайковцев, а затем вышел из него и организовал совместно с С. Коваликом, Каблицом и др. собственный кружок бунтарского направления, связанный с Мих. Бакуниным. Арестованный в 1874 г., Лермонтов был привлечен по делу 193-х. Лермонтов подлежал высылке в Архангельскую губернию, но по пути заболел. Он с дороги возвращен был в Петербург, где и умер в конце 1878 г. в Литовском замке.

[108] Миртов — литературный псевдоним Петра Лавровича Лаврова (1823—1900), известного революционного деятеля и ученого, идеолога народничества. В 1867 г., будучи полковником и преподавателем математики, он был выслан в Вологодскую губ. Бежал оттуда в 1870 г. и до конца жизни оставался в эмиграции, в которой являлся одной из центральных фигур. В 1873—74 гг. издавал журнал „Вперед", позже принимал участие в издании „Вестника Народной Воли". Был одним

из основателей заграничного отдела Красного Креста Народной Воли. Оказывал сильное влияние на революционную молодежь 70-х гг. В эту эпоху настольной книгой для революционной молодежи являлись „Исторические письма" Лаврова, где автор говорил о необходимости для интеллигенции самоотверженно принести себя в жертву для блага народа и таким образом отдать ему свой „долг".

[109] Дарвин Чарльз (1809 — 1882).—Английский ученый. Величайший биолог всех времен, творец современной эволюционной теории. Его главные работы: „Происхождение видов" и „Происхождение человека".

[110] Спенсер Герберт (1820—1903).—Видный английский буржуазный философ, социолог и биолог. Сочинения его пользовались популярностью среди русской радикальной молодежи 70-х гг.

[111] Стефанович Яков Васильевич (1853 — 1915). — Активный участник революционного движения 70-х и 80-х гг. Вместе с известным бунтарем Дебагорием-Мокриевичем и др. положил начало южному бунтарскому кружку с базой в Киеве. Вместе с Дейчем (см. примеч. 112) и Бохановским сделал попытку поднять крестьянский бунт в Чигиринском уезде Киевской губ. при помощи подложных царских грамот. В 1877 г. все трое были арестованы, но вместе бежали в 1878 г. при содействии М. Фроленко, поступившего надзирателем в Киевскую тюрьму и скрывшегося вместе с освобожденными им товарищами. Из-за границы, куда Стефанович бежал, он вернулся накануне раскола общества „Земля и Воля". После раскола участвует в создании „Черного Передела". В 1880 г. снова уезжает за границу, а по возвращении оттуда после 1 марта 1881 г. участвует в восстановлении разгромленного Исполнительного Комитета „Народной Воли". Арестованный в феврале 1882 г., он в 1883 г. осужден на бессрочную каторгу, замененную ему 8 г. каторжных работ, которые отбывал на Каре. Вступил во время нахождения под следствием в двусмысленные отношения с директором департамента полиции Плеве.

[112] Дейч Лев Григорьевич (Род. в 1855 г.) — Старый участник революционного движения. В 1874 г. вступает в революционное движение, в 1875 г. идет в народ, в 1876 г. примыкает к киевскому кружку бунтарей, в 1877 г. арестовывается за попытку совместно

со Стефановичем и Бохановским поднять при помощи подложных царских грамот восстание крестьян Чигиринского уезда Киевской губ. В 1878 г. бежал из тюрьмы в Петербург, а оттуда за границу. Вернулся в Россию в момент раскола „Земли и Воли" и вместе со Стефановичем, О. Аптекманом и Г. Плехановым был в числе учредителей „Черного Передела". В начале 1880 г. снова уехал за границу, где и пробыл до начала 1884 г. В Швейцарии был одним из основателей группы „Освобождение Труда". По делам этой группы едет в 1884 г. в Россию, но по дороге его арестовывают в Германии и выдают царскому правительству как уголовного преступника по обвинению в покушении на убийство предателя Гориновича в 1876 г. Суд приговаривает его к 13 г. и 4 мес. каторги, которую он и отбывает на Каре. По выходе на поселение он в 1901 г. бежит из Благовещенска за границу. В период революции 1905 г. Дейч снова нелегально возвращается в Россию. В начале 1906 г. его арестовывают и снова высылают в Восточную Сибирь, но с дороги он снова ухитряется убежать за границу, где и пробыл до 1917 года, когда окончательно вернулся в Россию. Сейчас живет в Москве.

В период 1902—1917 гг. Дейч был меньшевиком, а в период войны ярым социал-патриотом. В период Февральской революции Дейч был в числе особенно яростно травивших большевиков, как немецких шпионов и т. д., но после Октября отошел от политики и занялся писанием мемуаров, разработкой материалов, относящихся к 80-м годам, к группе „Освобождение Труда" и т. д.

Очень интересны книжки Дейча — „16 лет в Сибири", „Четыре побега" и много др., в которых он повествует о том, что он видел и пережил за период более полувека сознательной политической жизни.

113 Чудновский Соломон Лазаревич (1851 — 1912).—Был студентом Медико-Хирургической Академии; исключен в 1869 г. за участие в студенческом движении. Принимал участие в пропаганде на юге. Арестован в 1874 г. По делу 193-х приговорен к 5 годам каторжных работ; наказание заменено ссылкой в Тобольскую губ. Последние годы жизни провел в Одессе. Оставил воспоминания („Минувшие Годы". 1908. №№ 4, 5 — 6, 7).

114 Франжоли Андрей Афанасьевич (1849 — 1883).—По делу 193-х приговорен к ссылке в Тобольскую губ., при чем по ходатайству суда ему было зачтено предварительное заключение. Выслан административно в Вологодскую губ. В начале 1880 г. бежал из

ссылки. Присоединился к „Народной Воле", был членом Исполнительного Комитета. В 1883 г. в виду тяжелой болезни эмигрировал за границу.

[115] Ланганс Мартин Рудольфович (1853 — 1883). — Бывший студент Технологического института. Принимал участие в революционной пропаганде на юге. По делу 193-х был оправдан, просидев $3^1/_2$ года в тюрьме. В 1879 г. арестован в Киеве и, как прусский подданный, выслан за границу. В следующем году вернулся в Россию и вступил в „Народную Волю". Принимал участие в подготовке покушений на Александра II. Арестован в Киеве в 1881 г. В 1882 г. по процессу 20-и приговорен к бессрочным каторжным работам. Умер от чахотки в Петропавловской крепости.

[116] Макаревич Петр Маркович.—По делу 193-х был приговорен к каторжным работам на 5 лет, но суд ходатайствовал о замене ему этого наказания ссылкой в Тобольскую губ.

[117] Глушков Иван Ионович—по делу 193-х был оправдан.

[118] Желябов Андрей Иванович (1851 — 1881). — Крупнейший из деятелей „Народной Воли". По происхождению крестьянин; обучался в Новороссийском Университете. По делу 193-х судом оправдан. Участник Липецкого и Воронежского съездов. Член Исполнительного Комитета „Народной Воли", главный руководитель ее предприятий. Арестован 27 февраля 1881 года. Приговоренный по процессу первомартовцев к смертной казни, повешен 3 апреля 1881 года.

[119] Натансон Марк Андреевич (1844 — 1919). — Один из организаторов кружка чайковцев, он был арестован и выслан в Архангельскую губернию в первый же год существования кружка, еще в первоначальный период его деятельности (1871 г.) Из Архангельской губ. он был переведен в Воронежскую губ., а оттуда в Финляндию. Из Финляндии он бежал в 1875 г. и, перейдя на нелегальное положение, принялся восстанавливать в Петербурге разгромленные в 1874 г. силы кружка чайковцев. Возникает тот кружок, который послужил ядром к начавшей складываться организации „Земля и Воля". В 1877 г. Натансона снова арестовывают и высылают в Восточную Сибирь. Там он пробыл до 1889 г. Найдя по возвращении в Европейскую Россию полный разгром народнических организаций, он в 1893 г. участвует в создании

партии „Народное Право" и в 1894 г. арестовывается при разгроме этой организации. После длительного заключения в Петропавловской крепости Натансон снова высылается на 5 лет в Восточную Сибирь. При возникновении в 1902 г. партии социалистов-революционеров Натансон вступает в ее ряды и активно участвует в ее работе в качестве члена ЦК. Во время мировой войны, которая застает его в эмиграции за границей, Н. занимает интернационалистскую позицию и участвует в конференциях в Циммервальде и Кинтале, а после февраля 1917 г. он оказывается одним из вождей левого крыла П. С.-Р., впоследствии — партии левых эс-эров, вошедшей в рабоче-крестьянское правительство после захвата власти большевиками. Натансон был представителем левых эс-эров в ВЦИК'е после Октябрьской революции. После мятежа левых эс-эров в июле 1918 г. и распада этой партии Натансон вошел в отколовшуюся „группу революционных коммунистов", вскоре примкнувших к РКП (б). Вскоре после того — в 1919 г. — Натансон скончался за границей 75 лет от роду, будучи безоговорочным сторонником пролетарской революции и советской власти.

[120] Шамарин Константин Яковлевич.—Студент Горного Института. Был арестован в 1875 г. за революционную пропаганду. В 1878 году приговорен к 2 месяцам ареста, но по отбытии их административно выслан в Баргузин. В 1885 г. вернулся в Россию. В 90-х гг. привлекался по делу „Народного Права".

[121] Габель Орест Мартынович.—Петербургский бакунист. Был привлечен по делу о попытке побега Ковалика и Войнаральского. Выслан в Иркутскую губ.

[122] Тютчев Николай Сергеевич (1856 — 1924).—Революционер. За пропаганду среди рабочих в 1878 г. выслан в Баргузин, Забайкальской области. В 1881 г. за попытку к побегу отправлен в Якутскую область. Вернувшись в Россию, был в 1894 г. одним из организаторов партии „Народное Право" и выслан в Минусинск, Енисейской губ. В 1905 — 09 гг. был социалистом-революционером. Оставил ценные воспоминания („Революционное движение 1870 — 80 гг." и „В ссылке и другие воспоминания". М., 1925 г.)

[123] Попытка освободить Войнаральского была сделана 1 июля 1878 г. верстах в 8 от Харькова. В ней принимали участие Ал. Михайлов, Адриан Михайлов, Фроленко, А. Квятковский, Перовская,

Баранников и др. На экипаж, в котором везли Войнаральского, напали 4 всадника и открыли стрельбу. Хотя один жандарм был смертельно ранен, но испуганные лошади понесли, и таким образом другой жандарм с Войнаральским ускакал. По этому делу был захвачен один только Фомин-Медведев.

[124] Бакунин Михаил Александрович (1814 — 1876). Революционер-анархист. Дворянин, член кружка людей 40-х гг., Бакунин принял весьма активное участие в революции 1848 г. в Западной Европе. Схваченный в 1849 г. в Австрии, он был выдан прусским властям. Его держали в тюрьмах в ужасных условиях и в 1851 г. передали русскому правительству. До 1857 г. Бакунин содержался сначала в Петропавловской крепости, а потом в Шлиссельбурге. В 1857 г. отправлен в Сибирь; в 1861 г. убежал через Японию в Западную Европу. С 1864 г. Бакунин становится ярым анархистом, вождем революционных анархистов во всем мире. В I Интернационале он ведет жестокую борьбу против Маркса и откалывает часть Интернационала. Принимает участие в различных революционных попытках в Западной Европе. Идейное влияние среди русских революционеров было очень сильно в 70-е гг. В Западной Европе его идеи привились преимущественно в романских странах — Италии, Испании, Франции.

[125] Мачтет Григорий Александрович (1852 — 1901). — Популярный писатель 80-х и 90-х годов, проводивший в своих произведениях некоторый народнический уклон. В молодые годы Мачтет участвовал в революционном движении, по поручению кружка молодежи ездил в Америку с целью выяснения возможности основания там социалистической коммуны. По возвращении вращался среди революционеров и за причастность к организации побега Ковалика и Войнаральского из дома предварительного заключения (см. гл. XXIV) Мачтет в 1876 г. был административно сослан в Холмогоры (Архангельской губернии), а затем после неудачно закончившейся попытки побега оттуда сослан был в Сибирь. Вернувшись из ссылки, занимался журналистикой и служил в акцизе.

[126] Соколов Николай Васильевич (1832 — 1883).—Бывший подполковник генерального штаба, писатель, участник журнала „Русское Слово“, по идеям был близок к Писареву. В 1867 г. за свою книгу

„Отщепенцы" был приговорен к 16 месяцам крепости и административной ссылке. Бежал в 1872 г. за границу и до конца жизни оставался эмигрантом.

[127] Толстая Александра Андреевна (1817—1904).—Фрейлина. Родственница Л. Н. Толстого, который находился с нею долгое время в очень дружеской переписке. (Переписка издана в 1911 году в Петербурге).

[128] Женой наследника была датская принцесса Дагмара, известная в России как Мария Федоровна. Скончалась в конце 1928 г. в эмиграции — в Дании. Она пережила не только своего мужа (Александра III) и сына (Николая II), но и внуков.

[129] Топоркова Анна Григорьевна (Родилась в 1856 году).— В начале 70-х гг. училась медицине в Швейцарии. В 1875 г. арестована в Иваново-Вознесенске на квартире, где собирались пропагандисты и хранилась литература. По процессу 50-и была приговорена сенатом к 4 годам заключения в рабочем доме и по ходатайству сестры была освобождена с отдачей под надзор полиции.

[130] Гельфман Геся Мировна.—Родилась в 1855 г. в Мозыре в еврейской мещанской семье. 16 лет бежала из родительского дома в Киев. Арестована в 1875 году, просидела 2 года в предварительном заключении, по процессу 50-и приговорена к 2 годам заключения в рабочем доме. Отбыв их, была выслана в 1879 г. в Старую Руссу, откуда в том же году бежала в Петербург. Присоединилась к „Народной Воле", была хозяйкой ряда опаснейших конспиративных квартир. 2 марта 1881 г. арестована на конспиративной квартире, которую выдал Рысаков. По процессу первомартовцев приговорена к смертной казни, но в виду ее беременности казнь заменена вечным заключением. Умерла 2 февраля 1882 года в доме предварительного заключения.

[131] Скворцов Нафанаил Ионович.—По делу 193-х был приговорен к каторжным работам на заводах на 4 года, но суд ходатайствовал о замене ему этого наказания ссылкой в Тобольскую губ.

[132] „Кудеяр" — историческая повесть известного историка Ник. Ив. Костомарова (1817—1885).

[133] Терентьев Михаил Дементьевич, народный учитель (родился в 1853 г.), и Тефтул Иван Ильич (1851 — 1893) арестованы в 1875 г. в Одессе, судились сенатом в 1876 г. за революционную пропаганду и присуждены: Терентьев к 9 годам каторги, а Тефтул — к 10.

[134] Семяновский Евгений Степанович (1850 - 1881).—Помощник присяжного поверенного в Петербурге. Арестован в 1875 г. и в следующем году приговорен сенатом по делу о революционной пропаганде в войсках к 12 годам каторги. О нем см. еще статью С. Богданова—„Помощник присяжного поверенного Е. С. Семяновский — один из первых карийцев". („Былое", 1906, II).

[135] Кузнецов Алексей Кириллович (Родился около 1846 года).— Член основного нечаевского кружка. Участник в убийстве студента И. Иванова. В 1871 году по процессу сообщников Нечаева приговорен к 10 годам каторжных работ. По отбытии каторги остался навсегда в Сибири и развил там большую культурную работу (по краеведению). В 1905 г. примкнул к партии эс-эров и в следующем году временным военным судом при карательном отряде генерала Ренненкампфа приговорен к смертной казни, замененной 10-летней каторгой. Здравствует до сих пор.

[136] Успенский Петр Гаврилович (1847 — 1881). — Один из учредителей нечаевского общества „Народная Расправа". Принимал участие в убийстве Иванова. По нечаевскому делу приговорен в 1871 г. к 15 годам каторги. Трагична его последующая судьба: на Каре несколько его сотоварищей готовили массовый побег посредством подкопа, заподозрели его в разоблачении их намерений начальству и повесили Успенского. Впоследствии товарищеский суд признал подозрения против Успенского неосновательными.

[137] Дюринг Евгений (1833 — 1902).— Немецкий писатель-философ и политик-экономист. Считал себя социалистом, но выступал как яростный враг и утопического и научного социализма. Известно полемическое сочинение Энгельса, направленное против него: „Переворот в науке, произведенный г. Дюрингом (Антидюринг)".

[138] Гюго Виктор (1802 — 1885).—Один из самых выдающихся французских писателей XIX века, поэт, романист и драматург. Может

производить сильное впечатление и теперь, несмотря на искусственную приподнятость тона и многословие. Во все время царствования Наполеона III Гюго был политическим изгнанником и вернулся во Францию только после падения Наполеона. Роман „Отверженные“ — одно из главных его произведений.

[139] Диккенс Чарльз (1812—1870).—Знаменитый английский романист. Его произведения исполнены юмора и нередко, несмотря на буржуазное мировоззрение автора, возвышаются до сильной социальной сатиры.

[140] Бобохов Сергей Николаевич (1858 — 1889). — Народник-анархист. За студенческие „беспорядки“ выслан был в Мезень; в 1878 г. бежал оттуда и при аресте стрелял в полицейского. За это в 1879 г. приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал на Каре. В ноябре 1889 г. отравился вместе с Калюжным, протестуя против применения телесного наказания к политической заключенной Сигиде.

[141] Кокосов В. Я. в 1907 году выпустил книгу: „Рассказы о Карийской каторге. Из воспоминаний врача“.

[142] Линев Иван Логинович.—Его участие в революционном движении началось еще в 60-е гг. Во второй половине 60-х гг. отправился в Америку и прожил там 7 лет, испробовав самые различные профессии. В ссылку попал за устройство землевольческого поселения в Нижегородской губернии.

[143] Армфельд Наталья Александровна (1848—1887). - Принадлежала к московскому кружку чайковцев. Была административно выслана в Костромскую губ. В 1879 г. быля арестована в Киеве в конспиративной квартире на Жилянской улице, где революционеры оказали вооруженное сопротивление. Была приговорена к 14 годам и 10 месяцам каторги, которую отбывала на Каре.

[144] Ковалевская Марья Павловна, урожденная Воронцова, родилась в 1849 г. в дворянской семье. Член группы южных бунтарей-народников. В феврале 1879 года арестована в Киеве на Жилянской улице на конспиративной квартире, где революционеры оказали

вооруженное сопротивление. По делу Брандтнера, Свириденко и др. приговорена к 14 годам и 10 месяцам каторги. На Каре все время вела себя как протестантка против тюремного режима. После телесного наказания Надежды Сигиды отравилась и умерла в ночь с 7 на 8 ноября 1889 года. Вместе с нею отравились Марья Вас. Калюжная и Надежда Семеновна Смирницкая.

[145] Кутитонская Марья Игнатьевна (1855 — 1887).—Занималась революционной пропагандой на юге. В 1879 г. по делу Лизогуба, Чубарова, Давиденко и др. приговорена военным судом к 4 годам каторги, которую отбывала на Каре. Выйдя на поселение, покушалась на забайкальского губернатора Ильяшевича. Военным судом приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умерла в Иркутской тюрьме.

[146] Сарандович Екатерина Петровна (родилась в 1858 г.)— Арестована в Киеве в феврале 1879 г. Военно-окружным судом приговорена по делу Брандтнера и др. к 14 годам и 10 месяцам каторги; генерал-губернатор заменил этот срок 4 годами. Каторгу отбывала на Каре.

[147] Дебагорий-Мокриевич Владимир Карпович. — Сын небогатого помещика Подольской губ., учился в Киевском Университете. В 1871 — 72 гг. он увлекался было модной тогда среди некоторой части молодежи идеей переселения в Америку для организации там земледельческих коммун, но в 1873 г., попав в Цюрих, он под влиянием Армана Росса (М. П. Сажина, см. прим. 100) заинтересовывается Бакуниным и его учением. Он знакомится и с самим Бакуниным и делается его последователем. Возвратившись в конце 1873 г. в Россию, Дебагорий-Мокриевич организует в Киеве совместно со Стефановичем, Брешковской и друг. тот южный кружок „бунтарей", который, несмотря на свою неоформленность, сыграл огромнейшую роль в течение 1874 — 79 гг. Принимая деятельное участие в „хождении в народ", бунтари придавали ему иной, более революционный оттенок. В 1876 году содействовал Я. Стефановичу в так называемом „чигиринском деле". В феврале 1879 года был арестован вместе с Людвигом Брандтнером, Владимиром Свириденко и др. на Жилянской улице в Киеве, где оказано было вооруженное сопротивление. В виду того, что Дебагорий-Мокриевич не был взят с оружием в руках, он отделался 14 годами каторги. Зимою 1880 — 81 г.

он, поменявшись с одним из уголовных, удачно бежал из Сибири по дороге на Кару и через несколько месяцев эмигрировал за границу. Впоследствии Дебагорий-Мокриевич, как и многие другие народовольцы, ударился в сторону либерализма. Опубликованные им за границей в 1903 году „Воспоминания" (переизданы в России в 1906 г.) представляют несомненный интерес, содержа много интересных деталей, касающихся „бунтарского" движения на юге во второй половине 70-х годов *.

[148] Комов Алексей Иванович (родился в 1853 г.)—Был военным писарем. Арестован в 1874 г., вторично — в 1877 г. По делу 193-х оправдан. Арестован снова в 1878 г. и в следующем году по делу Лизогуба и Чубарова приговорен к 15 годам каторги.

[149] Сигида Надежда Константиновна (родилась в 1862 г.)— Городская учительница в Таганроге. Принимала участие в попытках возобновления деятельности „Народной Воли". Арестована в 1886 г. при захвате типографии. В 1887 г. приговорена к 8 годам каторги. В сентябре 1889 г. в связи с протестами политических против тюремной администрации дала пощечину коменданту Карийской тюрьмы. По распоряжению генерал-губернатора была 7 ноября 1889 г. за это подвергнута наказанию розгами и в тот же день отравилась и умерла.

[150] Богданов Степан Петрович (1851 — 1928).—В 1875 году, будучи военным писарем, арестован и по делу о пропаганде среди военных (дело Семеновского и др.) приговорен к 11 годам каторги, которую отбывал на Каре.

[151] Лешерн фон-Герцфельд Софья Александровна (1840— 1898).—Дочь генерала, народница-пропагандистка. По делу 193-х приговорена к ссылке на поселение, но ссылка потом была отменена. Примкнула к группе южных бунтарей. Арестована в Киеве в 1879 г. По процессу Ван, Осинского и Волошенко приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой.

[152] Покушение на жизнь товарища прокурора Котляревского произошло в Киеве 23 февраля 1878 г. Жандармский капитан Гейкинг убит там же, на улице, кинжалом, 25 мая 1878 года.

* Печатаются в Изд-ве „Молодая Гвардия".

[153] Горинович Николай Елисеевич.—Бывший гимназист, привлеченный к дознанию по делу 193-х. Вел себя как предатель. Когда он стал разыскивать некоторых южных революционеров, очевидно, с целью нового предательства, революционеры Дейч и Малинка произвели на него покушение (в Одессе 10 июня 1876 года). Считая его убитым, они облили ему лицо серной кислотой. Горинович оказался жив. Страшно обезображенный, он фигурировал потом на процессе 193-х и был освобожден судом от всякого наказания. За покушение на него в 1879 году повешены в Одессе В. Малинка, В. Майданский и Ив. Дробязгин, а позже приговорен к каторжным работам Л. Дейч.

[154] Ковальский Иван Мартынович.—Видный южный революционер-бунтарь. Оказал при аресте вооруженное сопротивление, был расстрелян в Одессе по приговору военно-окружного суда 2 августа 1878 г. 24 июля при объявлении приговора Ковальскому в Одессе произошли уличные волнения.

[155] Осинский Валерьян Андреевич (1853 — 1879). — Выдающийся революционер. Один из учредителей „Земли и Воли". Действовал в Киеве. Одним из первых стал склоняться к системе террора и к борьбе за политическое освобождение. Организатор ряда террористических покушений на юге. Арестован в Киеве в январе 1879 года, при чем оказал вооруженное сопротивление. Повешен 14 мая того же года. Вместе с ним были повешены Людвиг Брандтнер и революционер, назвавший себя Антоновым (настоящая фамилия Свириденко).

[156] Лизогуб Дмитрий Андреевич (1850 — 1879).—Видный революционер 70-х гг. Один из первых землевольцев на ряду с Вал. Осинским стал склоняться к террористическому способу действий. Будучи богатым помещиком, он отдал на революционные цели значительные денежные суммы. Арестован в августе 1878 года. В июле 1879 г. судился в Одессе по обвинению в террористических планах. 10 августа 1879 г. повешен в Одессе. Вместе с ним повешены Сергей Чубаров и Иосиф Давиденко.

[157] Виттенберг Соломон.—В 1879 г. судился в Одессе по обвинению в организации в Николаеве в августе 1878 г. покушения на жизнь Александра II посредством взрыва пароходной пристани. Приговорен к смертной казни и повешен в Николаеве 11 августа 1879 г. вместе с матросом Иваном Логовенко.

[158] Юрковский Федор Николаевич (1851 — 1896). —Революционер, стоявший несколько особняком от всех группировок по своему крайнему индивидуализму. Главный организатор подкопа под херсонское казначейство. Арестован был в Киеве в 1880 г. и приговорен военным судом к 20 годам каторги. Был в Каре. В 1882 г. пытался бежать, но был пойман. В 1884 г. переведен в Петропавловскую крепость, а потом в Шлиссельбург, где и умер. Ограбление херсонского казначейства совершено было в июне 1879 г. путем подкопа из соседнего дома. Унесено было свыше 1.500.000 рублей, которые в скорости почти целиком были найдены полицией. Кроме Юрковского, к этому делу были причастны Елена Россикова, Николай Франжоли и др.*

[159] Ограбление почты совершено было в июне 1879 г. по дороге из Каменец-Подольска в Проскуров Никандром Крыжановским, участником южных бунтарских кружков.

[160] Лорис-Меликов (1825 — 1888).—Генерал, отличившийся в русско-турецкую войну 1877 — 78 гг. взятием неприступной турецкой крепости Карс и получивший титул графа. В 1879 г. назначен сначала астраханским, саратовским и самарским временным генерал-губернатором, а затем харьковским. В феврале 1880 г. призван был спасать отечество в качестве председателя верховной распорядительной комиссии для поддержания государственного порядка и общественного спокойствия. За пять месяцев работы этой комиссии Лорис-Меликов был фактическим диктатором на внутреннем фронте. Ему подчинены были все генерал-губернаторы и все министры. Даже судебная власть сначала не имела силы по отношению к его распоряжениям. Управление Лорис-Меликова получило название „диктатуры сердца", ибо одновременно с жестокой борьбой с революционерами он делал кое-какие поблажки либеральному „обществу". В результате работ верховной комиссии просуществовавшее более 50 лет III отделение (стоявшее особняком, не подчиненное ни одному из министров) преобразовано было в департамент государственной полиции, состоящий в ведении министра внутренних дел. На пост первого министра внутренних дел с расширенными правами и полномочиями назначен был опять-таки тот же Лорис-Меликов.

В начале 1881 г. он представил Александру II проект созыва особых совещательных комиссий с участием выборных представителей от земств и городов для рассмотрения некоторых законодательных

проектов. Этот проект, обычно обозначаемый не совсем основательно „конституцией" Лорис-Меликова, одобрен был Александром II, но после его смерти 1 марта 1881 г. его преемник, под влиянием Победоносцева и др., отверг его. В начале мая 1881 г. Лорис-Меликов ушел в отставку.

161 Предсмертное письмо Семяновского напечатано в „Былом", 1906, II.

162 Кеннан Джордж (1845—1924).—Американский писатель и путешественник. В 1885—86 гг. по поручению одного американского журнала он объехал Сибирь для изучения системы русской ссылки. Результатом поездки явилась негодующая книга о положении русских политических ссыльных, вышедшая в свет в 1891 г. под заглавием „Сибирь и ссылка". Книга Кеннана, переведенная на многие языки, произвела чрезвычайно сильное впечатление во всей Европе. „Сибирь и ссылка" переведена была и на русский язык.

163 Родин Петр Алексеевич (1859—1881).—Арестован в 1878 г. в Ростове-на-Дону. В 1879 г. военно-окружным судом в Харькове приговорен к бессрочной каторге за попытку освобождения из тюрьмы Фомина-Медведева.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ФИКТИВНЫЙ БРАК

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В РУКАХ ЖАНДАРМОВ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ

ПРИМЕЧАНИЯ. УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

